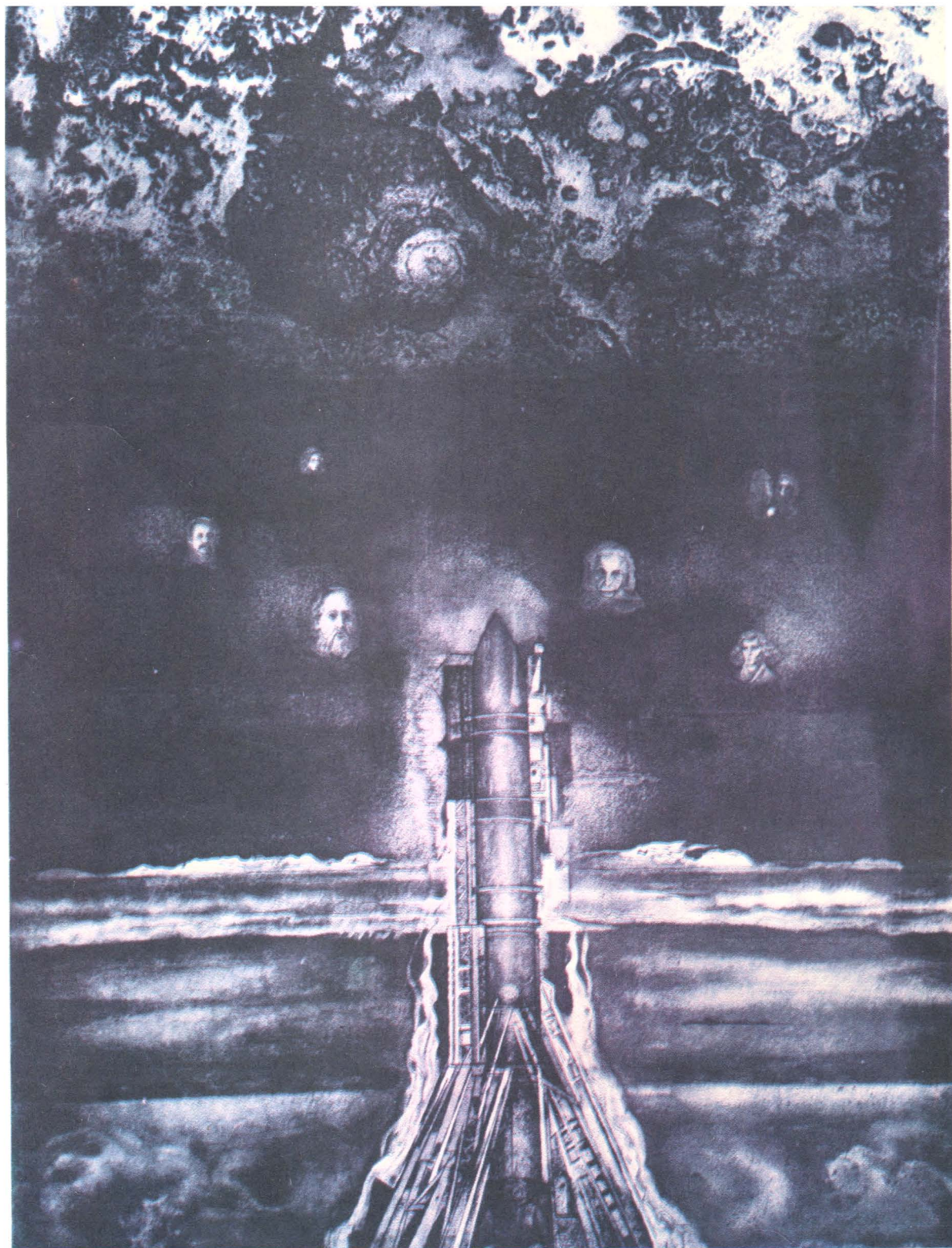


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

1982

4



Б. СМЕРТИН.

Стремление (офорт).



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

1982
АПРЕЛЬ
(323)

ЮНОСТЬ

4

*«Образование СССР,
установление отношений дружбы,
доверия, взаимопомощи
между народами придало
гигантское ускорение
духовному развитию общества,
рожденного Великим Октябрем».*

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС
«О 60-й ГОДОВЩИНЕ
ОБРАЗОВАНИЯ СОЮЗА СОВЕТСКИХ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК».

Издательство «Правда».
Москва

Адрес редакции: 101524, ГСП,
Москва, К-6, улица Горького, № 32/1.



В НОМЕРЕ:



Проза

Карен ШАХНАЗАРОВ. Курьер. Повесть	13
Фазиль ИСКАНДЕР. Джамхух—сын Оленя. Народная легенда. Окончание	41
Аркадий АДАМОВ. Вечерний круг. Повесть. Продолжение	60



Поэзия

Юстинас МАРЦИНКЯВИЧЮС	5
Игорь ЛЯПИН	12
Лев ОЗЕРОВ	38
Илья ФОНЯКОВ	40
Владимир ПАЛЬЧИКОВ	58
Николай ФЛЕРОВ	59
Егор МИТАСОВ	74
Татьяна КАЙСАРОВА	83
Николай КАРПОВ	84



Публицистика

Исай БРАЙНИН. Степан Данилов	6
Виктор ВЕРСТАКОВ. Без отметки на календаре	75
Александр РАДОВ. День в директорском кресле	85



Критика

Олесь ГОНЧАР. Слово о братстве	3
Никита ВОРОНОВ. Языком керамики	81
Михаил ЧЕРНОУСОВ. Что за фирменной улыбкой?	91
Анка ПУГАЧ. «Как славно жить!»	92
Александр РЕКЕМЧУК. Музыкальная история	93
Ирина ЖЕЛВАКОВА. Страницы одной любви	100



Спорт

Лев ФИЛАТОВ. До футбола	106
-----------------------------------	-----



«Зеленый портфель»

Александр ИВАНОВ. Литературные пародии	111
--	-----

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Виталий ГОРЯЕВ
Сергей ЕСИН
Леопольд ЖЕЛЕЗНОВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Кайсын КУЛИЕВ
Мария ОЗЕРОВА
Андрей ПОТЕМКИН
Алексей ПЬЯНОВ
(заместитель главного редактора)
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Алексей ФРОЛОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Макет
Л. К. Зябкиной.

Главный художник
Ю. А. Цишевский.

Художественный редактор
О. С. Кокни.

Технический редактор
А. В. Сальников.

Сдано в набор 10.02.82.
Подп. к печ. 17.03.82.
Л 08640.
Формат 84 103¹/₁₆.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,18.
Учетно-изд. л. 17,60.
Тираж 3 150 000 экз.
Изд. № 837.
Заказ № 2045.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина.
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24.



ОЛЕСЬ
ГОНЧАР

СЛОВО О БРАТСТВЕ

Близится 60-я годовщина образования СССР — первого в истории человечества государства нового типа, основанного на принципах социальной справедливости и национального равенства. Необыкновенный простор получили творческие силы народов, объединившихся в Союз Советских Социалистических Республик. Это выразилось и в расцвете всей многонациональной советской литературы. В преддверии славного юбилея видные наши писатели поделаются с читателями «Юности» своими раздумьями, планами на будущее. Сегодня на страницах журнала выступает лауреат Ленинской и Государственных премий, Герой Социалистического Труда, академик АН УССР Олесь ГОНЧАР.

Нередко читатели спрашивают: много ли автобиографичного в ваших романах, повестях и новеллах? Думаю, что я не стал бы писать книгу, куда не вошла бы хоть часть пережитого лично.

Да и творчество моих друзей — поэтов, прозаиков — убеждает, сколько дорожат они личным опытом, который вряд ли можно чем-нибудь заменить.

Ведь именно то, что автор сам пережил, что называется, выстрадал, чаще всего придает произведению убедительность, силу достоверности, согревает книгу тем ни с чем не сравнимым излучением души, которое только и способно по-настоящему глубоко воздействовать на читателя.

Художественные произведения рождаются в одних случаях из радости человеческой, в иных — из горя, но никогда — из равнодушия...

Принадлежу к поколению, чья молодость еще не была омрачена ужасами Хиросимы, еще не раздавались отовсюду голоса об экологическом кризисе, нависающем над планетой, о реальной угрозе всему живому, — потому-то и окружающий мир для нас, видимо, был окрашен в несколько иные тона, чем те, которые предстают взору современного молодого человека.

Бег времени удивительно стремителен. То, о чем несколько десятилетий назад не было речи, сегодня занимает умы и сердца миллионов жителей планеты. Кто из людей моего поколения в свои студенческие годы мог думать, что наш век вскоре станет веком ядерным, что так остро будут волновать нас загрязненные реки планеты и гибнущие в ее тропических регионах леса и что главное дело эпохи — дело защиты мира, то есть сохранение самой жизни на Земле, потребует таких напряженных, всеобщих, всечеловеческих усилий?

Дни нашей юности являли нам блестящие примеры мужества, интернациональной солидарности, перед нами открывались сильнейшие характеры эпохи: во имя дружбы людей Валерий Чкалов на обледеневших крыльях совершает свой беспрецедентный межконтинентальный перелет через Арктику, нас воодушевляет эпопея спасения челюскинцев, наша юность берет для себя примером нравственный подвиг болгарского коммуниста Георгия Димитрова и воспитанника украинского комсомола Николая Островского. В наших университетских коридорах, где ведутся жаркие споры о смысле жизни, о предназначении человека, из уст моих друзей страстно звучат слова Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой...»

В лексиконе великого веймарца не было ведь таких слов, как «блицкриг», «остарбайтер», «концлагерь», «блоки Бухенвальда». Они возникли в немецкой речи позже, и нам, советским людям, вместе с народами Западной Европы суждено было в страданиях постигать зловещий смысл этого фашистского жаргона.

...Университетские аудитории готовили нас к мирной созидательной жизни.

Были мы людьми от земли, чувство корня народного было сильно развито в каждом. Многие из нас уже познали труд и лишения, и тем не менее сколько было среди нас мечтателей, с каким упоением бросались мы в мир юношеских иллюзий и грез...

И постарайтесь после этого представить себе психологическое состояние человека, еще вчера, в студенческом общежитии мечтавшего с друзьями о всеобщем братстве, вообразите людей, для которых день завтрашний рисовался полный безбрежного простора и солнца, чьи молодые помыслы чаще всего были

устремлены к библиотечным стеллажам, к встречам с лучшими умами всех времен и народов, постарайтесь представить вот таких нас, вдруг очутившихся в окопах, в аду кошмарного неравного боя, когда в твоей руке лишь граната противотанковая или с зажигательной смесью бутылка, а на тебя неумолимо движется стальное скрежещущее гусеницами чудовище...

Спустя многие годы в книге «Человек и оружие» я рассказал о переживаниях тех дней, о первых боях харьковских студентов-добровольцев, которым вместе с нашими кадровыми солдатами-пограничниками довелось в ту тяжкую пору встать на защиту Киева, на дальних его рубежах сдерживать натиск бронированных полчищ врага. В книгу вошло, однако, не все, жизнь продолжает и поныне дописывать ее трагические страницы. Недавно мне сообщили, что в районе Белой Церкви, на реке Рось, где нам, тогдашним курсантам-студентам, выпало принять боевое крещение, одна из маленьких речушек, впадающая в Рось, бывшая ранее безымянной, теперь называется Червоная, так нарекла ее народная молва. Червоная, Красная... Да ведь была она действительно такой! Многие и многие из нас, раненные в атаке, прижатые танками к реке, находили спасение в ее недавно еще светлой воде, которая теперь буквально кипела, пылала, становясь красной от крови.

Тамошние пионеры-следопыты в одной лишь братской могиле обнаружили большую группу пограничников и студентов, чьи имена сохранили маленькие пластмассовые медалы, которые положено было каждому из нас носить при себе. В могиле, найденной пионерами, оказался один из моих университетских товарищей — комсорг факультета Иван Чермерис, считавшийся в течение многих лет пропавшим без вести. Родители его до самой смерти ждали сына, так и ушли, ничего не узнав о его судьбе...

Без горечи потерь 1941 года, без драматизма последних лет не было бы, думаю, и «Знаменосцев», которые принято считать началом творческого пути автора.

Воображение, творческая фантазия, как известно, играют в искусстве огромную роль. И все же, пожалуй, наибольшее доверие писатель испытывает к реальным источникам самой жизни. Подобно книгам моих собратьев-фронтовиков, «Знаменосцы» тоже рождались из фронтовых будней. Непосредственные впечатления жизни, ее напряженная осязаемая реальность были опорой автору и в последующие годы, когда создавались «Трояк» и «Собор», «Циклон» и «Берег любви», а также недавно опубликованный роман «Твоя зоря».

Замечено, что в произведениях поэтов и прозаиков братских литератур многие мотивы перекликаются. И думаю, что дело здесь не в том, что кто-то на кого-то «повлиял», что-то позаимствовал, точнее будет сказать, что здесь перекликаются сами человеческие судьбы. Скажем, прекрасный мотив дружбы народов, столь характерный для всех без исключения наших братских литератур — разве не явился он выражением общего состояния духа советских людей, постигавших науку человечности и в совместном созидательном труде и на полях сражений, когда плечом к плечу пришлось защищать свое социалистическое Отечество.

Вместе с сынами многих наций и народностей страны в освобождении украинской земли принимали участие мои друзья по литературе Михаил Алексеев, Юрий Бондарев, Егор Исаев, в боях за Украину пролили свою кровь Мустаи Карим, Кайсын Кулиев, Давид Кугультинов. Наши же украинские писатели сражались с врагом на Малой земле и под Сталингра-

дом, защищали Москву и Ленинград, и каждому из нас придавало сил то священное «чувство семьи единой», которое так вдохновенно воспел Павло Тычина.

В любом из районов Украины вам расскажут о местной женщине-матери, которая в свое время убегала от фашистов раненого бойца, русского или башкира, узбека или татарина, к своей спасительнице и сегодня приезжают из дальних республик те, которые называют ее своей матерью. А сколько из нас, украинцев, в том числе и мне, с теплым чувством вспоминается тот дальний сибирский госпиталь на Енисее, который в суровом вьюжном 1942 году залечивал наши раны, сердечной человеческой заботой помогал снова вернуться в строй!

Годы войны были для нас величайшей трагедией, самым тяжелым испытанием для всех и каждого, и они же показали могучий дух нашего братства, поистине нерушимую силу дружбы наших народов. Уместно об этом еще раз вспомнить в год нынешний, год 60-летия образования СССР, когда великое содружество социалистических наций и народностей особенно ярко предстает перед нами во всей своей гуманистической сущности.

Дружба наших народов — по природе своей сила созидательная, творческая, потому что она все шире проявляет себя во всех сферах народной жизни. Вместе с представителями многих национальностей украинские нефтяники трудятся на Тюменщине, хлеборобы Таврии приумножают свою славу на целинных просторах Казахстана, юноши и девушки с берегов Днепра строят БАМ... Наши земляки не теряют интереса к культуре и литературе родного народа, к слову Тараса Шевченко и Леси Украинки. Заказы на украинскую литературную периодику поступают из самых отдаленных районов нашей Родины, и хочется, чтобы законный этот интерес удовлетворялся как можно полнее.

На Украине мы постоянно заботимся, чтобы все лучшее из братских литератур становилось достоянием наших читателей. Большой популярностью пользуется у нас «Библиотека братства», которая выходит в издательстве «Днипро», включая десятки книг из произведений многонациональной советской классики.

С каждым годом возрастает значение художественного перевода. На этом благородном поприще талантливо трудятся Микола Бажан и его младшие коллеги Борис Олейник, Дмитро Павлычко, Иван Драч, Виталий Коротич, десятки наших литераторов в той или иной степени причастны к делу перевода. Поэт Виктор Кочевский изучил армянский язык, Александр Завгородний овладел эстонским и стал уже лауреатом республиканской премии Эстонии, Владимир Пьянов переводит с оригинала молдавских авторов, живущие в областях наши известные писатели Микола Братан, Петро Мах много делают для развития литературного побратимства, поддерживают постоянные контакты с писателями автономных республик, краев и областей Российской Федерации.

Нам дорог опыт друзей. Думаю, что им так же безразличен творческий процесс на Украине, думаю, многих заинтересует, скажем, недавно вышедшая повесть «Страх-гора» молодого писателя из Прикарпатья Степана Пушика. Созданная на основе миктофонных записей — рассказов старой крестьянки, повесть эта раскрывает нам удивительно богатый мир народной психологии, из страниц этой книги возникает перед нами колоритнейший образ человека труда, человека жизни поучительной, честной, высоко нравственной.

Социалистическое общество окружает вниманием человека творческого. Интерес к искусству и литера-

туре у нас возрастает. Народное внимание воздвигает, нацеливает художника на решение все более сложных творческих проблем, представляющих интерес всеобщий. У нас гармонически сочетаются идущие из глубины веков национальные традиции и современное новаторство, вполне уживаются интонации и краски разных стилевых течений, произведения, скажем, прозы лирической, поэтической соседствуют с суровым, сугубо аналитическим письмом, элементы фольклорные порой выступают в сплав с художественной документалистикой, и все это объединено духом коммунистической идейности, социалистического гуманизма.

Подобно самой жизни, художественный процесс у нас удивительно многообразен. Знаменательно, что наряду с мастерами литератур с богатой и давней традицией все шире, ярче раскрываются своими дарованиями художники литератур молодописменных, представители народностей, чей национальный язык зафиксирован на бумаге лишь после Октября. Практика социализма снова и снова подтверждает ту истину, что нет народов малых, коль речь идет о создании духовных ценностей.

Произведения многонациональной советской литературы, создаваемой на десятках языков народов нашей страны, при всей своей идейной целостности несут читателю ёмкий и неповторимый образ времени, дыхание его страстей, подлинное многоцветье жизни. Призвание свое художник усматривает в том, чтобы воздействовать на умы и сердца современников, пробуждать у них энергию добра, способную преодолевать зло в любых его формах и проявлениях.

Выпало нам жить в эпоху исключительно сложную. Научно-технический прогресс как бы убыстряет само движение жизни и времени, требуя от человека все более напряженных усилий, чтобы в своем развитии встать на новую, высшую ступень. Не случайно на первый план в современном творчестве выступают проблемы нравственные, вопросы воспитания человека человеческого, способного жить в атмосфере взаимного уважения, здравый смысл зовет к прекращению глобальной гонки вооружений, ставшей бичом современного мира.

Человек вышел в космос, в звездные миры, все глубже проникает он в тайны материи, расширяя границы познания, однако является ли степень познания вселенной синонимом человеческого счастья?

Взгляды советских людей питает философия исторического оптимизма, она же придает силу социалистическому искусству и литературе. В центре внимания нашей творческой интеллигенции всегда остается образ современника, человека созидющего, все глубже познающего поэзию дружбы и братства, ибо только в труде, в дружбе, в интернациональном единении во имя будущего может по-настоящему быть счастлив человек.

г. Киев,



Поэзия



**ЮСТИНАС
МАРЦИНКЯВИЧЮС**

☆☆☆

Вот и время плодов пришло.
С летней знойностью животворной
Солнце их, как поэт, светло,
Содержанье сроднивши с формой.

Солнце мысль свою в хлебе, в вине
Выражает всего достоверней,—
Рви плоды, что созрели вполне,
В благодатной тиши предвечерней.

Я люблю, когда к спелым плодам,
Словно к солнцу, рука прикоснется,
А потом, разделив пополам,
Двое сядут вкушать свое солнце.

Про нас

Мы, почему, не зная сами,
Друг друга, как судьбу, нашли.
Стареют вещи. Но над нами,
Как будто годы не текли.

Лишь, ходу времени послушна,
Дочурка подросла у нас,
Глядит светло и простодушно
Любовь сияньем детских глаз.

Так грустно, так необъяснимо,
Что кажется мне иногда,
Что погружаются в трясину
Неторопливые года.

Лишь сердце бьется, не стареет,
К поре зовет нас молодой,
Где хлеб любви растет и зреет,
Где жизнь чревата хворью той,

Какую испытал, все лучше
Себя мы чувствуем. Беру
Груз этой боли неминуемой,—
Хоть знаю, от чего умру.

Перевел с литовского
Л. ШЕРЕШЕВСКИЙ



СОБЕСЕДНИКИ ЛЕНИНА



**СТЕПАН
ДАНИЛОВ**

Ноябрь, позднее 24 (7 декабря) — начало декабря 1917 г. Ленин беседует с членом Учредительного собрания от Костромской губернии С. С. Даниловым; отвечает на его вопросы о текущих событиях.

(Владимир Ильич Ленин. Биографическая хроника, т. 5, стр. 82).

Я начинаю понемногу приходить в норму. Целую неделю спал урывками по 3—4 часа, иногда по 2, почти ничего не ел. В конце концов дошел до того, что перестал узнавать людей, стал забывать имена и фамилии. Совершенно потерял голос и до сих пор говорю шепотом». Это строки из письма, которое С. С. Данилов написал своей жене Елизавете Васильевне Даниловской 11 марта 1917 года. Чтобы понять, как же Степан Степанович «дошел до жизни такой», вернемся на десять дней назад...

28 февраля из Петрограда в Кострому пришла весть, которая одних напугала, а других обрадовала: в столице революция, восставшие рабочие и солдаты овладели городом, создаются Советы рабочих депутатов.

«Незамедлительно надо действовать и здесь, в Костроме», — решил ссыльный большевик Степан Данилов — секретарь-инструктор Центрального Костромского сельскохозяйственного общества (Союза кооперативов Костромского района). Когда на срочное совещание пришли его единомышленники, он обратился к ним с таким вопросом:

— Согласны ли собравшиеся до создания организаций, которые будут выдвинуты демократией, объявить себя Временным революционным комитетом?

Все, кроме одного, ответили утвердительно. Решили в течение ночи отпечатать воззвание, в котором оповестить население о событиях в столице.

«Мы предлагаем рабочим и крестьянам Костромы и губернии и всем гражданам, которым дороги свобода и счастье народа, — говорилось в воззвании, — немедленно объединиться, выбрать своих представителей, образовать местные комитеты».

И начались горячие дни. Рано утром 1 марта Данилов пришел на Кашинскую текстильную фабрику, собрал рабочих и, рассказав о том, что произошло в Петрограде, предложил выбрать представителей в Совет рабочих депутатов. Потом он и его товарищи организовали то же самое на других предприятиях. 2 марта выборы прошли почти повсеместно, и около восьми часов вечера в помещении Сельскохозяйственного общества открылось под председательством С. С. Данилова первое заседание Костромского Совета рабочих депутатов. На нем избрали Исполнительный Комитет и председателя Совета; им стал С. С. Данилов.

В очерке использованы документы, хранящиеся в центральных архивах в Москве, в партийном архиве Костромского обкома КПСС, в Государственном архиве Костромской области и в личном архиве Н. С. Даниловой.

Поздно ночью 3 марта жителей города разбудили бравурные марши и «Марсельеза». Как сообщал на следующий день «Бюллетень» Исполкома Совета¹, «солдаты и офицеры расквартированных в Костроме полков, возбужденные постепенно доходившими до них новостями о событиях последних дней, дефилировали по улицам города, оповещая о своем присоединении к революционному движению».

Не бездействовали и либеральные буржуа, заседавшие в городской думе и в земстве. С благословения губернатора они заявили, что берут власть в губернии в свои руки. Однако большевики настояли, чтобы две трети губернского органа власти составили представители рабочих и крестьян. И был создан Костромской губернский объединенный комитет общественной безопасности, в состав которого (и в президиум его) вошел также С. С. Данилов. Как и повсюду, в Костромской губернии образовалось двоевластие. Однако в самой Костроме основным органом власти, пользующимся признанием большинства граждан, стал Совет.

С утра до поздней ночи Степан Степанович решает уйму дел; ежедневно заседает в Совете и в Комитете, принимает многочисленных посетителей, выступает на митингах и собраниях...

— Хорошо помню этого оратора, — рассказывает старая большевичка Мария Семеновна Виноградова. — Высокий представительный мужчина в пенсне, одетый аккуратно и просто, почти всегда на нем была крылатка. Говорил он ясно, доходчиво, и убежденность его передавалась слушателям. Особенно почему-то запомнилась такая деталь: вот говорит он о серьезных и даже тревожных вещах, и вдруг какая-нибудь шутка или неожиданный жест, вызывающие оживление публики. Очень любили его в рабочей аудитории...

«Настоящим удостоверяется, что предъявитель сего председатель Костромского Совета рабочих депутатов Степан Степанович Данилов командирован Исполнительным комитетом в г. Петроград для установления связи с Петроградским Советом рабочих и солдатских депутатов. Вместе с тем ему поручается войти в соглашение с издательствами для непосредственного приобретения и заказа партийной литературы и литературы о профессиональных союзах» — такое удостоверение Данилов получил 12 марта 1917 г. И пока он «едет» — на несколько дней — в Петроград, давайте познакомимся с документами о его жизни до февраля семнадцатого года, а потом вместе с ним «вернемся в Кострому».

У ИСТОКОВ «ПРАВДЫ»

«Родился в 1877 году в с. Пандиково, Курмышского уезда, Симбирской губернии в семье сельского попа», — писал Данилов в автобиографии.

— Пойдешь, сын мой, по родительской стезе, — сказал ему отец.

И Степан пошел. Сначала учился в Алатырском духовном училище, затем в Симбирской духовной семинарии. А потом... решил стать врачом.

«По указу его величества государя императора Николая Александровича, Самодержца Всероссийского, и проч. и проч.... студент Симбирской духовной семинарии Стефан Стефанов Данилов вследствие его прошения уволен в город Томск для поступления

в императорский университет», — читаем в документе, выданном ему консисторией 8 августа 1897 года.

Просьбу сына священника уважили. Степан Данилов успешно учился на медицинском факультете Томского университета. Но через два года его, как члена народолюбческого кружка и активного участника студенческой забастовки, исключили из университета и выслали в родную деревню под надзор полиции.

«Непосредственное соприкосновение с массой крестьян», — писал он позднее в автобиографии, — пробило первую брешь в народолюбческих фантазиях». А знакомство Данилова с социал-демократами в Петербурге, куда он приехал в конце 1899 года, окончательно определило его жизненный путь.

Поначалу молодой провинциал занимал скромные должности в экспедиции газеты «Сын отечества» и в конторе журнала «Торговая». Но вот он уже вручает знакомым визитную карточку, на которой напечатано: «Правитель дел редакции Указателя действующих в империи акционерных предприятий».

Данилов держался так, будто он далек от общественной жизни, от какого бы то ни было участия в революционном движении. И в то же время сумел установить контакт с подпольщиками и с помощью П. П. Баскакова, работавшего метранпажем в одной частной типографии, снабжал их шрифтами и другими материалами для печатания прокламаций.

...1904 год. Город Ярославль. Степан Данилов — земский статистик и студент Демидовского юридического лицея. А в свободное от работы и учебы время он занимается делом, далеким и от статистики и от юриспруденции: вместе с женой они упаковывают и отправляют по нужным адресам нелегальную литературу, которая доставлялась им на квартиру из местной подпольной большевистской типографии. В том же году Данилов вступает в партию. В пятом году он вместе со своим другом Николаем Подвойским участвует в студенческих манифестациях. Вскоре их избирают на нелегальный Всероссийский съезд высших учебных заведений, и это становится известным охранке.

Из донесения уполномоченного охранки ротмистра Немчинова от 4 августа 1905 года:

«Ввиду полной невозможности учредить за Даниловым секретное наблюдение в месте его проживания, пригородной деревне Заостровке, мною обращено, по возможности, особое внимание на отходящие по направлению к Москве поезда и отправляющиеся вниз по Волге пароходы».

1 сентября Немчинов телеграфировал в департамент полиции, что ночью Данилов и Подвойский выехали из Ярославля в Москву, а оттуда — в сопровождении филеров — в Петербург. Через день начальник петербургской охранки сообщил в департамент полиции: «Студенты Демидовского лицея Данилов и Подвойский (клички «Звонарь» и «Попугай»), принятые наблюдением от московских агентов... выехали в Выборг, а оттуда на Иматру».

У Степана Данилова началась беспокойная жизнь профессионального революционера... Казань, Симбирск, Ярославль, Кинешма, Петербург, Финляндия... И вот он снова в Петербурге, но теперь он уже не Данилов, а Демьянов. Степан Степанович Демьянов, крестьянин Тверской губернии, Осташковского уезда, Дрыгамской волости, деревни Лясково, — как свидетельствовал полученный им «вид на жительство».

Степан Степанович становится одним из ближайших помощников М. С. Кедрова, основателя издательства «Зерно», о котором говорили, что оно спас-

¹ «Бюллетень Исполнительного Комитета Костромского Совета рабочих депутатов» — таково полное название этого издания; над заглавием напечатано: «Прочитайте сами и дайте другим».

циализировалось на «легальном издании нелегальной литературы». (Именно в этом издательстве предполагалось выпустить трехтомник Сочинений В. И. Ленина, но удалось — в конце 1907 — начале 1908 года — издать лишь первый том и часть второго.) Позднее Степан Степанович работал в большевистской «Звезде».

И вот наступает знаменательный день — 22 апреля 1912 года (5 мая по новому стилю) — день рождения «Правды». Уже с вечера 21 апреля двор типографии Березина (по Ивановской, 14, в Петербурге), коридоры, лестницу и машинное отделение стали заполнять посланцы предпринятий столицы; все с нетерпением ждут первый номер новой газеты, чтобы сразу же разнести ее по фабрикам и заводам. Вот уже закончена верстка, сделаны пробные оттиски, и тираж пошел. Ночной редактор С. С. Данилов снимает с машины теплую газету...

Да с лишним десятилетия Степан Степанович хранил этот первый экземпляр первого номера «Правды»; более тридцати лет берегла его потом Елизавета Васильевна, и на протяжении шестнадцати лет сохраняла их дочь Нина Степановна Данилова (накануне 70-летия «Правды» она подарила эту реликвию музею «Правды»).

На первой странице — броское объявление о подписке на «Правду». Тут же сообщение о том, что «в числе постоянных сотрудников участвуют» В. Ильин, В. Фрей (псевдонимы Ленина), М. Ольминский, М. Горький, Е. Придворов и другие. В списке постоянных сотрудников Данилов читает и особенно «близкие» ему фамилии: П. Курмский, Леонтий Чевский, Д. Янов — это его собственные псевдонимы, а всего их было у Данилова семнадцать.

Осторожно прикасаюсь к пожелтевшей хрупкой бумаге... «Правда». Ежедневная рабочая газета. № 1. Воскресенье, 22 апреля 1912 г..»

«Правда ли, будто рабочему классу самим провидением предназначено навсегда подчиненное, рабочее положение?»

Нет! Рабочий класс — создатель всех богатств, и он будет пользоваться всеми плодами трудов своих», — это из статьи «От редакции».

А это из помещенного на первой же странице стихотворения Е. Придворова (Демьяна Бедного):

Пускай шипит слепая злоба,
Пускай грозит коварный враг.
Друзья, мы станем все до гроба
За правду, наш победный стяг!

Семьдесят лет назад Степан Степанович развернул вот этот самый первый правдинский лист... Статья о государственном страховании рабочих, остропублицистическая заметка о Ленском расстреле, многочисленные сообщения о стачках на фабриках и заводах... Думал ли он в те минуты, какой великий путь предстоит пройти «Правде»...

Старейший деятель революционного движения в России, литератор М. С. Ольминский вспоминал:

«С. С. Данилов жил тогда под фамилией Демьянова; он числился выпускающим газету, но часто, ввиду недостатка статей, бывал фактическим редактором и автором. Появлялся он под всевозможными именами: Чеслав Гурский, В. Курмский, Леонтий Чевский, Д. Янов и т. п. Он же, в качестве ночного корректора, буквально обсысывал каждую фразу в чужих статьях, вытравливая слова и фразы, сомнительные в цензурном отношении, или исправляя выражения, которые могли быть непонятны серому, малограмотному рабочему». Ольминский называл Данилова в числе тех, «кто создавал физиономию «Правды» как газеты».

Характерные черты С. С. Данилова отмечает и М. А. Савельев, также член редакции «Правды» тех дней:

«В первое время в ночной редакции почти главную тяжесть выносил на себе Степан Степанович Данилов, «Стакая Стаканович», как в шутку называла его наша литературная братия¹. Он и цтец, и жнец, и в дууд игрец. Поражает экспансивностью темперамента: шутки, остроты, а подчас и внушительные эпитеты сыплются с его уст. Распекает метранпажа, ведет «высокоправственную» беседу с фактором² Виноградовым или «высокодипломатическую» с заведующим, особенно, когда насчет песет слабо»³.

У Данилова хранились тогда рукописи и переписка по делам «Правды». Тем, что мы можем сегодня прочитать в Собрании сочинений В. И. Ленина письма Владимира Ильича в редакцию «Правды» (т. 48, стр. 66—69 и 73—83), а также заметку «Ответ ликвидаторам», мы обязаны Степану Степановичу Данилову: в тяжелейшее дореволюционное время и в тревожные годы гражданской войны он сохранил и в 1927 году передал Институту В. И. Ленина при ЦК ВКП(б) эти бесценные ленинские автографы.

«С переездом Владимира Ильича в Кракс, — писал Данилов в своих воспоминаниях, — редкий номер «Правды» выходил без его статей, подписанных различными псевдонимами. Статьи всегда писались на бумаге одинакового формата, одинаковым ровным почерком. Достаточно было сосчитать число страниц, чтобы сказать, сколько печатных строк выйдет из данной статьи... Поражало меня тогда уменьье Владимира Ильича чрезвычайно простым и ясным языком писать статьи по очень сложным вопросам. В каждой строчке чувствовалось одно желание — быть правильно понятым каждым читателем-рабочим. В простом стиле его статей, чуждом всяких цветов красноречия, как бы отражалась личность самого автора».

Власти часто штрафовали «Правду» за «недозволенные публикации», а то и конфисковывали отпечатанный тираж. Правдисты же, прибегая всякий раз к различным уловкам, стремились перехитрить «блюстителей закона», чтобы сохранить конфискованные номера и доносить таким образом до читателей идеи большевиков. Вот один любопытный эпизод, о котором вспоминал Данилов в письме к дочери от 19 мая 1924 года:

«...5-го мая «старых правдистов», или, как я говорил, «свадебных генералов» торжественно «показывали» в Большом театре. После многих и длинных речей показывали кино «Из истории «Правды». Аснта сделана наспех и, между нами будь сказано, довольно скучновата. Как это ни странно, но у зрителей наибольшим успехом пользуется в картине одна сценка, где изображен ваш татусь. Взят подлинный факт, когда полиция накрыла меня в типографии с несколькими пачками «Правды». Со злости я потребовал, чтобы пристав точно сосчитал количество конфискуемых экземпляров (их было тысяч 7—8), иначе я грозил не подписать протокол. Пристав вынужден

¹ Отец был страстным чаевником. — рассказывает Нина Степановна Данилова. — Сколько я его помню, у него всегда на столе во время работы стоял стакан чая. Наверно, так было и в редакции «Правды», что и дало его друзьям повод для шуточного имени и отчества».

² Фактор — управляющий технической частью типографии.

³ Песета — денежная единица в Испании. Тут в смысле нехватки денег, необходимых для расплаты с хозяйном типографии.

был считать. Давши ему насчитать штук 400—500, я сбивал его со счета и требовал нового точного подсчета. Пристав так усердно занялся счетом, что и не заметил, как я обменялся знаками с типографскими рабочими, и те потихоньку начали вытаскивать пачки газет, которые я подталкивал им ногой. Когда пристав обернулся, он увидел «чудо-чудное, диво-дивное»: пачки газет исчезли.

Вся эта история на ленте вышла недурно»¹.

Листаю «Правду» 1912 года... То и дело попадают материалы, подписанные псевдонимами Данилова. Тут и передовые статьи, и корреспонденция на рабочие темы, и острые публицистические заметки, разоблачающие буржуазных либералов. Так, в передовой, опубликованной 20 мая, Данилов писал, что большевики никогда не обольщались «пустозвонной шумихой либеральных краснобаев, напавших на себя демократический плащ, из-под которого явно сквозили плохо прикрытые полинявшие лохмотья убогого либерализма». В другой статье, напечатанной 26 мая, он подчеркивает, что «свобода стачек, собраний, союзов и т. п. необходима рабочим, как воздух и свет; это — требование жизни». Часто в газете публиковались его заметки под рубрикой «Вопросы страхования». Только за первые два месяца со дня выхода «Правды» в ней напечатаны 20 статей и заметок С. С. Данилова.

Степан Степанович хорошо владел искусством конспирации, и все-таки охранка многое узнала о нем: ей помог прсникший в «Правду» провокатор Черномазов. 30 августа 1914 года во время собрания больницы кассы на Путиловском заводе нагрянувшая туда полиция арестовала Данилова.

Из сообщения начальника петербургского охранного отделения от 15 сентября 1914 г.:

«Данилов Степан Степанов, сын священника, 37 лет... в 1912 году являлся представителем большевиков-ленинцев, деятельность коих выразилась главным образом в попытках создать общегородскую централизованную организацию с районными и Петербургским комитетами, как ее руководящими центрами, и в проведении докладов о Ленинской конференции² и в издании и распространении своих легально издававшихся партийных органов, газет «Невская звезда» и «Правда», и в 1913 году состоял ночным редактором означенной газеты и писал для нее передовые статьи».

Очевидно, именно эти сведения о Данилове, сообщенные по месту его ссылки — в Кострому, и дали основание начальнику Костромского жандармского управления полковнику Семигановскому уведомить губернатора 11 августа 1916 г.:

«В Кострому для отбытия гласного надзора полиции прибыл сын священника Степан Степанов Данилов, являющийся одним из самых крупных деятелей РСДРП. Данилов в настоящее время проживает по Покровской улице, дом № 10. Ввиду изложенного прошу распоряжения вашего превосходительства чинам местной полиции о наиболее тщательном и строгом выполнении гласного надзора за Даниловым, обязав его, между прочим, являться в местную полицейскую часть не менее двух раз в неделю». (Заметим в скобках, что через семь месяцев после того, как полковник подписал эту бумагу, он по распоряжению Данилова — представителя новой власти — был арестован.)

РОЖДЕНИЕ КОМСОМОЛА В КОСТРОМЕ

Толстая (295 листов!) архивная папка — «Протоколы заседаний Костромского Совета за 1917 год». Повнимал ли секретарь этого Совета Николай Прохоров, как будут благодарны ему потомки за то, что он так обстоятельно протоколировал заседания Исполкома и общих собраний этого Совета?!

Вот протокол от 20 мая 1917 г.:

«Председатель полагает, что необходимо развить в молодежи желание проявлять собственную инициативу в деле организации. С этой целью он предлагает организовать кружок молодежи, который бы не только привлекал молодежь к занятиям политического характера, но и доставлял бы ей развлечения и позволял бы развиваться физически».

Заметим, что незадолго до этого группа либеральных интеллигентов пыталась создать молодежную организацию. Газета «Поволжский вестник» опубликовала призыв некоего «Временного правления» вступать в ряды «внесловной, внеклассовой, внепартийной молодежи».

— Нет! — решительно сказал Данилов. — Такая организация нам не нужна. У нас будет боевой Союз рабочей молодежи с ярко выраженным классовым характером, надежный помощник партии.

И такой Союз был создан. При ближайшем участии Данилова Исполком Совета разработал проект «Устава Костромского Союза рабочей молодежи», первый пункт которого гласил:

«Союз рабочей молодежи ставит своей целью содействовать умственному, нравственному и физическому развитию рабочей молодежи, чтобы подготовить из нее сознательных граждан свободной России и стойких борцов за интересы рабочего класса».

9 июля 1917 г. проект был утвержден Исполкомом, а еще через четыре дня — общим собранием Совета.

КОНЕЦ ДВОЕВЛАСТИЮ

26 октября 1917 г., как только в Кострому поступили первые сообщения о победе революции в Петрограде, было созвано экстренное совместное заседание Костромского Совета рабочих и солдатских депутатов (еще в первых числах июля они слились в один Совет) и губернского Совета крестьянских депутатов. Выступивший с сообщением о победе революции С. С. Данилов отметил, что в самой Костроме власть фактически уже в руках Совета, и заявил, что сейчас надо закрепить это и юридически и положить конец двоевластию во всей губернии. Решительно отвергая возражения меньшевиков и правых эсеров, он предложил немедленно взять под свой контроль телеграф, телефон, железнодорожную станцию, банк. И туда были направлены комиссары. А на расширенном заседании Совета 29 октября был образован новый орган власти в лице Исполкома Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Эта дата — 29 октября 1917 г. — 11 ноября по новому стилю — и является днем установления Советской власти в Костроме.

Был создан также Военно-революционный комитет, в состав которого вошел и Данилов. В то бурное революционное время партийную организацию Костромы возглавляли С. С. Данилов и Н. П. Раскопчин.

Последнее заседание Костромского Совета, на котором присутствовал Данилов, состоялось 24 ноября 1917 г.

¹ Имеется в виду игровая кинолента.

² Имеется в виду Шестая (Правая) Всероссийская конференция РСДРП, проходившая под руководством Ленина в январе 1912 года.

«...Берет слово Степан Степанович Данилов,— зафиксировал в протоколе секретарь.— В краткой речи он благодарит рабочих Кашинской фабрики... за то, что они избрали его в Совет, и Совет благодарит за то, что он избрал его своим председателем».

С присущей ему скромностью Данилов говорит далее, что Совет сделал «недостаточно много», и высказывает пожелание большего успеха в дальнейшей его работе. Сообщив затем, что поскольку он выбран в Учредительное собрание и ему необходимо отправиться в Петроград, он прощается с членами Совета и уходит («покидает собрание под провожающие аплодисменты»,— как отмечено в протоколе).

ВСТРЕЧИ С ЛЕНИНЫМ

Впервые Данилову удалось увидеть Ленина 4 апреля 1917 г. в комнате № 13 на хорах Гаврического дворца, где собрались большевики — участники Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских депутатов. Ленин, выступивший на этом собрании, огласил и разъяснил свои тезисы о задачах пролетариата в революции (знаменитые Апрельские тезисы).

Потом — на заседании I Всероссийского съезда Советов.

...С левой стороны от трибуны узкой полосой, примерно до середины зала, сидят большевики. Их сравнительно немного, всего лишь одна десятая часть от общего числа делегатов. Но они представляют самую боевую партию, подлинную выразительницу интересов трудового народа. И когда лидер меньшевиков Церетели сказал в своей речи, что в данный момент нет в России такой партии, которая согласилась бы взять власть, из притихшего зала раздался громкий и решительный голос:

— Есть!

Это был голос Ленина.

В зале замешательство, в президиуме смятение. Неожиданная реплика сбила оратора с его плавной речи, он «закругляется» и уходит на свое место. А Ленин уже поднимается на трибуну... И Данилов вместе с другими делегатами-большевиками аплодирует вождю, убедительно доказывающему, что Советам необходимо взять власть в свои руки.

И вот конец ноября семнадцатого года, Данилов снова в Петрограде, он член Учредительного собрания от Костромы, и ему очень хочется поговорить с Лениным, посоветоваться по некоторым вопросам политики партии, лучше разобраться в происходящих событиях. Около полуночи он пришел в Смольный, который, как вспоминал Степан Степанович, «жил тогда какой-то исключительной, напряженно-кипучей, почти фантастической жизнью».

«В разговоре с Лениным в эту ночь,— писал в своих воспоминаниях Данилов,— я задавал ему много вопросов, на которые он отвечал мне с поразительным спокойствием и терпением... В числе многих острых, злободневных вопросов разговор коснулся, между прочим, возможности соглашения с эсерами и меньшевиками.

— Да ведь нам не о чем с ними разговаривать,— говорил Ленин.— Ведь они ничего не могут предложить нам. Они сами не знают, чего хотят».

Напряженнейшая работа на протяжении всего года сказалась на здоровье Данилова; напомнила о себе и давняя болезнь, явившаяся следствием полученного им в 1905 году удара казачьей пикой по голове во время манифестации в Ярославле. Огромным усилием воли Степан Степанович скрывал недомогание и оставался на посту. Но сейчас он решил,

что ему необходим отдых. Он уехал в Геленджик, а потом на свою родину, в Курмышский уезд Симбирской губернии. Но и тут Данилов не остается в стороне от событий: он активно участвует в проведении мобилизации и в подавлении кулацкого восстания.

Здесь же, в родном краю, где в конце прошлого века он учился в духовном училище и в духовной семинарии, он теперь, в 1918 году, написал брошюру «Черное воинство» (о борьбе церковников против народа). Пригодилось знание истории религии; он показывает в своей брошюре, как со времен Древнего Рима духовенство одурманивает народ. Данилов разоблачает клевету патриарха Тихона и церковного журнала «Благовест» на Советскую власть. И далее как бы от лица верующего человека высказывает такое недоумение: при царе церковь учила, что всякая власть от бога, теперь у нас Советская власть, значит, и она от бога,— так почему же некоторые лица духовного звания не подчиняются этой власти и стараются вызвать смуту и беспорядки; что же получается — выходит, что, противясь Советской власти, они тем самым противятся богу? Такое рассуждение, надо полагать, заставило задуматься многих верующих, на которых и была рассчитана эта брошюра.

В сентябре 1918 года Данилова вызвали в Москву и назначили заместителем председателя Высшей военной инспекции. Вот как он пишет в своих воспоминаниях о встрече с Владимиром Ильичем в 1919 году:

«В назначенное время я входил в его кабинет. Мне было неловко отнимать у него время, и у меня невольно вырвалась фраза о том, что вот, дескать, я начинаю следовать «непохвальным примерам» — обращаться к нему. В ответ Владимир Ильич улыбнулся какой-то особенной улыбкой, ободряющей, привлекающей к себе. Глава Советского правительства куда-то исчез; передо мной был учитель, которому надо было скорее рассказать о всех своих сомнениях. А он как будто сразу уловил состояние сумятицы и тревоги, переживаемое мною, и своей улыбкой выражал полную готовность помочь мне».

Данилов писал, что к концу этой беседы все его сомнения были разрешены, он получил от Владимира Ильича ясные указания о характере контактов военного ведомства с партийным и советским аппаратом.

Большая ценность воспоминаний Данилова о встречах с вождем партии состоит в том, что они дают нам возможность как бы увидеть живого Ленина. Вот еще два эпизода.

Отмечая исключительную пунктуальность Владимира Ильича (заседания Совета Обороны, подчеркивает Данилов, открывались всегда точно в 6 часов вечера), он упоминает об одном случае, когда Ленин опоздал на заседание... «Пробило 6 ч., а его не было, что не мало удивило собравшихся на заседание. Появился он только в 7—8 минут седьмого, покрасневший, смутившийся, словно провинившийся школьник. Он попросил товарищей извинить его, так как был задержан на заседании ЦК. В ответ на его извинение раздался взрыв хохота и крики: «не принимаем», «отклонить», «занести в протокол», что еще больше смущало Ленина».

Очень яркий штрих к портрету Ильича дает Данилов, рассказывая и о другом (малоизвестном) эпизоде. Это случилось в апреле 1920 года. Данилов сообщил, что в саду около Кремля шатаются дезертиры, и он дал согласие устроить облаву с проверкой документов. Попавший в облаву М. И. Калинин предъявил свой документ и спокойно отправился дальше. А вот другой товарищ Х., также занимавший

высокий пост и также случайно попавший в оцепление, поднял шум; размахивая многочисленными документами, он выражал свое негодование. А когда его выпустили из оцепления, пришел на заседание Малого Совнаркома и заявил, что «Данилов безобразничает около самых стен Кремля»; по его просьбе ему было выдано на руки письменное распоряжение о прекращении облавы. Непроверенных оставалось еще около трехсот человек. Как показывал опыт, именно наиболее злостные дезертиры не спешат к месту проверки документов, надеясь, что, может быть, в последний момент как-нибудь удастся выкрутиться. «На этот раз на помощь им пришел т. Х», — замечает Данилов. Товарищ Х. не успокоился на том, что добился прекращения облавы, он подал на Данилова жалобу в Совет Обороны.

«Во время его обвинительной речи, — вспоминал Степан Степанович, — я сидел словно на иголках: поднимал руку, махал ею и всем своим существом показывал, что после обвинения слово должно быть дано мне... Мои старания получить слово оказались тщетными: Ленин смотрел на меня ясными, спокойными глазами и как будто не видал меня, словно перед ним было пустое место».

Говорит еще один обвинитель, и Данилов снова делает отчаянные попытки обратиться на себя внимания председателя, который должен же наконец предоставить ему слово для защиты. Но... результат тот же.

Выступивший затем представитель военного ведомства прочитал короткую справку, из которой явствовало, что облава дала хорошие результаты.

Потом слово взял Ленин. «Конечно, — сказал он, — попасть в облаву всякому неприятно. Мы можем выразить товарищу... соболезнование от имени всех нас. Если этого мало, можем чем-нибудь вознаградить его. А облаву все-таки надо было сделать... облава дала результаты, дала бы и больше, если бы... не помешали».

Данилов пишет далее, что когда он «остыл», то понял, почему Ленин как бы не видел его присутствия на заседании... «Заметив мое «петушиное» настроение, он просто не дал мне возможности наговорить таких вещей, за которые мне потом самому было бы неловко. Нечего говорить о том, что сам я никогда бы не мог так защитить себя, как это сделал Ленин».

«ПРОВЕРИТЬ У ДАНИЛОВА»

Степан Степанович довольно быстро освоил новую для него работу, об этом красноречиво свидетельствует «кривая его роста»: 15 мая 1920 г. приказом Реввоенсовета он был назначен комиссаром главного штаба РККА и утвержден членом Особого совещания при Главнокомандующем. А 13 июля 1921 г. Ленин подписал проект постановления Совнаркома о назначении комиссара штаба РККА С. С. Данилова членом Реввоенсовета Республики.

Владимир Ильич относился к Данилову с большим доверием.

«На отзыв Данилову и потом показать мне», — пишет он 25 февраля 1920 года на телеграмме — о слишком строгих мерах местных властей по отношению к семьям дезертиров, — присланной со ст. Оленино.

«Данилову в РВС Республики для ответа. 15/VII. Ленин». Это — в 1921 году на письме норвежского летчика О. Даля, который сообщал, что окончил

школу военных летчиков, и спрашивал, не может ли он получить работу летчика в России.

«Проверить у Данилова (РВС Республики), отвечено ли. 25/VII Ленин». Это — через десять дней на письме из Наркоминдела по вопросу об операциях против белогвардейского генерала Бакича.

Гражданская война подходила к концу.

8 сентября 1921 года Степан Степанович взял типографский бланк, на котором значилось: «Военный комиссар штаба Рабоче-Крестьянской Красной Армии», — и начал так:

«Уважаемый Владимир Ильич!

Вопрос, о котором я пишу Вам, давно интересует меня, и я давно уже собирался писать Вам...

В обстановке жестокой гражданской войны, голода, нужды, тяжелых лишений мало было места альтруизму, любви даже внутри класса, среди трудящихся.

Сейчас мы получили передышку. С военного фронта центр тяжести переносится на борьбу с разрухой, с голодом, на работу по упорядочению и облегчению обывденной жизни.

Нельзя ли в этой мирной работе сделать одним из движущих рычагов альтруизм, чувство сострадания и любви к старому и малому, к слабому и больному, к беспомощному, голодному.

Я далек от мысли, что нам пора перековать штаны на косы и серпы, но думаю, что пора уже призывать к любви, состраданию, взаимной помощи внутри класса, внутри лагеря трудящихся...

Мне немного нездоровится, и я, вероятно, путаю формулирую свою мысль. Но суть, мне кажется, все-таки ясна.

С комму. прив.

С. Данилов»¹.

И вот краткий, но весьма многозначительный ответ Владимира Ильича:

«12/IX

т. Данилов!

И «внутри класса» и к трудящимся иных классов развивать чувство «взаимной помощи» и т. д. безусловно необходимо».

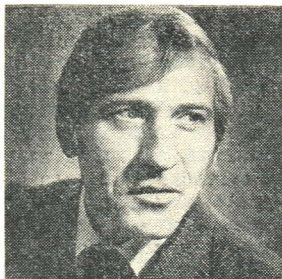
С ком. приветом ЛЕНИН».

Начальник Всероглавштаба А. А. Самойло писал о комиссаре Данилове: «Это был человек деликатный, отзывчивый и внимательный в обращении... Уже больной, страдая болезнью сердца, он тщательно скрывал свое состояние, чтобы не беспокоить окружающих» (а работали они, как вспоминает А. Самойло, по 18 часов в сутки).

В 1922 году Данилова отправили в санаторий, за границу. Он хорошо отдохнул, окреп и, вернувшись, продолжал работать в штабе. Однако в двадцать четвертом году здоровье его резко ухудшилось, и он был все-таки вынужден оставить военную службу. Долго лечился, потом работал в издательском отделе Института К. Маркса и Ф. Энгельса, затем, как опытный экономист, — в Главдортрансе. Умер он в 1939 году.

И. БРАЙНИН

¹ Письмо публикуется с сокращением.

ИГОРЬ
ЛЯПИН*Родной город*

Я никогда в любви к тебе не клялся.
И нынче, восходя на твой порог,
Торжественною речью не запасаю
И красного словца не приберегу.
Давным-давно по всей днепровской шири
Весна проходит буйно молодой,
А вспоминаешь, как мы раньше жили,
И самому не верится порой...
Он зримо шел, Победы светлый праздник,
Но у оврагов самых тех глухих
Еще горячим было место казни
Несломленных подпольщиков твоих.
Еще хранили сбитые пороги
Следы тупых фашистских сапожищ.
Еще кричали криком похоронки
За каждой дверью горестных жилищ.
Твой Трубный только ждал восстановления
Хрипели паровозные гудки,
И в здании заводу управления,
Как призраки, носились сквозняки.
А в городе, опять в ударе нерваном,
Притихнув, как в предчувствии грозы,
Измученная очередь за хлебом
Во все глаза смотрела на весы.
Как этот строй тянулся, как он длился!
И хлеб, что нас дурманил и манил,
На черный и на белый не делился.
Он хлебом был. Он просто хлебом был.
Еще звучала песня жизни глухо
И доносилась издали до нас.
А как еще! Разруха есть разруха...
Но был двужилым твой рабочий класс.
Я помню их — Иванов и Одарок,
Я с гордостью родное отмечал
В сияющих глазах никополянчан
И в мягком юморе никополянчан.
Пусть эти связи будут неизменны,
И все дела сверяются по ним,
Пусть катится волна рабочей смены
В урочный час к широкому проходным.
Пусть струятся солнечные краски
К твоим газонам, клубам, витражам,
Пусть плывут армадами коляски
Твоих новорожденных горожан.
Они еще наивно тянут руки,
Из тесных вырываясь одеял.
Им предстоит еще пройти науки,
Что мне ты безупречно преподавал.
И сад шумел, и белый голубь вился,
Трубил завод, дымы свои клубя,—
Я у тебя и нежности учился
И мужеству учился у тебя.

☆☆☆

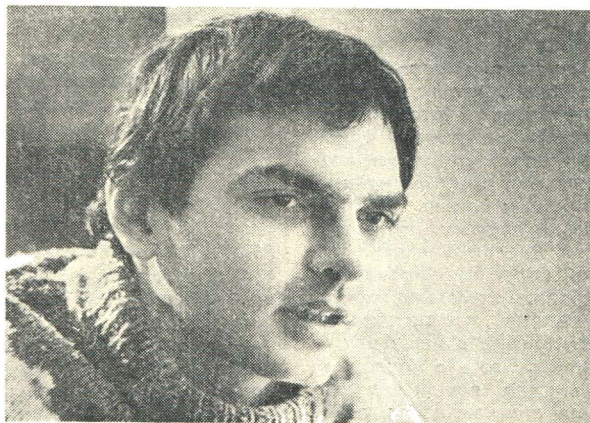
Спокойствие считая божьим даром,
Все чаще возвращаясь между тем
К безвременно погибшим командармам,
К поэтам оборвавшимся поэмам.
Они попроще путь не выбирали
И, не итожа подвиги свои,
На скорости космической сгорали,
Врезаясь в жизни плотные слои.
И ни на миг душа не унималась,
И были так порывы их чисты,
Так трепетны, что сердце разрывалось
От перегрузки чувством правоты.
Не каждому в суровую годину
По жизни так стремительно идти
И сердца невзорвавшуюся мину
Ежеминутно чувствовать в груди.

Лермонтов

Он под ударом оказался,
Совсем молоденький корнет,
Поскольку первым отозвался
И бросил в свет: — Погиб поэт...—
В порыве юности горячей
Он сам еще не сознает,
Что жизнь уже пошла иначе,
От этих слов ведя отсчет.
Пройдясь пером по жгучим строкам
И посмотрев картинно вдаль,
Уже с кровавым Бенкендорфом
О ней подумал государь.
И, понимавший, в чем крамола,
С приказом царским вскрыл пакет,
Бесстрашный генерал Ермолов
Махнул в сердцах: — Погиб поэт...—
Но Лермонтов не падал духом,
Натура — Пушкину под стать.
Он распрощался с Петербургом,
Готовый яростно писать.
Враг лицемерия и лести,
Он покидал родимый дом,
Но — сам уже невольник чести —
Стоял отважно на своем.
И в авангарде и на фланге
Судьба армейская горька,
Но ни в бою, ни на бумаге
Его не дрогнула рука,
Был крепок дух его высокий,
И дня не живший напоказ,
Какие трепетные строки
Он посвятил тебе, Кавказ.
И как он искренне гордился,
Что заклеил тот гнусный свет,
Что как поэт уже родился,
Когда сказал: — Погиб поэт...

☆☆☆

Обещал я, прощаясь: — Вернусь! —
Этой женщине очень нестрогой.
И была на лице ее грусть
Перед дальней моею дорогой.
Видно, в сердце ее запеклась
И не стала ни чуточки мельче
Эта наша недолгая связь
Этой нашей нечаянной встречи.
Ветер краски над лесом сгущал
То лилово, то зеленовато.
Я так искренне ей обещал
Неприменно вернуться обратно.
Но молчанье, молчанье храня
И от восторженного ветра сугулясь,
Посмотрела она на меня,
Улыбнулась, потом усмехнулась.

**КАРЕН
ШАХНАЗАРОВ**

Ему 29 лет. Москвич.
Служил в армии.
Окончил ВГИК.
Сейчас — режиссер
киностудии «Мосфильм».
Его первая повесть
«Молодые дирижабли»
была опубликована
в журнале «Октябрь»
в 1980 году.

КУРЬЕР

ПОВЕСТЬ

Не так давно я случайно услышал одну любопытную радиопередачу. Корреспондент останавливал на улице прохожих и задавал всем один и тот же вопрос: «Если бы вам пришлось писать мемуары, о чем вы хотели бы в них рассказать?» Ответы, разумеется, были разными. Одни рассказывали целые истории, другие отделивались анекдотами. Мне больше всего запомнился ответ одного старика. Сперва он сказал: «Мне нечего писать в мемуарах. У меня ничего не было». Корреспондент удивился и не поверил: «Не может быть! Вы человек в возрасте. Наверняка многое видели и сами участвовали во многих исторических событиях. Неужели в вашем прошлом нет ничего, что живо волновало бы вас сейчас!» Старик задумался и сказал: «Знаете, много-много лет назад я был влюблен в девушку. Мне тогда было пятнадцать лет, а ей, кажется, восемнадцать. Мы жили в одном доме и часто встречались в нашем дворе. Я все время хотел заговорить с ней и познакомиться, но никак не решался... А потом она с семьей уехала, и я больше никогда не видел ее. Вот об этой девушке я и вспоминаю теперь больше всего. Об этом, пожалуй, я написал бы. И может быть, добавил бы сюда немного ничего не значащих разговоров с несколькими давно забытыми людьми. Но разве это интересно кому-нибудь!» «Отчего же!! Очень интересно», — сказал корреспондент, но в голосе его пряталось разочарование.

Я проснулся ночью. Лунный свет серебряным столбом пересек комнату от окна до противоположной ему стены, на которой висела большая африканская маска — подарок отца.

Маска была черная, гладко отполированная. Ее глаза были полузакрыты, как у людей, вспоминающих прошлое, а толстые вывороченные губы презрительно улыбались. Я почувствовал, что сегодня мне уже не заснуть. Знаете, случается такое: совершенно нормальный, здоровый человек просыпается среди ночи и до утра не может заснуть. Он не болен, у него нет нервного расстройства. Просто он абсолютно выспался и в дальнейшем сне не видит никакой необходимости. В такие часы чувствуешь себя настолько бодрым, что хочется как-то размяться физически — сделать какое-нибудь дикое сальто или вообще что-нибудь головокружительное. Под кроватью у меня валялся старый футбольный мяч. Я достал его оттуда и принялся «чеканить», то есть подкидывал мяч ногой, стараясь не уронить на пол. Было интересно, но все же чего-то не хватало. Я потихоньку, чтобы не разбудить мать, включил магнитофон. Тогда стало совсем весело. Мик Джаггер надрывал глотку, а я «чеканил» мяч.

**Что за чудо, этот мяч,
Норовит пуститься вскачь,
Не проси его, не плачь,
Не лежит на месте мяч.
Как поддашь одной ногой,
Так поймать ногой другой
Очень сложно. Этот мяч
Норовит пуститься вскачь.**

Мои родители развелись, когда мне было четырнадцать лет. До этого у нас была, что называется, идеальная семья. Родители — педагоги (отец преподавал химию, мать — историю), работали в одной школе, я там же учился. Не помню, чтобы они когда-нибудь ссорились. Отец называл маму «умнейшей женщиной», она говорила, что он «очень добрый человек». Он был действительно добрым, но — также мамины слова — «немного увлекающимся». Он увлекался футболом, хоккеем, коллекционированием шариковых ручек, кроссвордами, шахматами, цветоводством, рыболовством и, наконец, увлекся новой учительницей пения, которая пришла в нашу школу сразу после окончания института. Это его последнее увлечение оказалось роковым для нашей «идеальной» семьи. Полгода она еще агонизировала, а потом скончалась. Ее смерть засвидетельствовал нарсуд Дзержинского района. Я отлучно запомнил тот роскошный зимний день — падающий пушистыми хлопьями снег и ослепительное солнце. Несмотря на такой подвох со стороны природы, мои родители держались великолепно. Они, конечно, сильно нервничали, но никак не выказывали этого и были настолько корректны и милы друг с другом, что судья сперва решил, будто они ошиблись адресом — расписывали в соседнем доме. Недоразумение было быстро улажено, и потом все пошло как по маслу. Когда бракоразводная процедура закончилась и мы очутились на улице, мама с вежливой улыбкой попрощалась с отцом за руку и объявила, что зайдет в магазин, а потом подождет меня у метро.

— Мне очень жаль, старина, что так получилось, — сказал отец, когда она ушла.

— Никаких проблем, папа, — сказал я.

— Надеюсь, мы будем видеться как можно чаще? — сказал он.

— Разумеется, папа, — сказал я.

Кажется, он был удовлетворен. В этот момент из-за угла появилась та самая учительница пения, благодаря которой и случился весь сыр-бор, и заспешила к отцу. Однако, заметив рядом с ним меня, она остановилась и в смущении отвернула лицо в сторону. Ей было не больше двадцати трех лет, а, раскрасневшись от быстрой ходьбы и мороза, она выглядела еще моложе. Высокая, стройная, длинноногая, с мягкими белокурыми волосами и прозрачно-голубыми глазами она мне нравилась, несмотря ни на что. Конечно, обидно было за маму, но я мог понять и отца. Зная, что сделаю ему приятно, я сказал об этом.

— Девочка она, конечно, первоклассная, — кивнул я в сторону «певички».

— Тебе, правда, нравится? — обрадовался он. — Давай познакомлю вас?! — И он, не дожидаясь моего согласия, крикнул: — Наташа, Наташа, иди сюда!

Наташа, конфузясь, подошла. Отец несмело взял ее под локоть и представил меня:

— Мой сын Иван... А это Наташа...

Я улыбнулся и пожал ей руку.

— Очень приятно. Поздравляю, — сказал я.

Наташа покраснела и смущенно заулыбалась.

— Спасибо, — пробормотала она. — Федор... — Она

осеклась, закусив губу. — То есть ваш папа много рассказывал о вас. Я очень рада...

— Представляю, что он наговорил обо мне, — улыбнулся я.

— Все нормально, старина, — в ответ засмеялся отец.

— Берегите его: у него язва, — сказал я девушке.

— Ива-ан! — прогундосил отец.

— Что — Ива-ан?! Что здесь такого? Мама ему настойку из трав делала. Если хотите, я могу потихоньку списать рецепт.

— Спасибо, — с благодарностью произнесла Наташа. — Это было бы великолепно.

Я кивнул.

— Ладно, мне пора, — сказал я отцу. Мы пожали друг другу руки.

— Приходите к нам, Иван, — проговорила Наташа. — Приходите обязательно...

— Непременно, — ответил я и простился с ними.

Я действительно приходил к ним потом, правда, не более двух или трех раз, и принес тот рецепт, который обещал Наташе. Однако чаще бывать у них мне было нельзя. Мама, несмотря на внешнее безразличие, очень нервничала первые месяцы после развода и ревниво относилась к моим посещениям отца. Поэтому, посоветовавшись, мы с отцом даже решили вообще не встречаться некоторое время, чтобы дать ей успокоиться. Мне, конечно, было очень жаль маму, и я понимал, как ей нелегко, но в глубине души считал, что она несколько драматизирует ситуацию. К тому же я нечаянно открыл положительную для себя сторону в этой истории. Так как она происходила на глазах всей школы, то педагоги, разумеется, приняли горячее участие в ней. В своей массе они единодушно поддерживали мать (кроме физрука, который решительно встал на сторону отца). Их сочувствие распространилось и на меня, как невинную жертву «злосчастной страсти». В результате полугодие, в котором развернулись эти события, я закончил на одни пятерки.

Однако со временем все стало забываться. Мама постепенно успокоилась, отец с «певичкой» уволился из школы, а потом он вообще уехал в длительную зарубежную командировку — в одну африканскую страну, и в моем дневнике вновь свое достойное место заняли тройки.

Когда спустя два года я окончил школу, у меня не было никаких твердых планов на будущее. Я не чувствовал в себе особой склонности к какому-либо определенному роду деятельности. Правда, то ли в силу наследственности, то ли из-за своего мечтательного характера я неплохо знал историю, особенно древнюю и средних веков. Поэтому мама настояла, чтобы я подал документы в педагогический институт на историческое отделение. Она сказала, что мальчики там в дефиците и у меня хорошие шансы поступить. Меня не очень прельщала перспектива стать учителем истории, но не хотелось ссориться с мамой. Она позвонила какому-то Эдуарду Николаевичу — он в свое время был дружен с моим отцом, а сейчас преподавал в пединституте и являлся членом приемной комиссии. Потом на экзамене я увидел его. Это был маленький лысоватый человек с лицом, которое, должно быть, помнили только его ближайшие родственники. Единственное, что мне бросилось в глаза, — это его галстук. Замечательная вещь, я вам скажу. Наверное, французский или итальянский. Где он его достал и зачем нацепил к своему черному поношенному костюму, мне непонятно. Но галстук был просто выдающийся и на-

столько выбил меня из колеи, что я никак не мог вспомнить, в каком году крестилась Киевская Русь.

Эдуард Николаевич позвонил маме после экзамена. Мне удалось подслушать их разговор, из которого я понял, что с треском провалился. Эдуард Николаевич сказал, что я способный мальчик, но «слабо подкован по датам». Что верно, то верно — по датам я был подкован слабо. После этого мать вбежала ко мне в комнату, обняла меня и заплакала. Я стал ее успокаивать, а она грустно смотрела на меня, и слезинки дрожали на ее ресницах. Мне было ужасно жаль ее, и я чуть-чуть сам не ударился в слезы. Но все же сдержался и обещал, что на следующий год обязательно выясню, в каком году крестили Киевскую Русь.

— К тому же,— добавил я,— вспомни Дарвина, как плохо он начал и как хорошо кончил.

В ответ мама погладила меня по голове и сказала:

— Ладно, Дарвин...

В ее глазах погасли звездочки несбывшихся надежд. Она разочаровалась во мне. В школе я учился плохо, но ее поддерживала мысль, что все великие люди в детстве были двоечниками. Теперь же иллюзии развеялись, как куча осенних листьев.

Отцу я написал, что поступил в МГУ на физический факультет, и через неделю получил открытку с изображением антилопы бубалы.

Отец писал: «Поздравляю, старина! Честно говоря — не ожидал! Помнится, в школе ты не проявлял склонности к точным наукам. Тем более приятно! С нетерпением ждем великих открытий. Папа».

Я положил открытку в ящик стола, где у меня уже был целый зоопарк, и на этом дело о поступлении в институт было закрыто.

Почти два месяца я, как говорится, валял дурака: целыми днями лежал на пляже в Серебряном бору, читал приключенческие романы и до одурения слушал магнитофон. В школе у меня не было близких друзей, а те несколько приятелей, с кем я иногда проводил время, либо поступали в институты, либо уехали отдыхать. Поэтому единственным человеком, с которым я общался в то время, был Коля Базин. Его мать работала медсестрой в районной поликлинике, а отец — разнорабочим в овощном магазине. У Коли было странное выражение лица, особенно когда он улыбался. В детстве он, раздобыв капсуль от стартовика, ударил по нему молотком. Кусочек от разорвавшегося капсуля угодил ему в правый глаз. Спасти его не удалось — глаз вытек, и Коле вставили искусственный. Вообще было почти незаметно, что один глаз у него не настоящий. Только когда Коля улыбался, этот глаз оставался странно-грустным на веселом лице.

Все почтенные мамы считали Колю «шпаной». Но на самом деле он был неплохим парнем. Нас сроднило безделье. Мы играли в карты и иногда ходили на футбол. Коля научил меня играть в «секу» и «буру», а на стадионе мы вместе орали что было сил: «От Москвы до Гималаев король воздуха — Дасаев!»

Прошли август и сентябрь. Утомленное лето гило в холодных порывах ветра. Осень явилась предательски, как удар в спину, в одну ночь сорвав с деревьев еще не желтые листья; размыла землю потоками дождя и покрасила город в серый цвет. Взглянув утром в окно, люди поразились такому

превращению и развели руками: дескать, черт знает что стало нынче с погодой!

Мама в тот день сказала мне:

— Я думаю, Иван, ты уже достаточно отдохнул. Думаю, тебе пора подумать о работе.

Я был готов к подобному разговору, и все же именно в этот день он меня сильно расстроил. Наверное, все дело в погоде. Хотя, если говорить правду, я никогда не испытывал острого влечения к трудовой деятельности. Во всяком случае, я пришел к выводу, что принадлежу к тому типу никчемных людей, которые должны рождаться в семьях миллионеров. Поэтому наиболее подходящим для себя занятием я считал работу грузчика в овощном магазине, куда по протекции своего папаша уже устроился Коля Базин. Меня всегда привлекала та смесь романтизма с реализмом, которые присущи грузчикам овощных магазинов. Однако, поделившись своими мыслями с мамой, я встретил резкое непонимание и узнал, что вообще моя дружба с Колей держит ее в постоянном напряжении.

— Ты начал пить,— сказала она с драматическими интонациями в голосе.

— Что с того, если я раз в неделю выпью кружечку пивка? — возразил я. — Не забывай, что мне не пятнадцать лет.

— Да, ты, конечно, ужасно взрослый, но мне кажется, что ты со своим Базиным пьешь уже не только пиво.

— Оставь Базина в покое. Он прекрасный парень.

— Я не считаю, что он хорошая компания для тебя,— твердо сказала мать. — Что касается работы, то я уже подыскала тебе место.

— Надеюсь, не ниже замминистра торговли? — осведомился я.

— Почти. Курьер в редакции «Вопросов познания».

— С детства мечтал стать шестеркой.

— В таком случае можешь считать, что тебе повезло.

Что я сказал на это? Не помню. Скорее всего ничего принципиального. Я думаю так, потому что уже на следующий день был зачислен штатным курьером в редакцию научно-популярного журнала «Вопросы познания» и, повстречав после первого трудового дня Колю Базина, сказал ему:

— Привет работникам прилавка от работников средств массовой информации!

Редакция журнала «Вопросы познания» располагалась в небольшом трехэтажном доме в пяти минутах ходьбы от метро «Пролетарская». Первый этаж здания занимала контора Госстраха, второй был жилым, а на третьем и помещалась сама редакция. В моей набитой штампами голове подобные учреждения рисовались как нечто среднее между гостиницей «Интурист» и Большим театром. Поэтому уже внешний вид дома на «Пролетарской» несколько озадачил меня.

Интерьер оказался еще скромнее и представился длинным обшарпанным коридором, застланным вытертой коврой дорожкой, куда выходили шесть или семь дверей, за которыми, очевидно, и решались все важнейшие вопросы познания.

Мое появление вызвало в редакции не меньший переполох, чем прибытие Марко Поло ко двору хана Хубилая. Последний, я думаю, рассматривал заезжего итальянца с меньшим любопытством, нежели сотрудники журнала, гурьбой высыпавшие в коридор, глазели на меня. Из кабинета, расположенного в самом конце коврой дорожки, вышел грузный пожилой мужчина в массивных роговых

очках и, бесцеремонно растолкав всех, сказал, уставя палец в мою грудь:

— Это наш новый курьер, товарищи. По протекции Аиды Борисовны.

Я тотчас догадался, что речь идет о маминой подруге Крапивинной и что благодаря ее стараниям я получил эту, судя по всему, весьма престижную должность. Грузный мужчина огляделся, как бы ожидая возражений, но возражений не последовало, напротив, все вдруг разом загалдели:

— О! Да, да! Аида Борисовна! Очень хорошо!

Таким образом, я понял, каким большим авторитетом пользовалась Аида Борисовна в «Вопросах познания» и какое важное место среди прочих занимал в журнале вопрос о назначении нового курьера.

— Мирошников, если не ошибаюсь? — обратился ко мне грузный.

— Да, — ответил я.

— А звать как?

— Иван.

По легкому трепету, всколыхнувшему воздух, стало ясно, что мое имя произвело на присутствующих сильное впечатление.

— Вот! — громко сказал грузный. — Прошу любить и жаловать. Меня зовут Олег Петрович Чашин. Я главный редактор этой организации и атаман сих сорвиголов. — Он с улыбкой обвел рукой сотрудников, которым, видимо, очень польстило сравнение Олега Петровича, и добавил: — Ну вот, знакомство состоялось. Прошу всех вернуться на свои места.

После этого работники журнала с некоторым сожалением на лицах разошлись по кабинетам, а меня поручили заботам сухопарого пожилого мужчины, заместителя главного редактора, как выяснилось. В своем кабинете Андрей Михайлович (так он представился) вручил мне анкету и чистый лист бумаги для автобиографии, а сам, усевшись за стол, извлек откуда-то снизу увесистый справочник и уткнулся в него носом.

Я присел за другой стол, у окна, и решил для начала написать автобиографию. Но дело у меня не пошло. В голове завертелась какая-то блажь, и я никак не мог сосредоточиться. Тут еще за окном заморосил мелкий, скучный дождь, и на подоконник прилетели два воробья. Они сидели, нахохлившись, спрятав клювики в намокших перьях, и по всему было видно, что настроение у них препаршивое. Я смотрел на воробьев через стекло и постепенно сообщился их грустью. Чтобы вконец не расстроиться, я отвернулся от окна.

Время шло, а дело у меня не двигалось. Я решил подойти к нему с другого конца и взялся было заполнять анкету, но ее простые и ясные вопросы, требующие, казалось бы, совсем небольшого напряжения ума, представились мне вдруг очень сложными и запутанными. Тогда я вернулся к автобиографии и неожиданно написал первую фразу:

«Я родился в провинции Лангедок в 1668-м году».

Немного подумав, я написал еще:

«Мой род, хотя ныне и обедневший, принадлежит к одним из самых славных и древних семейств королевства. Мой отец граф де Бриссак сражался в Голландии в полку г-на Лаваля и был ранен копьем при осаде Монферрата, на стенах которого он первым водрузил королевское знамя. До 17 лет я жил в родовом замке, где, благодаря заботам моей матушки баронессы де Монжу, был прилично воспитан и получил изрядное образование. Ныне, расставшись со своими дорогими родителями, дабы послужить отечеству на поле битвы, прошу зачислить меня в роту черных гвардейцев его величества».

Сочинив эту галиматью, я принялся за анкету и быстро заполнил ее соответственно своей красочной биографии. Перечитав потом все вместе, я не удержался и так громко рассмеялся, что привлек внимание Андрея Михайловича.

— Ты чего? — спросил он, прервав чтение. — Написал, что ли?

— Ага, — кивнул я в ответ.

— Ну-ка, дай посмотреть.

Андрей Михайлович взял мои документы и долго читал их, шевеля губами, как будто переводил с иностранного языка. Когда он отложил бумаги в сторону, выражение его физиономии ни капли не изменилось, отчего моя собственная улыбка показалась мне такой же глупой, как и вся затея с автобиографией. Андрей Михайлович ничего не сказал, за что я, помнится, был ему чрезвычайно признателен тогда. Он даже не вздохнул, не хмыкнул и вообще никак не выказал своего отношения к моим сочинениям. Достав из ящика стола чистые бланки, он передал их мне и вновь углубился в чтение справочника.

Я приступил к исполнению своих служебных обязанностей. Они были не слишком сложными. Я сортировал и разносил по отделам письма и рукописи, поступающие в редакцию, ездил с поручениями по городу, для чего мне был выдан единый проездной билет, а также выполнял некоторые личные просьбы сотрудников, как-то: бегал через дорогу в ларек за пивом и сигаретами и ходил в магазин, чтобы купить «вкусенького» к чаю.

Мои услуги пользовались весь журнал. Во всех отделах я был, что называется, нарасхват. С утра до вечера в редакции слышалось: «Иван!» «Где Иван?» «Вы не видели курьера? Если он появится, пускай немедленно зайдет к нам!» Я начал чувствовать себя незаменимым. Стал капризничать.

— Ваячка, ты не мог бы съездить на Кутузовский?

— А что там?

— Да вот, статья тут у нас... Мы автору поправки дали. Надо бы отвезти...

— А что он, сам заехать уже не может? Балуете вы их...

— Да он, понимаешь, пожилой уже... Академик опять же...

— А статья-то дельная?

— Статья дельная... Только там кой-какие фактические ошибки имеются.

— Что ж он так? Академик, а материал не проверяет, — ворчал я. — Ну, ладно, съезжу ближе к вечеру...

У меня появились пристрастия. Я, например, недолюбливал отдел «Научный вестник». Им заведовал сухой старичок по фамилии Емельянов. То ли от старости, то ли от вредности он никак не мог запомнить моего имени и величал меня не иначе, как «быстроногий Меркурий» или «хитроумный Гермес». Мне не нравилось ни первое, ни второе.

Зато я очень симпатизировал отделу информации. Всякую свободную минуту сидел там, пил чай, болтал о том, о сем. Заведовал отделом Степан Афанасьевич Макаров. Он был похож на бутылку шампанского, открытого в Новый год, — такой же шумный и веселый. Знакомясь со мной, Степан Афанасьевич сказал:

— Очень рад, старина...

Услышав слово «старина», я невольно улыбнулся.

— Чего смеешься? — спросил Степан Афанасьевич.



— Да так, — ответил я. — Вы сказали «старина»... Меня так отец называет.

— Все мы в чем-то отцы, — глубокомысленно проговорил Степан Афанасьевич.

— Это конечно, — согласился я. — Только он с нами уже давно не живет.

— Сочувствую, — сказал Степан Афанасьевич.

— Кому? — спросил я. — Ему или нам?

Степан Афанасьевич рассмеялся. Мы понравились друг другу.

Еще один сотрудник отдела — Зиночка Никитина. Она была лет на пять старше меня, миловидна и кокетлива. Прежде всего она оценивающе оглядела меня с ног до головы, потом представилась:

— Зинаида Павловна.

— Иван Пантелеймонович, — представился я в ответ.

Зиночка слегка удивилась.

— Это что же? — спросила она. — Неужели твоего отца зовут Пантелеймон?

— А что здесь такого? — сказал я.

Через неделю я, как и все в редакции, звал ее просто Зиночка, а она меня — Пантелеймоныч. Вообще-то имя моего отца Федор, но Зиночка этого так никогда и не узнала.

Однажды (я проработал уже месяца полтора) Макаров сказал мне:

— Вот тебе рукопись, Иван. Отвези ее профессору Кузнецову. Адрес на конверте.

И вручил мне большой пухлый конверт. Я прочитал адрес и отправился в путь.

Профессор жил на Тверском бульваре. В метро я доехал до Арбатской площади. Здесь мне надо было пересест на троллейбус. Мимоходом я бросил взгляд в сторону кинотеатра «Художественный». Реклама предлагала вниманию кинозрителей новый

приключенческий фильм. Я взглянул на часы — половина третьего. Поразмыслив недолго и придя в конце концов к заключению, что профессор не лишится Нобелевской премии, если получит свою рукопись на два часа позже, я купил билет и зашел в кинотеатр.

Фильм был довольно паршивый, но актриса мне очень понравилась. Такая женщина!.. Потом в троллейбусе я живо представил себе обстоятельства, при которых мог бы познакомиться с ней... Скорее всего это должно было бы произойти где-нибудь на улице. Она могла переехать меня собственным автомобилем или наступить на ногу в метро. И то и другое достаточно веский повод для знакомства...

Короче говоря, я проехал нужную остановку. Пока я возвращался назад, пока бродил по Тверскому в поисках профессорского дома, прошло не менее сорока минут, и только в шесть часов вечера я позвонил в дверь квартиры Кузнецова.

Мне открыли. Я увидел перед собой высокую девушку в джинсах и бежевом свитере. У нее были темные каштановые волосы и красивые карие глаза.

— Вам кого? — спросила она.

— Вас, — ответил я.

Девушка удивилась.

— Меня?

— Да. Я учился с вами в первом классе и с тех пор люблю вас.

— В первом классе я училась в Польше, — растерянно пролепетала девушка. — Папа работал там.

— А-а... Я был разочарован. — Значит, это не вы. Я первый класс закончил в Аргентине.

Девушка надула губы и хотела закрыть дверь.

— А вообще-то я к Семену Петровичу, — поспешно сказал я. — Привез ему рукопись из редакции.

Девушка подозрительно оглядела меня и мою папку, потом крикнула куда-то в глубину необъятной квартиры:

— Папа, папа, тут какой-то сумасшедший мальчик утверждает, что он привез тебе из редакции рукопись!

С минуту ответом ей была гробовая тишина. Потом мощный, густой бас донесся до нас, как будто из глубокого колодца.

— Зови этого проходимца ко мне. Я уже три часа его жду.

— Снимайте ботинки и идите, — сказала девушка.

— Я не прохожусь! — крикнул я.

— Нахал! — взревел бас.

— Носки тоже снимать? — спросил я девушку.

— Носки можете оставить.

— Дайте тапочки...

— Нате...

Я последовал за ней и очутился в большой комнате. За массивным письменным столом, заваленным книгами, бумагами, сидел дородный, средних лет мужчина в просторном красном халате, накинутом поверх спортивного костюма. Лицо у него было волевое и суровое. Я догадался, что это и есть сам профессор Кузнецов.

— Кто это? — сказал он, уставя на меня полный недоумения взгляд.

— Курьер, — ответил я.

— Именно что курьер. Не граф Люксембург, не герцог де Гиз, а курьер! — завопил профессор. — По вашей милости, господин курьер, я потерял три часа драгоценного времени!

— Вот ваша рукопись, — сказал я спокойно, вынимая из папки стопку скрепленных бумаг.

— Катя, — обратился профессор к девушке, — проводи молодого человека до дверей.

Я покачал головой.

— Спасибо, я не тороплюсь. Я, знаете, с удоволь-

ствием выпил бы чашку чая и слопал бутерброд с маслом и сыром.

При этих словах профессор чуть не задохнулся от возмущения. Он побагровел и так надулся, что казалось, сейчас полетит, как шар братьев Монгольфье. Каким-то чудом ему все же удалось остаться на земле.

— Я же говорила, что он сумасшедший, — сказала Катя, пожимая плечами.

— Что здесь сумасшедшего? — удивился я. — Я же не прошу у вас сто рублей взаймы. («И на том спасибо», — проворчал профессор). Человек голоден и просит стакан чая и кусок хлеба. Что здесь такого?

Мой вопрос явно поставил их в тупик.

— Да, вообще-то... — промямлила Катя и вопросительно взглянула на отца, который уже совсем собрался улететь ввысь.

— Проводи молодого человека на кухню, — сказал профессор, сдержавшись. — И дай ему стакан чая и бутерброд.

Мы с Катей пошли на кухню. Я сел за стол, накрытый клеенкой с видами столиц мира, а Катя зажгла плиту, наполнила чайник водой и поставила на огонь. После этого она села напротив меня. Мы посмотрели друг другу в глаза, и я улыбнулся, но у Кати лицо оставалось суровым.

— Чего уставилась? — спросил я.

— У тебя действительно не в порядке с мозгами или прикидываешься? — сказала она.

— Да нет, мозги у меня в норме.

— А впечатление такое, что они у тебя совсем не сработают...

Чайник вскипел и завизжал, как кошка, которой наступили на хвост. Катя сняла его с плиты, достала из шкафа маленький фарфоровый чайник, бросила в него две ложки чая и залила кипятком. Она вынула из холодильника масло, сыр и колбасу; поставила на стол хлеб и папку печенья.

— Лимона нет? — поинтересовался я.

Катя вздохнула и полезла в холодильник за лимоном.

Я сделал себе большой бутерброд с маслом и сыром, а сверху еще положил изрядный кусок колбасы. Налил чай в блюдце и долго дул на него, чтобы остыл.

— Тебе в детстве не говорили, что чавкать неприлично? — сказала Катя.

— Говорили.

— А зачем чавкаешь?

— Хочется...

Катя рассмеялась.

— А ты ничего... — сказал я.

— В смысле?

— Ну знаешь, так у тебя все в порядке... и фигура... Ноги там...

— Это — в маму. У нее тоже ноги длинные.

— Интересно было бы посмотреть.

— Она попозже будет.

— Знаешь, — сказал я, — у нас в школе учительница физики была... Такая симпатичная... Знаешь, такая фигура и грудь... В общем, интересная женщина.

— Ну и что? — Катя была заинтригована. Она открыла дверь и под села ко мне ближе.

— Да ничего. Один раз она нам фильм показывала... Понимаешь, такой учебный фильм про всякие физические явления. А я сидел один, на задней парте... Она села рядом и... В общем, света не было, а она рядом... Я так разволновался и потихоньку к ней придвинулся...

— А она? — спросила Катя шепотом.

— Она сидит, как будто ничего не происходит. Короче, я ее обнял потихоньку...

— А она?

Я сделал себе новый бутерброд и продолжал бес-
печно:

— Она ничего. Сидит — смотрит. Ну, потом, после
урока, она говорит: «Мирошников, — это моя фами-
лия, — зайди ко мне после уроков».

— А ты?

— Ну, я и зашел... Она была в лаборантской. Зна-
ешь, колбы там всякие и прочая дребедень... Она
меня увидела, и грудь у нее вздымается, как волны
на картине Айвазовского «Девятый вал». Я говорю:
«Надежда Ивановна, я без ума от вас...» А она: «Ми-
рошников, я — твоя...» И как бросится мне на шею!
Ты понимаешь?

— А ты не врешь?

Я увидел, какое уважение засветилось в Катиных
глазах.

— С какой стати я буду тебе врать?

— И что же потом было?

Я не предусмотрел возможности подобного воп-
роса и замялся.

— Да потом она в другую школу перешла, —
уклончиво ответил я. — В общем, как-то все на том
закончилось.

Катя мечтательно вздохнула.

— Да, — сказала она. — Я тоже была влюблена в
одного учителя. Он у нас в десятом классе литера-
туру и русский преподавал. Такой видный мужчина
был... с усами...

— Ну и как ты?

— Да никак. Я один раз ему письмо написала, но
он не ответил. Ты же понимаешь, я девушка, мне не-
удобно навязываться...

— Это конечно, — согласился я.

Мы замолчали. Мой рассказ явно произвел на
Катю неизгладимое впечатление.

— Ты вообще чем занимаешься? — спросил я.

— Учусь в МГУ, — ответила Катя. — На первом
курсе.

— Понятно, — сказал я. — Я тоже мог бы сейчас
учиться на первом курсе.

— И что же?

Я пожал плечами.

— Да не захотелось. Вступительные я сдал на «от-
лично», а потом забрал документы. Решил жизнен-
ного опыта подкопить, в армии послужить. А то все
лезут в эти институты, как кроты в норы...

— Ты молодец, — восхитилась Катя. — Мне тоже не
хотелось поступать. Но родители, их ведь не убе-
дишь.

— Родители есть родители.

Я встал.

— Что? Пойдешь? — сказала Катя.

— Да, пора. Я, наверное, завтра опять зайду к
вам. За рукописью.

— Заходи.

В прихожей я надел ботинки и куртку.

— С папой я, пожалуй, прощаться не буду, — ска-
зал я.

— Да, не стоит, — согласилась Катя. — Ты его не-
много вывел из себя.

Я вышел на улицу. Холодный осенний ветер ху-
лиганил здесь: срывал с прохожих шляпы, бился в
окна домов, завывал в подворотнях. Надвинув на го-
лову капюшон куртки, я зашагал к метро.

— Как дела? Что нового? — спросила меня мать во
время ужина.

— Наполеон Бонапарт родился в одна тысяча
семьсот шестьдесят девятом году на острове Кор-
сика, — ответил я.

Так как рот у меня был набит, то получилось не-

что невразумительное: «На-он бо-рт ди-у-сь в о-у-за-
ка».

Мама вполне удовлетворилась таким ответом.
Только сказала:

— Когда ты отучишься говорить с набитым ртом?
Как маленький, ей-богу!

После чая мы смотрели телевизор. Я плюхнулся
в кресло, а мама села рядом за стол с кипой кон-
трольных работ своих учеников. На кончик носа она
водрузила очки, так что поверх них могла изредка
бросать взгляд на телеэкран, и стала проверять тет-
радки. Иногда она зачитывала оттуда вслух наибо-
лее замечательные перлы. Как всегда, они исходили
от некого Степакова, двоечника, сидевшего второй
год в седьмом классе.

— Ох, этот Степаков, — сказала мать. — Послушай,
Вань: «...Крепостное крестьянство с негодованием
встретило сообщение о татаро-монгольском иге...»

Она засмеялась, но я относился к этому пресло-
вутому Степакову со скрытой симпатией и встал на
его защиту.

— А что здесь неверно, собственно?

— Ну, что ты прикидываешься! — удивилась мать. —
Да ты послушай... — Она еще раз процитировала Сте-
пакова.

— Ну и что? — спросил я. — По-твоему, крестьянст-
во должно было радоваться приходу хана Батыя?

— Да нет, — начала злиться мать. — Это же просто
безграмотно! Какое «сообщение»? Что за формули-
ровка!

— А что?! Прискакал гонец, собралось это, как
его... вече, сделали сообщение о нашествии татаро-
монгол, вече это не понравилось, и оно негодовало.
Такое могло быть?

— Ты все путаешь, — растерялась мать. — При чем
здесь вече, гонец?..

— А при том, что такие, как ты, придираются, а
люди потом страдают, — назидательно произнес я и
добавил: — И ты еще удивляешься, почему у меня
в аттестате пять троек. А вот я смотрю на тебя и не
удивляюсь!

Для матери мой аттестат был больным местом.
Она нахмурилась и поставила Степакову тройку.

Потом мы отправились спать. И, прежде чем ус-
нуть, я представил себя гладиатором. Окровавлен-
ным, в разбитых латах, смертельно уставшим, ибо
только что в отчаянной схватке одолел громадней-
шего льва. Стоя в центре залитой кровью арены, я
внимаю восторженному реву толпы. Лев валяется
неподалеку, Колизей неистовствует. Сам великий
Цезарь дарует мне свободу. Но даже это меня ма-
ло интересует сейчас. В шестом ряду — девушка в
бледно-розовой тоге, стянутой серебряным поясом
у груди. Она бросает мне цветы. Букет рассыпает-
ся в воздухе, и алые лепестки медленно опускаются
мне на плечи. Я узнаю гордую патрицианку. Это Ка-
тя. Каштановые волосы и карие глаза...

Первым, кого я встретил, когда на следующий
день пришел в редакцию, была Зиночка. Она сиде-
ла за своим столом, положив ногу на ногу, и краси-
ла губы. Они у нее красные, но Зиночка предпочи-
тала синий цвет. Она считала, что женщина с губами,
как у мертвеца, должна вызывать у мужчин особое
расположение.

— Ты что у Кузнецова вчера натворил, Пантелей-
моныч? — спросила она меня.

— А что такое? — поинтересовался я.

— Да вот, позвонил ни свет ни заря и просил при-
слать за рукописью кого-нибудь другого.

— А ты?

— Я сказала, что больше некому. А он и говорит:

«Очень жаль, что в столь уважаемом учреждении работают такие нахалы, как этот молодой человек».

— А ты?

— Я говорю: «Да он у нас погоды не делает. Он у нас — пойдй-подай». — Зиночка облизнула губы и взглянула на меня, явно рассчитывая произвести впечатление.

— Замечательно, — сказал я. — Прямо как у покойника.

Зиночка сморщилась, но не обиделась. Она никогда не обижалась.

— Так что же ты там наделал, Ваня?

— Да ничего. Его дочка втюрилась в меня по уши, вот он и опасается.

— Браво, Ваня. Ты, я вижу, свое дело знаешь, Кузнецов — сильный человек.

Я усмехнулся: дескать, красиво жить не запретишь, — и уселся в кресло-развалюху, стоявшее подле Зиновичного стола. Меня одолевала дремота. Я уже было клюнул носом, но тут появился Макаров. Вид у него был неважный. Лицо опухшее, глаза стеклянные. Он кивнул Зиночке и поздоровался со мной за руку. Потом сел за свой стол и тяжело вздохнул.

— Ты на Цветной съездил? — спросил он меня.

— Нет.

— А чего сидишь? Двигай на Цветной. Привезешь фотографии, а потом к Кузнецову за рукописью. Ее сегодня в набор сдавать. — Он опять вздохнул и ослабил узел галстука. — Что-то душно у нас. Нет? — Макаров вопросительно и печально посмотрел на Зиночку.

— Открой форточку, Иван, — сказала Зиночка. — Степану Афанасьевичу душно.

Я полез открывать форточку, но, вдруг потеряв равновесие, сорвался с подоконника и полетел на пол. Плечами я ударился о дверцу шкафа, стоявшего рядом с окном. Одна створка распахнулась, и на мою голову посыпались папки с бумагами, журналы, книги, справочники и в заключение увесистый дырокол, угодивший мне в самое темечко. Степан Афанасьевич при этом скривил лицо так, будто ему, а не мне попали дыроколом по голове. Он побледнел и как пуля вылетел из комнаты.

— Заставь дурака богу молиться — весь лоб расшибет, — сказала Зиночка.

Я ничего не ответил. Поднялся, отряхнулся и стал собирать бумаги и запихивать их обратно в шкаф.

— Клади по порядку, — сказала Зиночка.

Я сложил на правой руке фигу и молча показал ей. Минут через десять вернулся Макаров. Он посвежел и, видимо, чувствовал себя значительно лучше.

— Уф! — сказал он. — Ну, Иван! Ну, Иван!

— Открывать форточку? — спросил я.

— Да нет, и так полегчало. Не ушибся?

— А как вы думаете? Если дыроколом по башке? Это как — приятно?

— Дырокол? Кто же его туда засунул? Я его третью неделю ищу! Давай-ка сюда.

Я подал ему дырокол. Степан Афанасьевич повертел его в руках, хмыкнул.

— Да, — решил он. — Такой штукой по голове — это не шутка. Можно до крови разбить.

— Конечно, — согласился я. — Если бы он с большой высоты падал — наверняка до крови.

— А может, и не до крови, — сказала Зиночка.

— Как не до крови?! — возмущился Степан Афанасьевич. — Таким дыроколом убить можно.

— Вот это вряд ли, — засомневался я.

— Да ты подумай! Если им со всей силы и по башке! А? — Степан Афанасьевич замасхнулся рукой, изображая, как можно убить дыроколом.

— Дайте мне посмотреть, — попросила Зиночка.

Ей дали. Она оценивающе взвесила дырокол, показала головой и сказала: — Если со всей силы, то убьешь.

— Вот видишь, — проговорил удовлетворенно Степан Афанасьевич.

Тут зазвонил телефон. Макаров поднял трубку.

— Да?.. Здравствуйте, Олег Петрович!.. Шум? Да это у нас тут курьер новенький с окна свалился... И знаете, что любопытно, ему дырокол на голову упал... Нет, не такой, как у вас. У вас маленький, а это, знаете, такой тяжеленный дыроколыще... Нет, ни единой царапины... Ага, сейчас зайду... Ладушки. — Он положил трубку, забрал дырокол и направился к двери. — Шеф вызывает. Зина, дай-ка мне заодно характеристику Ованесова. Пускай подпишет.

Зина подала ему папку с бумагами. Степан Афанасьевич быстро просмотрел их, кивнул головой и обратился ко мне:

— Вань, двигай на Цветной. Адрес у Григорьева возьми, а потом, значит, к Кузнецову.

Дверь открыл высокая полная женщина с приятным лицом. Я догадался, что это Катина мама. Увидев меня, она загадочно улыбнулась. Вероятно, мое поведение вчера послужило предметом долгого обсуждения в семье Кузнецов.

— Проходите, проходите, — сказала она гостеприимно.

— Я только за рукописью, — стал отнекиваться я.

— Вы как раз вовремя. Мы обедаем, — продолжала женщина, не слушая меня.

— Спасибо, я сýt.

— Все равно я не отпущу вас, не накормив хорошенько, — засмеялась она.

Пришлось войти. Я разделся в прихожей, после чего меня повели на кухню. Здесь собралась вся семья. За столом сидели: сам Кузнецов, Катя и еще старуха в золотом пенсне — видимо, бабушка. Мое появление встретили весьма доброжелательно.

— Садись, — прогудел профессор.

Его жена поставила передо мной тарелку с супом и тоже села за стол.

— Маша, — обратился профессор к жене. — По этому случаю, я думаю, можно выпить вина.

Тут все уставились на меня, как на принца Уэльского.

— Сегодня праздник?! — прошамкала старуха.

— Сегодня, Агнесса Ивановна, — значительно заявил профессор, — вы имеете честь познакомиться с типичным представителем современной молодежи. Этакая смесь нигилизма с хамством.

— Сеня! — укоризненно покачала головой его жена.

— О-о! — пропела старуха и вонзилась в меня взглядом.

Я промолчал. Катя подмигнула мне и улыбнулась.

— Любопытнейший экземпляр! Любопытнейший! — продолжал профессор. — Кстати, как ваше имя?

— Иван, — ответил я.

— Это надо было узнать прежде всего, — сказала Катя.

— Очень хорошо, Иван, — проговорил профессор, — очень хорошо. Меня вы знаете, Катю тоже. Это моя мать Агнесса Ивановна, а это супруга Мария Викторовна.

Я встал и поклонился.

— Видите?! — торжествующе воскликнул профессор. — Все принимается в штыки. Из всего делается спектакль — шутство, возведенное в принцип. Нам ничего не надо, мы все сами знаем!

— Да что же ты на него набросился? — рассмеялась Мария Викторовна.

— Это принципиальный вопрос, Маша,— сурово сказал профессор.— Я, мы, наше поколение хочет знать, ради кого мы жили и боролись. В чьи руки попадет воздвигнутое нами здание?!

— А что вы, собственно, беспокоитесь? — поинтересовался я.

— Любопытно было бы узнать, молодой человек, те принципы, по которым вы намереваетесь существовать в обществе,— спросил, в свою очередь, Кузнецов.

— Да принципы самые несложные,— ответил я.— Секрета тут никакого нет. Хотелось бы иметь приличный оклад, машину, квартиру в центре города и дачу в его окрестностях, хотя бы небольшую. Желательно, чтобы все это появилось как можно скорее. Да, еще... Поменьше работать. Согласитесь, что работа не самое веселое занятие...

При этих словах профессор подскочил и зашагал по кухне, бросая на меня уничтожающие взгляды. Невозможно описать возмущение, охватившее его. Он долго не мог вымолвить ни слова. Остальных членов его семьи мое заявление тоже очень озадачило. Меня просто смех разбирал, когда я смотрел на их постные физиономии. Кажется, только на Катю вся эта сцена не произвела никакого впечатления. Наконец Кузнецов снова уселся за стол и, установив царственным движением руки супругу, норовившую вмешаться в разговор, сказал:

— Допустим! Допустим, что материальные блага необходимы, и в этом нет ничего предосудительного. Но все же надо заслужить их, то есть приложить какие-то усилия, и усилия немалые. Никто не подарит вам за красивые глаза ни машины, ни дачи. Нужно трудиться, работать, овладевать знаниями. Нужно не покладая рук создавать материальные и духовные ценности. Нужно развивать производство и двигать вперед науку. Падать от изнеможения и найти в себе силы встать после этого. Вот тогда красивый легковой автомобиль станет хорошим и заслуженным вознаграждением. Если... Если, разумеется, вы хотите получить его честным путем!

Последние слова он произнес тоном, исключающим всякие сомнения на мой счет. Я выждал небольшую паузу, дав возможность профессору сорвать аплодисменты бабки, совершенно обезумевшей от восхищения, после чего спокойно сказал:

— Какую мрачную картину вы нарисовали. Тогда уж лучше без машины... Лучше пешком ходить, чем падать от изнеможения.

— Вот! — победоносно завопил Кузнецов.— А иначе, мой юный друг, никак, никак, никак не получится!

— Почему же? — невинно спросил я.— А если жениться? К примеру, обольщу вашу дочь, женюсь на ней — и дело, можно сказать, в шляпе.

Катя прыснула, а ее домочадцы остолбенели. Кузнецов явно не ожидал такого оборота.

— У вас и связи имеются и денежки водятся! — Тут я подмигнул Марии Викторовне.— Не захотите же вы сделать несчастною жизнь единственной дочери. Прошли те мрачные времена, когда бесноватые феодалы выгоняли детей из дому. Найдете же вы возможность и в институт меня пристроить, и потом тепленькое местечко выхлопотать, и квартиру купите. Что вам стоит? Напишите лишнюю книжку — и готова жилищная! — Я сделал паузу, посмотрел прямо в глаза Агнесе Ивановне и рявкнул что было мочи: — А?! Агнесса Ивановна, а?!

Бедная старуха вздрогнула и открыла было рот, но так ничего и не сказала.

— Вон! — закричал профессор.— Зон!

— Сеня, Сеня! — бросилась к нему Мария Викторовна.— Успокойся!

— Безобразие! — наконец-то выговорила Агнесса Ивановна.

— Зачем вы так, Иван?! — сказала Мария Викторовна, пытаясь удержать мужа.

— А что вы сами к нему пристали? — вступилась за меня Катя.

— Во-он!

— Безобразие!

Тут началось подлинное безобразие. Профессор схватил меня за шиворот и стал выталкивать в прихожую. Я сопротивлялся, как мог, вцепившись в косяк дверей, но он, конечно, был здоровее, да еще эта Агнесса Ивановна все щипала меня за пальцы. Кончилось тем, что меня вышвырнули в прихожую, а оттуда я вылетел на лестничную клетку. За мной последовала моя куртка, и дверь захлопнулась. Я стал одеваться, прислушиваясь к крикам в квартире. Вдруг дверь опять открылась, но я уже сиганул по лестнице вниз, опасаясь душной расправы. Катин голос остановил меня.

— Вань, стой! — кричала она.

Я замер на первом этаже, готовый спастись бегством в случае подвоха. Появилась Катя. Она была растрепана, но глаза ее сияли. В руках она держала белый пакет.

— Вот здорово! — сказала Катя.

— Ничего хорошего не вижу, — сказал я.— Еще на работу сообщит...

— Не сообщит. Вот тебе рукопись.— Она протянула мне пакет. Я взял его, проверил содержимое и кивнул.— Куда ты сейчас? — спросила Катя.

— В редакцию.

— Знаешь что, дай мне свой телефон. Я позвоню тебе вечером — расскажу, как и что.

Я пожал плечами, как будто мне было все равно, и продирижировал номером.

— Ну, я побежала,— проговорила Катя.— Ой, что там делается! Потрясающе! — Она поднялась на несколько ступенек и обернулась ко мне.— А ты смешной,— сказала она.— Ты мне нравишься.

Мамы дома не было. На столе я нашел записку: «Ваня, я на родительском собрании. На плите — котлеты. Разогрей. Целую. Мама». Я пошел на кухню, посмотрел на котлеты, но есть не стал и вернулся в комнату. Зазвонил телефон.

— Позовите, пожалуйста, Ивана.

По голосу я узнал Катю.

— Это я, Катя. Привет.

— Привет.

— Ну, как дела?

— Все нормально.

— Чего там отец твой?

— Да ничего, в порядке. Покричал, конечно, немного, а потом успокоился. Мама сказала, что ты оригинал.

— Серьезно?

— Да, ты, как ни странно, ей очень понравился. Так что ты не волнуйся, на работу тебе отец не будет звонить.

— А чего мне волноваться? Я лицо не ответственное.

— Ага, ты скорее лицо безответственное,— засмеялась Катя.— Но все равно не хотелось, чтобы у тебя были неприятности.

— Спасибо. Ты что завтра делаешь? — спросил я.

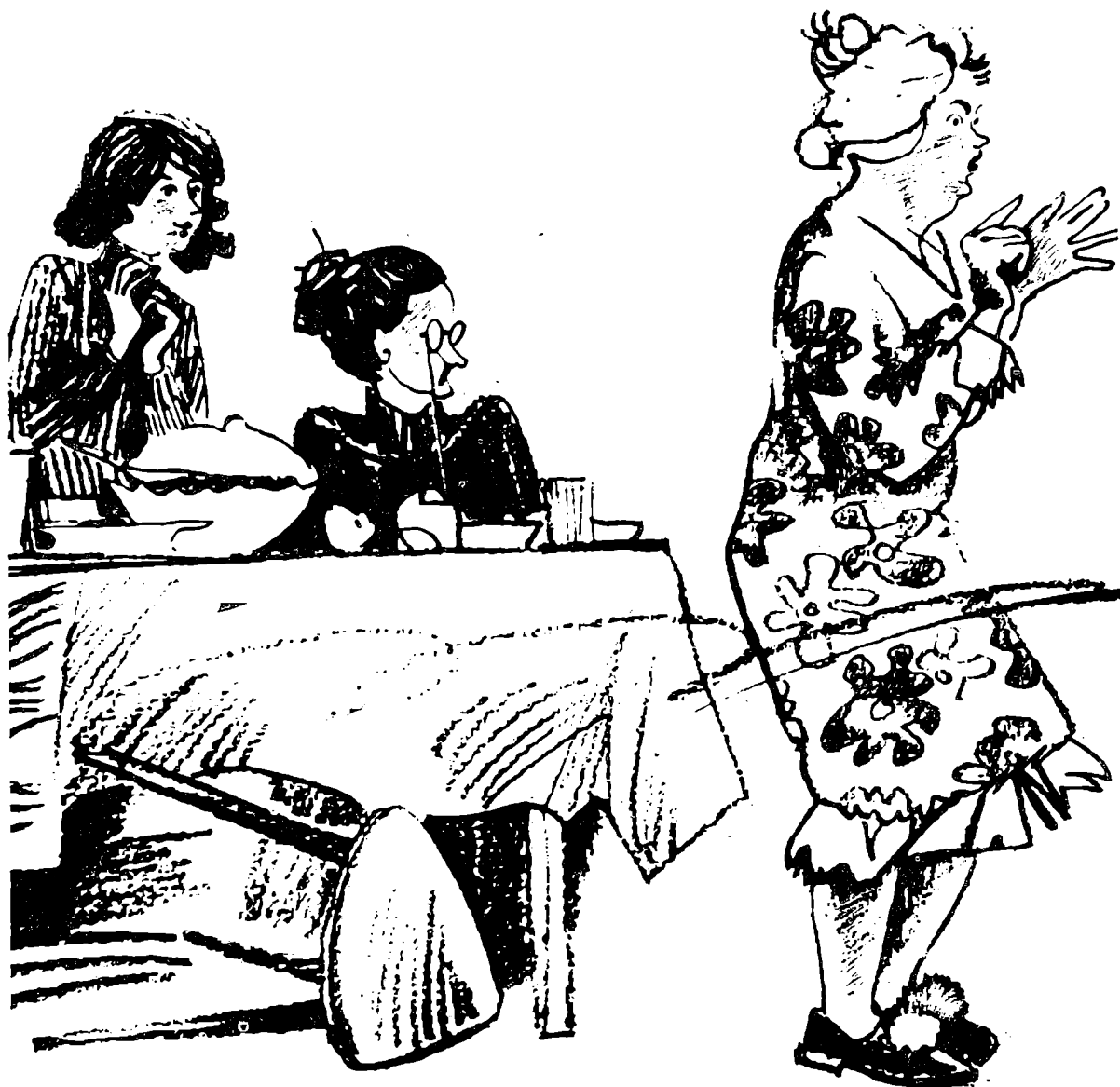
— Утром учусь, а вечером ничего вроде.

— Может, встретимся, сходим куда-нибудь?

— Давай. Во сколько?

— На Маяковской, у памятника. Подгребай часиком к семи. Устроит?

— Устроит.



Я повесил трубку. На улице уже совсем стемнело. Далекие и близкие огни заполнили черный проем окна. «Что-то матери долго нет», — подумал я. В голове опять заварилась какая-то каша. Вдруг стало грустно. Захотелось что-нибудь немедленно предпринять. Я достал из шкафа свой лучший костюм, сшитый по случаю выпускного вечера, и белую рубашку. Одевшись, включил магнитофон и подошел к зеркалу. Левую руку я поднес ко рту, как будто в ней был микрофон, правой поддерживал воображаемый шнур. Поймав ритм мелодии, я стал покачиваться, беззвучно раскрывая рот. Стены комнаты расплзлись, пол провалился куда-то, и, выброшенный на сцену огромного концертного зала, я под рев многотысячных зрителей исполнил самую популярную песенку года. Исполнил под восторженный свист покоренного зала, чувствуя, как тысячи глаз размылись слезами безумного обожания. И я, заключенный в перекрестке софитов, тор-

жествовал победу над этой иступленной вакханалией...

Звонок в дверь прозвучал, будто выстрел в спину. Словно застигнутый на месте преступления, я бросился к магнитофону, выключил его, и тишина обрушилась на голову, как поток холодной воды. Вздрыгивая, я открыл дверь и увидел соседа Никифорова с ребенком на руках, которого, судя по всему, только разбудили; он тер глаза ручонками, довольно бессмысленно озираясь по сторонам.

— Здравствуйте, — сказал я.

— Посмотри на ребенка, — сурово потребовал Никифоров.

— А в чем дело? — полюбопытствовал я, внимательно осмотрев малыша.

— Ничего не замечаешь? — спросил Никифоров. Я вторично осмотрел дитя и, не найдя никаких особенных изъянов, покачал головой.

— Да вроде все в порядке.



— Та-ак! — сказал Никифоров и, встряхнув ребенка, забормотал: — Ничего, пусик, ничего... Та-ак, — повторил он снова, обращаясь ко мне. — А головка дергается — это тоже порядок?! Да? Ребенок от твоей музыки, можно сказать, ненормальный растет! Это как, порядок?

— Да что ты ему объясняешь, бесстыднику? — закричала жена Никифорова, выбежав на лестничную площадку и вырывая из рук мужа ребенка. — Ничего, пусик, — заговорила она, раскачивая его на руках, — мы найдем на него управу! Мы его в милицию!.. Мы его!..

Малыш, видимо, растроганный всеобщим вниманием, действительно заплакал.

— Вот! — воскликнул Никифоров. — Во-от! Видишь, до чего довел ребенка! Ишь, моду взял — на полную катушку магник заряжает! Что из него теперь вырастет, когда он с ранних лет оглушенный растет?

— Должно быть, ничего хорошего, — согласился я.

— Как это? — удивился Никифоров.

— Так ведь головка дергается, — пояснил я и для наглядности сам задержал головой. Заметив это, юный Никифоров вдруг перестал плакать и с интересом воззрился на меня.

— Издевается, — убежденно сказала его мамаша.

— Самый умный, — решил ее супруг.

— Гу-гу! — закричал их сын, смеясь и хлопая в ладоши.

С трудом переставляя израненные, стертые ноги, я шел вверх. Пот тонкими струйками стекал из-под шлема на лицо, разъедал глаза и щипал опаленную солнцем, искусанную комарами, расцарапанную кожу. За спиной я слышал тяжелое дыхание своего страда. А впереди была вершина, до которой оставалось не более ста шагов. Я остановился, и отряд в тот же миг застыл на месте. Вглядываясь в оброс-

шие, худые лица солдат, я с трудом узнавал их. Диего, Хуан, Родриго... Они смотрят в мои глаза, надеясь найти в них избавление от всех несчастий, постигших нас в этом походе. Еще сто шагов... Я пройду их один. Сам. Обратив лицо к вершине, я отбрасываю шлем в сторону и обнажаю меч, будто иду в бой. Я поднимаюсь, чувствуя, как эта кучка больных и грязных людей, более похожих на нищих, нежели на солдат, пристально следит за каждым моим движением. Я иду к вершине. И в тот момент, когда я ступаю на нее, до меня доносится далекий, но неумолкающий шум прибоя. Я ощущаю запах морской волны, дуновение свежего бриза. Я вижу бескрайнюю голубую гладь, сверкающую под солнцем. Это океан. И, воздев меч к небу, я кричу так громко, как только могу. Кричу, чтобы слышали солдаты и индейцы, конкистадоры и миссионеры, ученые и мореплаватели, короли и королевства, все мужчины и все женщины. Кричу о том, что я, первый из всех, увидел этот Великий Неведомый Океан. И пока солдаты в безумном восторге спешат ко мне, я его единственный и полноправный владелец. Я — Васко Нуньес де Бальбоа.

Сон сковал глаза. Уступая ему, я простился с человеком, пронзающим небо серебряным клинком своего меча.

Каким же был этот миг? И был ли вообще?

Шел пятый час, и я, памятуя о свидании с Катей, хотел, по образному выражению Зиночки, «отчалить из гавани». Степан Афанасьевич протянул мне большой конверт.

— Вот, брось пакет в почтовый ящик — и свободен, — сказал он.

— Что это?

— Фантастический рассказ. Плохой. Печатать не будем. Еще вопросы?

— Все ясно, как в морге, — сказал я.

— Слыхали выраженьице? — проговорила Зиночка.

Макаров усмехнулся.

— Действуй.

Я взглянул на адрес на конверте. Тверская-Ямская. «Это мне по дороге. Заеду, брошу в ящик. Время есть», — решил я.

Однако почтового ящика в подъезде дома на Тверской-Ямской не оказалось. Мне пришлось пешком подняться на пятый этаж (лифт в доме не работал), и там я долго звонил в буро-коричневую дверь квартиры № 46, где проживал автор фантастического рассказа. Наконец мне открыли. Я увидел худощавого мужчину в пижаме и тапочках на босу ногу. Лицо его, смуглое, широкоскулое — нос с горбинкой, глаза голубые, — имело выражение недовольства, какое бывает у людей, чей сон бесцеремонно потревожили. Мужчина окинул меня подозрительным взглядом и спросил:

— В чем дело?

— Мне товарища Воробьева, — сказал я.

— Я Воробьев Сергей Степанович, — ответил мужчина.

— Я вам рукопись привез. — Я протянул ему конверт.

Воробьев посмотрел на него, но в руки не взял и, посторонившись, пригласил меня зайти. Сам двинулся вперед, бормоча под нос:

— Соседи-дьяволы открыты не могут. Знают ведь, подлецы, что я в ночь работаю...

Мы зашли в небольшую, почти пустую комнату. В центре ее стоял стол, в углу тахта с разобранной постелью, рядом с ней холодильник. Сергей Степанович предложил мне сесть, а сам вскрыл конверт,

быстро пробежал глазами письмо от редакции. Некоторое время он в раздумье прохаживался по комнате, потом взял со стола рукопись, которую перед тем положил туда, и сунул ее мне под нос.

— А ты сам читал это? — спросил он с вызовом.

— Нет, не читал, — ответил я.

— Как? Ты не читал? — искренне удивился Воробьев.

— Не читал, — повторил я.

Сергей Степанович с досадой бросил рукопись на стол и сказал:

— Это очень хороший рассказ.

— Не знаю, — пожал я плечами.

— Ты не знаешь, а я знаю! — вскипел Сергей Степанович. — И говорю тебе, что рассказ просто замечательный.

— Ну, может быть, он и замечательный, но печатать его у нас не будут, — сказал я.

— Это потому, что у вас в редакции работают некомпетентные люди, — важно произнес Сергей Степанович и добавил: — И ты тоже некомпетентный человек. Поначалу ты произвел на меня неплохое впечатление, но теперь я вижу ясно, что ты абсолютно некомпетентен.

— Тогда я лучше пойду, — сказал я, чутьем угадав, что здесь можно застрять надолго, и рассчитывая воспользоваться удобным предлогом, чтобы поскорей улизнуть.

— Нет, подожди, — остановил меня Сергей Степанович. — Ты что же, обиделся, что ли? Ты это брось. Я пошутил. Давай-ка я лучше тебе расскажу про этот рассказ. Давай?

— Да нет, мне идти надо.

— Ну, полчаса, а? Я тебя прошу.

Его глаза сделались такими печальными, что мое чувствительное сердце дрогнуло и я вернулся за стол. Тогда Сергей Степанович начал суетиться. Достал из холодильника бутылку вина, поставил на стол рюмки и закуски.

— Хлопнем по одной? — предложил он.

— На работе не пью.

— Чуть-чуть?..

Мы хлопнули чуть-чуть, по рюмке. Сергей Степанович захрумкал огурцом, потом, откинувшись на спинку стула, сказал:

— Ты вот не знаешь, про что рассказ, а я тебе сейчас скажу. — Он сделал интригующую паузу, завел глаза к потолку, вернул их на место и продолжал: — Там, понимаешь, такая история, что на земле наступает новый ледниковый период. Слышал, наверное, было у нас однажды такое дело?

— Слышал, — сказал я.

— Так вот... Наступает этот самый период, и такой холод начинается... Ну, просто собачий!.. Понятно?

— Понятно.

— И это, в общем, катастрофа... Потому что холодно... Просто очень холодно. И никто не знает, что делать. Конечно, предлагаются разные проекты спасения: выдать населению по цистерне водки, запустить искусственное солнце, с помощью мощных ракет перевести Землю на другую орбиту и так далее. ООН заседает круглосуточно, рассматривает все проекты и отвергает их один за другим. Вдруг неизвестно откуда появляется некий старикашка, посылает книгу, изданную пятьдесят лет назад, и говорит: так, мол, и так, вот в этой книге я полвека назад предсказал это ужасное похолодание. Все, конечно, хватаются за голову: дескать, как же мы раньше эту книжонку не читали? — и в признание старикашкиных заслуг решают выдать ему Нобелевскую премию. Старикашка, разумеется, очень доволен и уже прикидывает в голове подарки, кото-

рые он купит внукам, как вдруг встает один делегат и говорит: «Этому старикану не то что премию давать, ему башку оторвать мало за его предсказание. Это он накаркал нам ледниковый период. Он во всем виноват!» Тут общественное мнение круто изменяется, и всеобщим голосованием постановляется оторвать старикану голову... И оторвали...— Сергей Степанович задумался, почесал ладонью лоб и сказал:— Рассказ в общем-то действительно дерьмовый...

— А я что вам говорил? — обрадовался я.

Воробьев строго взглянул на меня.

— Напечатать-то его все равно могли. Не подходит им, видите ли... А я, между прочим, три дня на него ухлопал!

— Да вы зря переживаете,— стал я его успокаивать.— Если бы рассказ был хороший, тогда, конечно, обидно... А если дерьмовый — так наплевать на него!

— Да, конечно,— согласился Сергей Степанович.— Мне просто деньги очень нужны. Вот я и решил рассказ написать. Сперва я хотел какую-нибудь научную статью набросать — это мне ближе. Но потом узнал, что за художественную прозу платят больше.— Он вздохнул, налил себе еще рюмку, но не выпил и продолжал: — Ты только не подумай, пожалуйста, что я рвач или халуга. Здесь совсем не то. Я в такси работаю, зарабатываю достаточно — на жизнь хватает...

Он сделал паузу, а потом вдруг, резко наклонившись над столом, приблизил свое лицо ко мне, будто хотел сообщить нечто таинственное. Но в это мгновение дверь в комнату отворилась и в проеме показалась взлохмаченная голова мужчины. Сергей Степанович, отпрянув от меня, столь сурово посмотрел на голову, что любое более ранимое существо непременно смутилось бы под взглядом его прищуренных глаз. Однако голова, видимо, не отличавшаяся особой сентиментальностью, ничуть не растерялась и дружелюбно проговорила:

— Серега, одолжи трояк до субботы.

— Вон! Пошел вон! — закричал Сергей Степанович.— Я же тебя предупреждал по-хорошему!.. Убирайся! Вон!

Голова выслушала эти гневные слова с невозможностью индейского вождя и, когда Сергей Степанович замолчал, чтобы перевести дух, обратилась ко мне:

— Молодой человек, три рубля не одолжите?

Сергей Степанович пулей метнулся к двери с явным намерением причинить голове физический ущерб. Но ее обладатель оказался проворней и захлопнул дверь перед самым его носом.

— Видал, каков? — с негодованием произнес Сергей Степанович.

— Это кто ж такой? — поинтересовался я.

— Синицын, сосед,— сказал Сергей Степанович, возвращаясь на место.— За стенкой живет. Такой, понимаешь ли, подлец. Жокеем на ипподроме работает... То есть говорит, что жокеем, а по-моему, врет. По-моему, просто тунейдец!..

Он с досадой махнул рукой, как бы желая отделаться от неприятного воспоминания, но шорох за дверью заставил его вновь насторожиться.

— Ну, хватит!.. — Стукнул ладонью по столу Сергей Степанович и стремительно выбежал из комнаты.

Я подошел к окну. Тучи сплошной серой массой висели над городом. Казалось, их можно достать рукой с крыши наиболее высоких домов. Улица внизу была малооживленной и ничем не привлекала внимания. Я взглянул на часы: шесть. Как-то незаметно я просидел здесь почти полтора часа. В семь у меня свидание с Катей. Домой я уже никак не ус-

певал — надо улучшить минуту и позвонить матери, сказать, что задержусь.

— Да, да, это очень интересный дом. Вернее, не дом, а одна квартира, окна которой прямо напротив нас.

Задумавшись, я не заметил, как вернулся Сергей Степанович и встал рядом. Его голос прозвучал слишком внезапно, и я не уловил смысла произнесенной фразы. Сергей Степанович как будто понял это и повторил:

— Я говорю, что окна напротив представляют очень интересный объект для наблюдения.

Его лицо и интонация в голосе как-то неуловимо переменялись. Однако мне почудилось в них что-то знакомое, и тогда я вспомнил ту таинственность, с какой он приблизился ко мне за столом. Я внимательно посмотрел на серый пятиэтажный дом на противоположной стороне улицы. Окно, о котором говорил Сергей Степанович, принадлежало последнему этажу и действительно помещалось прямо напротив того, у которого стояли мы. Ничего примечательного ни в доме, ни в этом окне мне не показалось.

Я с удивлением взглянул на Воробьева. На лице его появилось радостно-глупое выражение, какое бывает у людей, загадывающих загадки.

— Теперь ты понимаешь, для чего мне нужны деньги? — спросил Сергей Степанович, заранее упираясь своим ответом.

— Нет,— сделал я ему приятное.

— Вот! — Сергей Степанович многозначительно поднял палец и пригласил меня вернуться к столу.

— Не знаешь,— с удовольствием повторил он, когда мы присели, и продолжал: — Мне нужна хорошая подозрительная труба.

— За окном следить, что ли? — догадался я.

Сергей Степанович утвердительно кивнул головой, и лицо его расплылось в радостной улыбке.

— Это неприлично,— сказал я.

— Здесь совсем другое дело. Здесь наука и, возможно... Я бы сказал даже, очень и очень возможно, великое, историческое открытие.— Он придвинулся ко мне и понизил голос.— Слишком рано, конечно, делать какие-либо выводы. Но я убежден, что дознался до такого, что никому и не снилось. Я открываю тебе это не потому, что на меня пресизвели впечатление твои умственные способности. Ты не обижайся, но, судя по всему, они довольно посредственные. Однако ты молод, и я углядел в твоём характере черты, полезные для моих исследований. Мне нужен посторонний взгляд на объект, за которым я наблюдаю, потому что иногда мне уже мерещится, будто все, что я вижу каждую ночь из этого окна, просто плод моей богатой фантазии. Ты кажешься мне самым подходящим человеком для этого. Не могу же я в самом деле доверить такое важное открытие этому проходившему Синицыну. Подумай хорошенько, прежде чем согласишься, и, если решишься, приходи ко мне в двенадцать часов ночи.

Сергей Степанович замолчал и уставился на меня своими круглыми ржаво-серыми глазами. Я долго не находил, что сказать. Так мы молча смотрели друг на друга, и вдруг меня осенила мысль.

— А как же труба? — спросил я не без провокации.— Ведь подозрительной трубы у вас нет.

— Трубы нет,— не моргнув глазом, ответил Воробьев.— И наплевать, что нет. И без нее все видно.

Я вышел на улицу в том состоянии, какое в старых романах называлось «полным сматением чувств». Я, разумеется, сразу определил Сергея Степанови-

ча как сумасшедшего, но все же не мог отделаться от беспокойства, которое он заронил во мне своей таинственной историей. Однако часы показали половину седьмого, и я поспешил к площади Маяковского, на время забыв разговор с Сергеем Степановичем.

Остановившись между колонн Зала Чайковского, я принялся высматривать среди прохожих Катю. Мне пришлось подождать минут пятнадцать, и наконец я увидел ее. На Кате был просторный блестящий плащ, скрывающий все, кроме черных сапог на высоких серебряных каблуках. Выглядела она в этом наряде очень экстравагантно. Спрятавшись за колонной, я наблюдал, как, неприступно вскинув голову, она идет по улице, словно не замечая многочисленных взглядов, бросаемых ей вслед.

— Привет,— сказал я, прекращая ее победоносное шествие.

— Привет,— произнесла Катя надменно, видимо, еще не выйдя из роли демонической женщины.

— Ты сегодня ничего,— сказал я, ухмыляясь.

— Мерси.— Катя небрежно откинула прядь волос, упавшую на лоб.

— Может, поцелуемся?— предложил я.

— С какой это стати?— фыркнула Катя.

— Ну так... Что ты, развалишься?

Катя задумалась.

— Развалиться, конечно, не развалюсь,— согласилась она.— Но целоваться с тобой не буду. У меня другие принципы.

— А у меня, по-твоему, принципов нет? Да?

— Не знаю,— сказала Катя.— Ладно, ты зачем меня на свидание пригласил? Чтобы что делать?

— Чтобы поцеловаться,— сказал я.

Катя развернулась на сто восемьдесят градусов и пошла прочь.

— Чего ты обиделась?— заканючил я, нагоняя ее.— Что, пошутить нельзя?

Катя остановилась.

— Шутки у тебя дурацкие,— сурово сказала она. Я изобразил на лице чистосердечное раскаяние и виновато потупил голову. Катя смягчилась.

— Ладно,— проговорила она примирительно.— Какие у нас все же планы?

— Сходим куда-нибудь, в кафе или кино,— предложил я.

— Знаешь, у одной моей знакомой девочки сегодня день рождения. Если хочешь, можем к ней пойти. Согласен?

Именинница жила в большом четырнадцатизатжном доме на Юго-Западе. Когда мы туда пришли, празднество было в самом разгаре. Это стало ясно уже в подъезде, где я услышал незабываемый голос Адриано Челентано. Хозяйка лично открыла дверь и пригласила нас войти. Она была сногсшибательно одета и страшна, как черт.

— Вы очаровательны,— сказал я, вручая ей цветы.— Поздравляю.

Она сделала легкий реверанс и представилась:

— Наташа. Очень рада.

В гостиной за низким столом, украшенным грудой бутылок с иностранными этикетками, сидели, развалившись в мягких креслах, человек восемь молодых людей и девиц. Гремела музыка. Под потолком стоял дымок импортных сигарет.

Наташины родители работали и жили, как выяснилось, в Греции. Ко дню рождения дочери они прислали открытку с видом Акрополя и стереомагнитофон фирмы «Акай». Он и наяривал теперь во всю мощь десятиваттных колонок. Девочки пустили по рукам парижские журналы мод, которых у Наташи бы-

ло видимо-невидимо. С надутыми губками они листали красочные страницы. Журналы им явно не нравились. Они откровенно говорили об этом друг другу.

— Ну что это за платье,— сказала довольно смазливая блондинка, тыча пальцем в журнал.— Просто идиотство!

— Самое интересное, что в Париже так никто не одевается,— заявила сидевшая напротив нее брюнетка.

— А вы бывали в Париже?— поинтересовался я.

Девочки с изумлением уставились на меня, а брюнетка сказала с легкой улыбкой на ярких губах:

— Я все лето провела в Лондоне.

— Ну, а в Париже-то были?— настаивал я.

Брюнетка раздраженно передернула плечами.

— В Париже не была.

— Ах, Людка, бедная,— обнял ее за плечи и потащил к себе широкоплечий парень,— не была она в Париже!

— Отстань, Игорь,— рассердилась Люда.

— Не трожь!— грозно закричал другой парень.— Убью!

— Ой-ей-ей,— запричитал Игорь, делая вид, что ему страшно. Потом вдруг, живо вскочив с дивана, встал посреди комнаты, широко расставив полусогнутые ноги. Другой немедленно очутился напротив него и заорал:

— Йока! — И звезданул ногой в лицо сопернику. Впрочем, его черный блестящий сапог, не долетев сантиметров пяти до носа Игоря, благополучно вернулся на место.

— Ки-а! — крикнул в ответ Игорь, и его правая нога взметнулась в воздух, грозя ребрам партнера.

— Хватит вам, каратисты,— вяло сказала Наташа.— Сейчас всю мебель побьете.

Каратисты чинно поклонились друг другу и сели на свои места. Они пустились в рассуждения о секретах каратэ. Остальная мужская часть общества приняла живое участие в их беседе.

— Они что, все каратисты? — шепотом спросил я у Кати.

— Угу,— кивнула она.— Игорь шесть лет в самой Японии занимался. Еще когда с родителями там жил.

В Катином голосе прозвучали восхищенные нотки. Мне стало обидно и завидно. Этот Игорь явно чувствовал себя героем вечера: много говорил и громко смеялся, был развязен, легкомыслен и великодушен. Меня просто зло брало, когда я смотрел на его самодовольную физиономию. Тем временем мне пододвинули полный бокал вина, и Игорь предложил тост:

— За Наташку!

Все закричали, захлопали в ладоши и выпили за Наташку. Я тоже выпил. Залпом. До дна. И захмелел. Тепло пробежало вдоль позвоночника, проникло в кровь и разлилось по всему телу.

— Где ты учишься, Иван? — обратилась ко мне Наташа.

— Нигде, я работаю,— ответил я.

Наташино лицо от удивления вытянулось.

— Что, уже закончил? — неуверенно спросила она.

— Да нет, не закончил.— Я краем глаза взглянул на Катю и, придавив на всякий случай ее ногу под столом, громко сказал: — Я на заводе работаю, слесарем.

Мое заявление имело некоторый успех. Девочки заинтересовались мной особой, и, хотя Игорь еще продолжал удерживать мужскую аудиторию, я заметил, что и там произошло легкое движение.

— Собираешься поступать? — с участием спросила Наташа.

— Куда ж мне поступать с такой анкетой,— простодушно сказал я.

— А-а...— Наташа запнулась и беспомощно взглянула на Катю. Та с невозмутимым видом потягивала вино.

— Я же сидел,— сказал я как можно беспечнее.— Пять лет оттрубил... в зоне.

В комнате воцарилась пауза. Игорь еще пытался как-то заполнить ее демонстрацией очередного сверхбуйного приема, но, уразумев, что его уже никто не слушает, затих сам собой. Я спокойно взял нетронутую бутылку виски и, легонько взвесив в руке, спросил у Наташи:

— Покрепче ничего нет?

— Что? — растерялась Наташа.

— Спирта, говорю, нет?

Наташа виновато развела руками и промямлила:

— Нет... спирта нет...

Я сокрушенно вздохнул и, налив себе полный бокал, вопросительно взглянул на ребят. Они заволаговались и стали поспешно пододвигать мне свою посуду, куда я щедро, до края бухал виски. Наливая Игорю, я не удержался от провокационного вопроса:

— Полную?

— Разумеется,— ответил он, занервничав, и пробасил:— Я в общем-то тоже спирт предпочитаю...

— Какой?— спросил я с подозрением.

— Что какой?— смутился Игорь.

— Спирт какой предпочитаете?

— Спирт?..— Игорь заерзал в кресле.— Медицинский, девяностошестипроцентный... — Он запнулся и добавил отчаянно:— Неразбавленный!..

— Понятно.— Я сделал многозначительную паузу, после чего задумчиво проговорил:— Да, медицинский — еще куда ни шло. Хотя по мне ничего нет лучше обычного древесного спирта...

— Разве его можно пить?— робко спросила Люда.

— Это уж кому как,— усмехнулся я ее наивности.

После этого акции Игоря начали стремительно падать. Девочки смотрели на меня глазами, полными беспокойства и тайного восторга. Присутствие в компании отпетого уголовника внесло в заурядный вечер элемент мрачной романтики. В комнате, кажется, запахло дымом таежных костров, дальними дорогами, забытыми богом полустанками. За всем этим вставала другая жизнь. Она казалась большой и серьезной. Там неумолимо и упорно прокладывали дороги. Там женщины страдали от несчастной любви и мужчины ненавидели неверных женщин. Там смеялись и плакали, совершали преступления и героически жертвовали собой. Там была жизнь, пугающая и влекущая своей непридуманной правдой.

Там была неизвестность, тайна, легенда, чудо. Там в тихих утренних озерах блеснет вдруг серебряным боком рыбина и исчезнет в глубине, так что никогда и не узнаешь, видел ли наяву этот блеск или он только почудился. И в глухих чащах леса хрустнет ветка — и зажжется желтый немигающий глаз волка. И сердце дрогнет и замрет от сладкого ужаса. И в пустыне разразится песчаная буря. И ты погибнешь, занесенный горячим, сухим песком. И в горах сорвешься с ледника и полетишь в пропасть, отсчитывая последние доли секунды своей жизни. И перед тем как погрузиться в ночь, еще увидишь ослепляющий блеск снегов и розовые в закатном солнце вершины гор. И в штормовом океане обратишь свое лицо к затянутому облаками небу, сквозь которые сверкнет, может быть, последний в твоей жизни солнечный луч. И тело мягко и легко опустится и ляжет между сгнивших корпусов затонувших кораблей...

В одно мгновение коснувшись неизведанного, наш вечер тронулся дальше по уже проторенной дорожке. Загорелись свечи в тяжелых подсвечниках, и мир сжался до размеров плеч девушки, которую обнял в медленном танце.

«Добрый вечер, синьорина, добрый вечер...» — пел Челентано, и вечер казался добрым и вечным. Все было прекрасно в нем: сиреневый блеск бокалов и капли белого вина на их хрустальных стенках, бледно-розовый свет одинокого торшера и кисть Катиной руки, устало повисшая в воздухе, раскрытый журнал, упавший на ковер, и рыжий кот, притаившийся в подушках дивана. Лица собеседников оплыли, как подогретый воск. Их черты стали теплыми и мягкими, а голоса звучали шорохом осенних листьев, в котором нельзя было уловить никакого смысла. Дым от сигарет, собравшись в белесое облако, обернулся полярным медведем. Медведь спал, обнимая толстыми лапами люстру. Его длинный розовый язык вывалился из полураскрытой пасти и повис в воздухе над нашими головами. Я поднял руку, чтобы дотронуться до него.

— Не надо,— тихо сказала Катя.

— Что? — не понял я.

— Не трогай его.— Она посмотрела на медведя.— Пускай спит.

Той ночью мне было очень плохо. Проклятое виски нанесло чувствительный урон. Домой я пришел поздно, но мама, конечно, не спала. Не сказав ни слова упрека, она помогла мне раздеться и уложила спать. Сперва я, кажется, действительно заснул, но ненадолго. Меня мучило. Кое-как добравшись до окна, я открыл его настежь и, по пояс высунувшись наружу, стал жадно вдыхать холодный воздух. Опять пришла мама и, вернув меня в постель, присела рядом. Она приложила ладонь к моему лбу, и постепенно я забился в дремучем полусне.

Мне приснился золотой дракон с голубыми глазами. Сосед Никифоров в черном смокинге, без головного убора и даже без головы. Трамвай, в котором я ехал по незнакомому городу. А в трамвае сидели четыре женщины в римских тогах. На коленях они держали позолоченные клетки. В клетках сидели рыжие коты. Женщины и коты с любопытством наблюдали за мной. Вагоновожатый все время выбегал из своей кабины и кричал страшным голосом: «Я же просил вас не мяукать!» — хотя никто и не мяукал. В растерянности от таких беспочвенных обвинений рыжие коты только лапами разводили, а римлянки молча выбрасывали клетку в окно. Но стоило вагоновожатому исчезнуть, как клетка снова появлялась у них на коленях. Так продолжалось до тех пор, пока не пришел профессор Кузнецов. Он сказал: «Прошу встать. Идет директор главка». Но это было уже не в трамвае, а в нашей редакции. Там ко мне подошел Макаров, снял с головы шляпу с кроликом и велел: «Двигай к Кузнецову, герцог». А я сказал: «Да вот же он!» — и показал на профессора. Но Макаров смотреть не стал и сказал мне: «Это не он, это тень от дверной ручки». Я тотчас поверил этому и взялся за профессора, как за ручку, и дверь действительно открылась, и я очутился на лестничной клетке. В руках у меня было мусорное ведро, а в нем старые ботинки и кусок шведского мыла. Почему шведского, не знаю, на нем написано не было. Я направлялся к мусоропроводу, но вдруг меня как будто что-то стукнуло в спину. Я обернулся и увидел Воробьева. Он приоткрыл дверь соседней квартиры и, улыбаясь, смотрел на меня через узкую щель. Из головы у него росла ветка сирени, а изо рта торчали огромные желтые клыки. Он подмигнул

мне и захлопнул дверь. Но дверь оказалась хрустальной и с мелодичным звоном рассыпалась на куски. За нею открылся бронзовый бюст моего отца. Он спросил меня: «Как дела, старина?» Я ответил: «Все в порядке, папа».

Мы сидели с Катей на диване в ее комнате. Между нами стояла ваза, полная грецких орехов, которые я колот щипцами и делил поровну между собой и Катей. Мы уже успели сходить в кино; потом Катя пригласила меня к себе. Я сперва отказался, опасаясь встречи с ее отцом и бабушкой. Но Катя все же говорила меня.

— Отец что? Работает? — поинтересовался я между прочим.

— Угу, — кивнула Катя. — Работает. Пишет чего-то...

— Охота ему целый день за столом сидеть?! — удивился я. — Пошел бы лучше в футбол погонять. Катя засмеялась.

— Представляю своего папу играющим в футбол, — сказала она.

Я тоже улыбнулся.

— Зрелище, конечно, не для слабонервных.

Катя шлепнула меня по голове.

— Хватит!

— Виноват. — Я протянул ей очередной орех.

— Не хочу больше.

Я пожал плечами и сам слопал орех.

— А на инструменте ты играешь? — Кивнул я на рояль, стоявший рядом с диваном.

— Занималась когда-то... — сказала Катя.

— Ну, сыграй чего-нибудь, — попросил я.

— Не хочется...

— Сыграй, я спою...

Катя заинтересовалась этим предложением и спросила:

— Как я буду играть, если не знаю, что ты будешь петь?

— Да мне все равно, какой мотив... Играй что-нибудь блатное.

— Ладно... — Катя потянулась, встала, еще как-то вся изогнувшись, как кошка после долгого сна, встряхнула головой и села на стул перед роялем. Я ногой подцепил другой стул и пододвинул его к себе.

— Я буду стучать на нем, за ударника, — пояснил я.

— Валяй стучи, — согласилась Катя.

— Ну, давай...

— Я даже не знаю... Давай лучше с тебя начнем...

— Нет, нет, играй, а я потом вступаю...

Катя вздохнула и ударила по клавишам.

— Ну! — сказала она, сыграв вступление.

— Это что-то не то. Мотив неподходящий.

— Ну, я не знаю, какой тебе нужен. Ты сперва спой, а я подберу.

— Как же я буду без музыки петь?

— А так я не знаю, что играть...

— Ладно, я сейчас напою тебе, а ты подыграй на фоне. — Я откашлялся, на минуту задумался, потом запел. Первый куплет пошел у меня как по маслу. Вот он:

**Жил на свете козел,
Не удав, не осел,
Настоящий козел,
С седой бородой!
Ме-е!**

Катя чуть не задохнулась от смеха.

— Как это ты пел?! — покатывалась она. — Ме-е-е!..

Я остался доволен произведенным эффектом и сидел, ухмыляясь во весь рот.

— Ну, давай дальше! — просила Катя.

— Подожди, еще не придумал.

Катя стала наигрывать на рояле довольно блатную мелодию.

— Любил козел морковку, —

завыл я, как ошпаренный. —

**Старый кретин любил
Све-е-жайшую морковку!..**

Тут и Катя запела что было сил:

— Бе-е, ме-е, бе-бе!

Здесь я сам уже не мог сдержать смех, а Катю прямо-таки прорвало, и она продолжала срывающимся голосом:

**— И любил он морковь,
Не салат, не свеклу,
А любил он морковь,
Хау ду ю ду-ду!**

— Бе-бе! Хряп-хряп! — поддержал я. — Хау ду ю ду-ду!

— Ой, не могу, — заливалась Катя.

А я спел еще:

**— Вот какой был дурак,
Не удав, не осел,
Этот старый чудак,
Настоящий ко-о-озел!**

Последние слова «песни» нанесли нам, можно сказать, смертельный удар. Я растянулся на диване, не в силах остановить приступ истерического смеха, овладевшего мной, а Катя просто свалилась со стула.

И представьте себе, что в этот кульминационный момент дверь в комнату открывается и на пороге возникает могучая фигура Семена Петровича, из-за плеча которого высовываются длинный нос и золотое пенсне Агнессы Ивановны. Если бы вы могли видеть их лица в эту минуту! Мы-то с Катей их видели, и мне до сих пор непонятно, как я выжил тогда. Поэтому что, если до этого со мной была истерика, то теперь начались настоящие судороги. Я забил ногами по дивану, стал хватать ртом воздух, при этом визгливо вскрикивая:

— А-а! Ах-ха-ха! А-а!..

Тогда, нужно признать, Семен Петрович принял единственно правильное решение. Агнесса Ивановна, помнится, еще прошамкала нечто вроде: «Что же это такое?» Но Семен Петрович, не проронив ни звука, медленно попятился, подобно тигру, уступающему поле боя стае шакалов, и, вытеснив задом наседавшую на него Агнессу Ивановну, резко захлопнул дверь.

Это несколько привело нас с Катей в чувство.

— Вот попали, — сказал я, отдышавшись, отирая ладонью влажные от смеха глаза.

— Да, неудобно получилось, — согласилась Катя и, не в силах сдержаться, опять рассмеялась.

— Хотя, если разобраться, ничего предосудительного мы не делали, — проговорил я. — Что, уже посмеяться нельзя?

— Да, в общем, конечно, — произнесла, правда, не очень уверенно, Катя.

За дверью послышался слабый шорох. Я настороженно замер, на мгновение воцарилась тишина, потом дверь приоткрылась, и в узкой щели блеснуло пенсне Агнессы Ивановны.

— Катя,—вкрадчиво позвала она,—мне кажется, тебе пора немного позаниматься.

Катя покраснела.

— Ой, ну ладно, ба!

Я понял, что пожелание Агнессы Ивановны более всего обращено ко мне.

— Ладно, Катерина, я потопал.— Я встал с дивана и пошел в прихожую одеваться, но в коридоре меня остановил властный голос Семена Петровича.

— Молодой человек! — сказал он, появившись из своего кабинета так быстро, что могло показаться, будто он специально поджидал меня.— Не уделили ли вы мне несколько минут вашего драгоценного времени?

Я беспокожно взглянул на Катю, потом на Агнессу Ивановну, которая с высокомерным видом прошла мимо меня на кухню, и направился в кабинет.

Семен Петрович расположился в удобном кресле около письменного стола; я остался стоять посреди комнаты. Сестра он мне не предложил, а сам я, оробев под его пристальным взглядом, не решился на подобную дерзость. Со стороны, я думаю, мы очень напоминали известную картину Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея». Мысленно я пририсовал к физиономии Семена Петровича густые торчащие усики, и вот уже сам грозный царь Петр сидел передо мною. Сейчас он сделает легкий жест, и верный царский пес князь-кесарь Федор Ромодановский потащит меня в сумрак пыточного каземата. А там — дыба, жаровня, батоги и прочие хитроумные приспособления, которыми так успешно пользовались наши предки. От этой картины по спине пробежал холодок, а дальше я уже представлял свою забубенную голову на плахе, окруженной толпой заданного абсолютизмом народа в костюмах, наподобие тех, какие я видел на концерте ансамбля Игоря Моисеева.

— Ну-с,— произнес Семен Петрович, не дав мне насладиться зрелищем собственной казни.— Итак, молодой человек, должен вам признаться, у меня сложилось мнение... Нет, глубокое убеждение в том, что ваше общество категорически противопоказано моей дочери. Я позволяю себе не излагать все те многочисленные факты... э-э... примеры вашего поведения, из которых складывалось подобное мнение... м-м... убеждение. Однако, как мужчина мужчине, я настоятельно прошу вас прекратить всякие отношения с Катей. Я прошу вас обещать мне это, и даже если Катя сама позвонит вам, дать ей понять недвусмысленно, не ссылаясь, разумеется, на меня, невозможность ваших встреч.

Закончив эту тираду, Семен Петрович откинулся в кресле и склонил голову, как бы приглашая меня ответить ему.

— Это невозможно, сударь,— брякнул я.

Честно говоря, я вовсе не хотел обидеть или шокировать его. Это дурацкое «сударь» вырвалось у меня само собой, нечаянно. Семен Петрович ошолбенел. Он даже не рассердился, а просто не находил что сказать. Слово-то действительно вроде бы самое нужное, но какое-то неуместное и ничтожное.

Воцарилась длительная пауза, в продолжение которой я смотрел в потолок, и поэтому не знаю, чем занимался Семен Петрович.

— Почему же вам это невозможно?... — наконец сказал он и добавил: — Сударь.

Здесь у меня случилось какое-то замыкание. Меня понесло. Я и сам понимал, что несу околесицу, но остановиться не мог, и события стали разворачиваться стремительно.

— Видите ли,— начал я с пафосом,— мы, я и ваша

дочь Катя, любим друг друга! Признаюсь, что с моей стороны было непорядочно столь долгое время скрывать от вас истину, но, поверьте, это произошло ненароком. И вот теперь, когда все так счастливо открылось, я вручаю вам в руки нашу судьбу и прошу благословения!

И я чуть было вразправду не грохнулся перед ним на колени. Семен Петрович смотрел на меня с изумлением.

— Подожди, подожди,— пробормотал он.— Как ты сказал? Вы что же, решили пожениться?!

Но я прервал его:

— Наши отношения зашли слишком далеко. Я как человек благородный не могу поступить иначе и прошу руки вашей дочери!

— Что?! Что?! — промычал Семен Петрович.

— Екатерина Семеновна в положении! — воскликнул я и почувствовал, что сейчас упаду в обморок.

— Как?!

Семен Петрович вскочил из кресла и смотрел на меня, выпучив глаза. Я развел руками. Тут Семен Петрович неожиданно резко бросился ко мне и, усадив на кушетку, присел рядом. Я молчал, тяжело дыша. Семен Петрович тоже, не находя, что сказать, вытирал платком лоб.

— Так,— наконец проговорил он.

— Да-с! — повторил я запальчиво.

— Ну, ничего, ничего,— похлопал меня Семен Петрович по спине и, заметив пятно на моем плече, аккуратно отряхнул его рукой.— Это дело такое... — сказал он.— Когда же вы успели?

Я махнул рукой.

— Ладно, ладно.— Семен Петрович вздохнул.— Как же вы жить собираетесь?

— Трудности нас не пугают,— сказал я.

— Это правильно, но все же вы еще так молоды. Катя на первом курсе, и ты вот... — Он запнулся и потом осторожно спросил: — Ты поступать-то в институт думаешь?

— Высшее образование для меня не самоцель.

— Конечно, конечно... Ты, пожалуйста, не думай, я не такой уж ретроград. Высшее образование не самое важное в жизни... — поспешно заверил он меня.— Но, надеюсь, ты не собираешься всю жизнь работать курьером?

— Я сочиняю стихи, Семен Петрович,— серьезно сказал я.

— А-а... — озадаченно протянул Семен Петрович.— Это хорошо. И что же, печтаетесь?

— Пока нет,— с достоинством ответил я.

— Понятно. Ну, а стихи-то получаются?

— Могу прочесть... Вот, к примеру, из последних.— Я встал и, приняв подобающую позу, с чувством декламировал из Пушкина:

**Цветок засохший, безуханный,
Забитый в книге вижу я;
И вот уже мечтою странной
Душа наполнилась моя...**

Семен Петрович слушал, рассеянно кивая головой. Когда я закончил, он сказал:

— Что ж, по-моему, недурно. Что-то напоминает, правда... Или стиль такой старомодный. А в общем, очень недурно.

Я скромно потупил голову и хотел еще что-нибудь прочесть, но вовремя опомнился и промолчал. Семен Петрович выглядел вполне удовлетворенным.

— Я, пожалуй, пойду,— сказал я.— А то поздно... Семен Петрович улыбнулся.

— Конечно.— Он проводил меня до дверей ка-

бинета.—Заходи. Может быть, и родителей как-нибудь пригласишь к нам...

— Непременно,— ответил я.

Мы пожали друг другу руки, и я вышел в коридор, где меня поджидала Катя. Когда я увидел ее, мне стало стыдно. Я понял, что совершил чудовищное предательство, и хотел было рассказать ей все, но у меня язык не повернулся. Чувствуя, как лицо скривила нелепая, придуманная усмешка, я пробормотал:

— Все нормально... Поговорили... о том, о сем...

Катя истолковала мою интонацию по-своему, и ее взгляд сделался озабоченным и твердым.

— Ты не расстраивайся,— сказала она.— Я тебе позвоню вечером.

Она мне действительно позвонила. Вечером, очень поздно. Я в это время сидел перед телевизором, тупо уставившись в голубой экран.

Катя говорила негромко, но очень отчетливо.

— Как же ты мог, Иван?—спросила она.— Зачем?..

И положила трубку. Если бы она сказала еще хоть одно слово, мне, наверное, было бы легче. Может быть, это только так казалось...

— Кто это?—спросила мама.

— Так... номером ошиблись.

На следующий день, отпросившись с работы, я с утра отправился к МГУ. Я поехал в надежде увидеть Катю, хотя понятия не имел, что скажу ей при встрече.

Погода в тот день переменялась к лучшему. Так бывает, когда осень в самый разгар ненастья вдруг подарит несколько солнечных и теплых дней. В университетском парке по этому поводу было многолюдно. Шурша опавшими листьями, студенты и студентки прогуливались по аллеям; вытянув ноги, сидели на облупленных лавочках, млея под солнцем, глазели по сторонам. Их безмятежное настроение быстро передалось и мне. Я уверовал, что непременно встречу здесь Катю, и это уже несколько не пугало меня. Однако, когда в третьем часу дня я действительно увидел ее, моя самоуверенность улетучилась в мгновение ока.

Катя шла по центральной аллее в компании двух молодых людей. Я обогнал их по параллельной дорожке и потом с беспечным видом, сунув руки в карманы, направился навстречу. Но за оживленной беседой Катя не обратила на меня ни малейшего внимания. Мне пришлось повторить трюк, но на сей раз, переменяя тактику, я изображал человека, погруженного в глубокое раздумье, и, устремив взгляд под ноги, как бы не видя ничего вокруг, ринулся прямо на них, рассчитывая столкнуться с Катей нос к носу. Пройдя таким образом метров сто и ни с кем не столкнувшись, я украдкой осмотрелся и не обнаружил перед собой ни Кати, ни ее кавалеров. Обернувшись, я увидел их уже сидящими на лавочке. Я пошел обратно и, минуя лавочку, где они расположились, громко зашел: «Чита-грита, чита-маргарита, а-а...» На этот раз на меня обратили внимание. Один из парней сказал:

— Где-то я уже видел эту рожу... А, Валера?

— Он уже третий раз мимо нас шныряет,— сказал Валера.

Я, словно нехотя, взглянул в их сторону и встретился глазами с Катей.

— О Катя!—воскликнул я с радостным изумлением.— Привет.

— Привет,— холодно ответила Катя.

— А я вот решил прогуляться немного,— сказал я, доброжелательно улыбнувшись.— Погода хороша.

Катя молчала. Молодые люди, никак не прояснив своего отношения к погоде, молчали также. Их угрюмые лица не предвещали ничего хорошего.

— Солнце жарит, прямо как летом,— продолжил я свою мысль.

Катя презрительно хмыкнула и, обратившись к парню, который обозвал меня «рожей», спросила: — Что же было дальше, Илья?

— Что?

— Ну, ты рассказывал что-то интересное...

— А-а... Дальше... Мы с Митькой, значит, приходим, а они там все пьяные, валяются, кто где...— начал было Илья и тут же замолк.— Нет,— сказал он,— не понимаю, чего этот тип стоит над душой?!

— Может быть, дать ему по рогам?— предложил Валера.

— Не надо,— сказала Катя.— Это мой двоюродный брат. Он только вчера из Витебска приехал. Я ему университет обещала показать.

— Брат?—Валера был озадачен.— Какой-то он у тебя странный.

— Да,— сказала Катя,— он тронутый немного. Его в детстве с третьего этажа уронили.

Илья и Валера с любопытством посмотрели на меня, а я, изображая нервное расстройство, задрожав правой ногой. Катя поспешно подошла ко мне.

— Ладно, мальчишки. Вы идите, а я покажу ему МГУ.— И Катя потащила меня по аллее.— Хватит тебе дергаться,— тихо проговорила она.— Просто шут гороховый. Вечно меня позоришь.

— Так они же смотрят,— сказал я.

Мы свернули в боковую аллею и здесь остановились.

— Зачем ты пришел?—спросила Катя.

Ее вопрос застал меня врасплох. Хотя я ожидал его с самого утра, но в какой-то момент мне показалось, будто все уладилось само собой, и теперь растерялся, не зная, что ответить. Катя смотрела на меня серьезным, внимательным взглядом.

— Я хочу извиниться перед тобой за вчерашнее,— пробормотал я.

— Хорошо,— сказала Катя.— Считаю, что я простила тебя. Это все?

Я понял, что она сейчас уйдет, и торопливо сказал:

— Нет, не все. Мне надо поговорить с тобой.

Катя пожала плечами.

— Давай присядем,— предложил я.

Мы сели на лавочку. Я был весь в напряжении и, пытаясь расслабиться, закурил. Катя, словно не испытывая ни малейшего неудобства, положила ногу на ногу, скрестила руки на груди и со скукой на лице смотрела куда-то вдаль.

— О чем ты хотел поговорить?—спросила она с иронией.

— Я тебя прошу извинить меня,— тупо повторил я.— Я больше не буду.

— Фу ты, прямо детский сад какой-то,— неприятно засмеялась Катя. Она отвернулась, потом сказала: — Ты сделал мне очень плохо, Иван. Ты не представляешь, какой разговор у меня был с родителями. Это просто ужасно. Я не понимаю, зачем ты сделал это? Вообще я не понимаю, чего ты добиваешься? Почему ты так себя ведешь? Все время врешь, представляешься кем-то, придумываешь какие-то idiotские затеи... Зачем?

Я молчал.

— Что ты молчишь?—спросила Катя.

— Я представляю себя эстрадным певцом,— ответил я.

— Это очень похоже на тебя,— вздохнула Катя. Она помолчала и затем продолжала: — Мне кажется,

ся, Иван, что тебе пора повзрослеть. Что бы мы там ни говорили, но родители в результате правы. Пора устраивать свою жизнь. Надо действительно учиться, много работать, а не витать где-то в облаках.

Она говорила спокойно, не спеша, с убежденностью человека, абсолютно уверенного в своей правоте. Даже тембр голоса ее незаметно переменялся. И я с удивлением взглянул на нее, желая убедиться, что со мной говорит семнадцатилетняя девушка, а не обремененная житейским опытом взрослая женщина.

— Мужчина должен работать, делать карьеру. И для этого надо быть сильным и целеустремленным. А ты какой-то... — Она прервалась. — С тобой иногда бывает интересно, но со временем, я думаю, это пройдет...

Ее самоуверенный тон и поучающая интонация разозлили меня. Едва сдерживаясь, чтобы не вспылить, я проговорил:

— С какой стати, интересно, ты мне нотации читаешь? Преподносишь мне свои дурацкие прописные истины, да еще с таким видом, будто сама додумалась до этого? Я что, против работы, что ли? Или против карьеры? Да я такую карьеру могу сделать! С моими-то данными!..

— Ну, сделай, — ядовито предложила Катя.

— Ну и сделаю!.. Если захочу. А может, я не хочу...

— Врешь, — сказала она. — Хочешь. Только это не так просто.

— Да ты сама-то о чем думаешь, интересно?

— Я?.. — Катя помолчала. — Ну, знаешь, женщина — это совсем другое, чем мужчина. Хотя, конечно, и она должна учиться, работать и быть самостоятельной. Но все же для женщины главное — семья. Чтоб был хороший, положительный муж, дети и вообще...

— Чего вообще?

— Ну, какой ты! Ну вообще чтобы все было нормально.

— Вот ты сама и врешь, — сказал я. — Совсем не об этом ты думаешь.

— Об этом, — упорствовала Катя.

— Нет, не об этом! — Я схватил ее за плечи и крепко встряхнул. — Ну, скажи честно, ведь не об этом же, — проговорил я.

— Пустяк! — Катя вывернулась из моих рук и с оскорбленным видом отодвинулась на лавочке.

— Катя, — позвал я. Она бросила на меня негодующий взгляд, но глаза ее уже стали теплыми и веселыми. Губы дрогнули и улыбнулись.

— Я о таком думаю, — сказала Катя, — что если мой папа узнает, он просто в обморок упадет. — Она огляделась по сторонам, как будто нас могли подслушивать, и заговорила, понизив голос: — Я представляю, как еду в машине. Знаешь, такая красивая спортивная машина... На мне очки от солнца и длинный шарф алого цвета... или голубого... — Катя на минуту задумалась, как бы прикидывая, какой цвет ей выбрать, и продолжала: — В машине играет магнитофон, а на сиденье рядом собачка — маленькая, беленькая, пушистая. И все молодые люди так заискивающе заглядываются на меня, а я еду и в ус себе не дую. И обязательно солнечная погода. И еще... У меня такие здоровые, ослепительные зубы, как на коробках от зубной пасты. Вот...

Катя со смущением посмотрела на меня и, отвернувшись, рассмеялась.

— Здорово, — сказал я.

— Глупо ужасно. Я понимаю. Какая-то пошлость... Но иногда так хочется!.. А ты, — спросила Катя, — ты действительно хотел бы быть эстрадным певцом?

— Да нет, это я так... Иногда я, правда, представляю себя кем-нибудь очень популярным — эстрад-

ным или даже оперным певцом, киноартистом или спортсменом, но чаще всего придумываю какое-нибудь приключение, в котором мог бы участвовать сам, таким, какой есть. К примеру, поздно вечером я возвращаюсь домой. Троллейбусы и автобусы уже не ходят, и я спокойно иду посередине проезжей части. Вдруг сзади слышу: «Вз-з-з!» Визг тормозов... Оборачиваюсь и вижу шикарнейшую спортивную машину и в ней — такую женщину! Супер! На ней длинный шарф не то алого, не то голубого цвета, и на сиденье рядом магнитофон, и тут же собачка — такая беленькая, пушистенькая. И это такая роскошная картина, что со всеми мужиками, которые идут мимо, просто катастрофа. Они штабелями ложатся под колеса и заискивающе ждут, пока их передедут. Но я так небрежно спрашиваю: «В чем дело, мадам? Что вы гоняете по ночам, как сумасшедшая?» А она в ответ: «Не хотите ли, чтобы я вас подбросила до дома?» А я: «Да нет, увольте. В это время суток я предпочитаю пешую прогулку. Так что, извините и адьё!» Спокойно поворачиваюсь к ней спиной и не спеша ухожу прочь...

— Неужели не сел бы? — смеясь, прервала меня Катя.

— Ни за что! — с важностью ответил я.

— Врешь! — не верила Катя.

— Не врешь!

— Ладно, — сказала она. — Тогда я не останавливаю свою машину, если встречу тебя поздно вечером.

— Да, если бы нас сейчас слышали родители, они наверняка бы решили, что мы конченные люди, — проговорил я.

Катя нахмурилась.

— Все же ты по-свински поступил, — сказала она.

— Я же не отрицаю...

— Мне от этого не легче...

— Ну хочешь, я поеду к твоим родителям и извинюсь перед ними? — предложил я. — В эту же субботу поеду... — Я вопросительно взглянул на нее: Катя молчала, задумавшись.

Солнце уже спустилось за горизонт, оставив воспоминанием о себе розовые пятна на пенной груди облаков. Воздух стал свежим и прохладным. Вечер, крадучись, шел по земле.

Мама вышла из кухни и, опершись плечом о стену, смотрела, как я переодеваюсь в прихожей. Руки у нее были по локоть в муке, и она держала их на весу, пальцами вверх, как хирург перед операционным столом.

— Там тебе отец письмо прислал и подарок какой-то, — сказала она.

Я вошел в комнату и увидел на столе длинный, аккуратно упакованный в бумагу предмет и конверт рядом с ним. Мама, последовав за мной, остановилась в дверях и наблюдала, как я распечатываю конверт. Она никогда не читала писем, которые присылал мне отец, демонстрируя таким образом свое полнейшее равнодушие к его судьбе. С тех пор, как они развелись, мама постоянно подчеркивала мое право иметь с отцом собственные отношения и просила уволить ее от участия в них. Поэтому, когда я начинал вслух читать его письма, ее лицо приобретало выражение скуки и безразличия. Меня это раздражало и даже злило, потому что я чувствовал неестественность в ее поведении и про себя был уверен, что она ужасно хочет слышать эти письма.

Я обнаружил в конверте не письмо, а открытку. На ней был изображен покрытый причудливыми татуировками негр. В победно поднятой руке он держал копье, а ногой наступал на тушу огромного буйвола, распростертую на земле. На обратной стороне от-

крытки я прочел: «Здравствуй, старина! У нас здесь жара адская. Недавно побывал в саванне и видел, как охотятся настоящие масаи. Жутко интересно. Их вождь подарил мне свое копье. Замечательный мужик. Настоящий Геркулес и к тому же умища. На открытке, конечно, не он — это реклама, — но все же что-то похожее есть. Как дела? Успехи? Скоро приеду в отпуск — обязательно повидаемся. Привет маме. Пиши. Папа».

— А это, надо полагать, и есть то самое копье, которое подарил вождь? — с сарказмом произнесла мама, выслушав меня.

Это было действительно копье. Длинное, с толстым тяжелым древком, покрытым узорчатой резьбой, и узким железным наконечником. Я взял его в правую руку и поднял над головой.

Я едва расслышал ее слова. Тяжесть копья сладкой усталостью застыла в плече, острый, гладко отполированный наконечник покачивался в воздухе, тая мощь смертоносного удара. Сжимая пальцами шершавое древко, я увидел выгоревшую саванну под расплывшимся шаром солнца. Черные узкобедрые фигуры воинов утопали по пояс в желтой траве, в густом кустарнике над высохшим руслом реки притаился леопард, высоко в небе, раскинув крестом крылья, повис гриф. Все замерло. Ни мзлейшее движение, ни единый звук не нарушали гармонию этого видения. И только вздох, вдруг вырвавшийся из глубины трав, мелькнул тихим шелестом в раскаленном воздухе и угас.

— Да, он всегда любил такие игрушки, — донесся до меня голос мамы. — Они будили его воображение...

Гриф дрогнул и скользнул вниз. Блеснули наконечники копий в руках воинов, и яростный рык разбил утомленную тишину. Пятнистое тело вознеслось над саванной, коснувшись лапами расплавленного обода солнца, и... И в следующее мгновение я с силой метнул копье.

Узкое лезвие наполовину вошло в полированную дверцу шкафа, и копье протяжно заныло, покачивая древком в воздухе.

— Ты что? — крикнула мама, бросившись ко мне. — Ты что делаешь?

И осеклась. Я закрыл лицо руками и сел на стул. Меня била дрожь. Мама обняла меня за плечи и прижала к себе.

— Ну что ты, Ванечка? — заговорила она. — Успокойся, милый мой. Ну, что с тобой? Это я во всем виновата... Я... Прости меня...

— Нет, нет, — бормотал я в ответ. — Это я сам... Сам... Прости меня, мама...

До конца недели я не виделся с Катей. Несколько раз мы с ней разговаривали по телефону, но в беседах этих, носивших самый буднично-нейтральный характер, ни я, ни она ни словом не обмолвились о моем обещании объясниться с ее родителями. Между тем я помнил и постоянно думал о нем.

В субботу после обеда я, тщательно одетый, вышел из дома. По дороге я заехал в цветочный магазин и, завладев большим букетом алых гвоздик, отправился к профессору Кузнецову.

Дверь мне открыла Катя. Но за ее спиной я увидел всю семью Кузнецовых во главе с Семеном Петровичем. Одеты они были по-праздничному, на лицах сияли улыбки. Казалось, будто они только и делали весь день, что ждали меня. Я, совсем не готовый к такому торжественному приему, ступешался.

— Ну, наконец-то... — двинулся ко мне, раскрыв объятия, профессор и внезапно остановился. Лицо его вытянулось, улыбка сбегала прочь.

— Что за черт! — воскликнул он, всматриваясь в меня. — Иван?!

Его супруга и мать переглянулись. Катя, словно судья на ринге, поспешно отступила в сторону. Собранный с духом, я выбросил вперед правую руку, в которой держал букет цветов, и выпалил:

— Уважаемые Семен Петрович, Мария Викторовна, Агнесса Ивановна и ты, Катя, я прошу вас извинить меня за тот случай, когда... когда... — Я запнулся, не находя нужных слов, и вместо продолжения энергично встряхнул цветами под носом профессора.

Семен Петрович, часто заморгав, перевел взгляд на букет, потом посмотрел на своих домочадцев, не менее его озадаченных моим появлением, и вдруг громко расхохотался. Он взял цветы, передал их супруге, затем схватил меня под локоть и буквально втащил в прихожую.

— Ну, здравствуй, герой! — сказал он. — Вот уж не ждали!.. Что ж, раз пришел, раздевайся, проходи, гостем будешь. — Он опять засмеялся и добавил: — Кто старое помянет, тому глаз вон. Катя, — обратился он к дочери, — вот и для тебя кавалер нашелся.

Мария Викторовна с улыбкой протянула мне руку.

— Проходите, Ваня, — сказала она с симпатией. — У нас сегодня гости...

— Вы, как всегда, вовремя, — прервала ее Агнесса Ивановна, но, несмотря на некоторую язвительность своего приветствия, тоже подала мне узкую сухую ладошку.

Я, окончательно потерявшись, пытался возражать, ссылаясь на отсутствие времени, но профессор был неумолим и не желал слушать никаких возражений.

Катя провела меня в гостиную. Там, вдоль одной из стен, стоял накрытый белой кружевной скатертью стол с закусками и напитками.

— У нас а ля фуршет, — сказала Катя, когда мы присели на диван. — Хочешь чего-нибудь?

— Спасибо, я пообедал недавно.

— А яблоко?

— Яблоко давай...

Катя подошла к столу, выбрала в хрустальной вазе с фруктами большое красное яблоко и принесла его мне.

— Я не ожидала, что ты приедешь, — сказала она. — Ты бы мог позвонить...

— Я хотел, но потом решил, что лучше так... Срз-зу покончить с этим делом, и точка.

— В общем, правильно, — согласилась Катя. — Очень удачно все получилось.

В дверь позвонили. Из прихожей донеслись оживленные голоса и смех. Появились гости. Солидные, хорошо одетые люди с улыбками здоровались с хозяевами, подходили к столу, накладывали в тарелки закуску. Дамы располагались в удобных мягких креслах; мужчины, образовав группки, беседовали друг с другом. Семен Петрович суетился меж них, разливая напитки. Мария Викторовна занималась с женской частью общества. Агнесса Ивановна восседала в гордом одиночестве, время от времени величественно кивая головой, как бы одобряя и подбадривая гостей. Прозвучали тосты. Сперва общие: «За встречу» и «За дам». Потом частные: «За оплот науки — Семена Петровича!», «За создательницу этого прекрасного стола — Марию Викторовну!» и так далее. Мы с Катей сидели тихо, как мышки. К нам иногда обращались с вопросами. Мы отвечали на них. Как мы учимся? Хорошо. Сложная в МГУ программа? Сложная. Почему мы не кушаем? Мы кушаем.

Все шло своим чередом и не предвещало никаких осложнений. Кто-то предложил тост: «За Катю!» Го-

сти с готовностью сдвинули бокалы, но Семен Петрович остановил их.

— Минуточку,— сказал он, подойдя к нам.— Мне хотелось бы, чтоб этот тост прозвучал так: «За Катю... и за Ивана!» — Движением руки он поднял меня с места и представил гостям: — Вот Иван, самый большой оригинал из всех друзей моей дочери, с кем мне доводилось общаться...

Неожиданно попав в центр внимания, я был сильно смущен и, кажется, покраснел. Гости заулыбались, с любопытством оглядывая меня, словно ожидая, что я немедленно докажу справедливость слов профессора, а одна интересная дама спросила:

— Что же, это тот самый молодой человек, о котором вы недавно так смешно рассказывали?

— Он, он самый,— весело ответил Семен Петрович и продолжал, обращаясь уже ко всему обществу: — Недавно, например, он объявил мне, что сочиняет стихи, и в качестве доказательства преподнес несколько строк из Пушкина. А я, представьте, купился на этот фокус, как первоклассник.

Он хлопнул меня по плечу и захохотал. Гости тоже засмеялись, а интересная дама сказала:

— Да, молодежь нынче любопытная.

— Вот именно, именно,— подхватил Семен Петрович.— Любопытнейшая у нас молодежь. С ней надо говорить, надо общаться!

— Да уж, ты много общаешься! — засмеялась Мария Викторовна.— Только и знаешь, что работа, работа, работа.

— Каюсь, каюсь! — Семен Петрович поднял руки вверх, как будто собирался сдаваться в плен, и, озорно подмигнув мне, добавил: — Поэтому и попал впросак!

— Это действительно так,— вздохнула интересная дама.— Наступает день, когда нам становится трудно понимать своих детей. Вот скажите мне, Ваня,— повернулась она ко мне.— У меня дочь целыми днями слушает этого певца греческого... Как его? Денис Рус, что ли?..

— Демис Руссос,— поправил ее коренастый мужчина со сладким, как сироп, выражением лица.

— Да, да, Демис Руссос,— сказала интересная дама.— Так вот, я спрашиваю ее: «Настя, ну что ты одно и то же слушаешь? У тебя так много других пластинок». А она говорит: «Демис Руссос положительно влияет на женские гормоны». Представляете? — Ха-ха-ха! — захохотал коренастый мужчина.— Сколько же лет вашей дочери?

— Пятнадцать.

— Ха-ха! Пятнадцать! Молодец! — веселился коренастый.

— Вам смешно,— обиженно продолжала дама.— Но что же это такое?! Ведь у нас роскошная библиотека, много редких и ценных книг. Читай на здоровье! Но она ничегошеньки не хочет. Придет из школы, кое-как уроки делает, включит своего Руссоса и слушает до вечера.

— Это у них называется «балдеет», — радостно объяснил коренастый.

— А я так думаю,— заявил подтянутый, худощавый мужчина.— И вы, Семен Петрович, и вы, Анна Васильевна,— он кивнул интересной даме,— все усложняете. По-моему, все дело в избалованности. Нынешние молодые люди живут слишком легко, без трудностей. Это банально, но факт. Меня, к примеру, отец порол до семнадцати лет. Крепко порол, и что же? Я его только уважал за это. Жили мы в маленьком провинциальном городе, семья была большая, и сюсюкать с нами родителям было некогда. И ничего, выросли, все в люди вышли и к отцу с матерью, теперь покойным, всегда относились с любовью и почтением.

И он залпом выпил рюмку коньяку, которую в продолжение всей тирады держал в руке.

— Ну, с этим можно поспорить,— вмешалась пожилая дама.— Молодежь разная бывает...

— А-а, все одно,— махнул рукой подтянутый, который успел уже хлопнуть вторую рюмку.— Конечно, есть разные группы и категории молодых людей. Но я вот наблюдаю своего сына. Он у меня спортсмен и вообще хороший парень. Сын есть сын, и плохого о нем я никогда не скажу. Но любит, понимаете, пить молоко из банки. Знаете, такие желтые банки с концентрированным молоком. У них на этикетке еще корова изображена... Я ему, значит, говорю: «Зачем ты пьешь молоко неразбавленным? Оно ведь жирное. Его разбавлять надо». А он в ответ: «Люблю такое, неразбавленное». Любит, понимаете, он...

— О-о, это старая песня,— засмеялась Мария Викторовна.— Получается, если нам было тяжело, то пусть и им будет так же? Глупо!

— Наверное, глупо,— согласился подтянутый, наливая себе третью рюмку. Он хотел еще что-то сказать, но замешкался, выбирая на столе закуску, а в это время в беседу вступила Агнесса Ивановна, до того молча сидевшая в кресле и глазевшая по сторонам, как в зоопарке.

— У нас прекрасная молодежь! — объявила она.— Да, прекрасная! Есть, конечно, некоторые типы... — добавила она, презрительно взглянув в мою сторону.— Стиляги! Но это — исключение, подтверждающее правило. А основная масса молодежи у нас превосходная и, можно сказать, героическая. Я каждый день смотрю телевизор и, поверьте, очень хорошо знаю нашу молодежь.

Агнесса Ивановна гордо вскинула голову и обвела всех грозным взглядом, как бы предлагая с ней поспорить. Но спорить с ней никто не стал, а Семен Петрович согласно закивал и бодро сказал.

— Все верно. Это безусловно. Но проблемы, конечно же, есть. Бояться их не надо, а надо о них говорить и решать.

Гости единодушно выразили согласие с выводами Семена Петровича, и, таким образом, казалось, что тема разговора вполне исчерпана, однако подтянутый мужчина, сливая в рюмку остатки коньяка, проговорил словно сам себе, но достаточно громко:

— А молоко-то он все равно пьет из банки. Хоть кол на голове теши!

Все с беспокойством переглянулись, чувствуя, что правила игры нарушены и вечер готов выйти из-под контроля. Анна Васильевна неестественно рассмеялась и, стараясь разрядить обстановку, спросила в шутовском тоне:

— Ну что вы, Олег Николаевич, так расстраиваетесь? Далось вам это молоко!

— Да, далось, далось! — уже не сдерживаясь, воскликнул Олег Николаевич.— Здоровый, как бык! Кулаки — по пуду каждый, бицепсы — с полметра. Дзюдо занимается... Сделает дырку в банке и сосет, сосет себе молоко. А кругом хоть потоп! Когда говоришь с ним, молчит. Ни да, ни нет — ничего! Выслушает, промолчит и новую банку протыкает!... — Олег Николаевич открыл другую бутылку коньяка.— Учится — абы как! Работать не желает! Может быть, чемпионом по этому своему дзюдо хочет стать?! То же не хочет! Я спрашиваю: «Зачем же тебе эти твои бицепсы, трицепсы, двуглавые мышцы? Зачем? Что ты хочешь сделать ими?» И знаете, что он сделал? Взял в руку банку и раздавил ее. В лепешку! И говорит: «Ты так не можешь». И все. Я вас спрашиваю теперь: что это такое?

Олег Николаевич обвел общество вопросительным взглядом. Семен Петрович подошел к нему и дружески взял под локоть.



— Успокойся, Олег,— проговорил он.— Я думаю, ты преувеличиваешь. Я же знаю твоего сына. Отличный парень. Ты слишком строг к нему.

— Брось ты, Семен! — махнул рукой Олег Николаевич.— Я хочу одного — мне надо знать, что он хочет. Я хочу знать, кого я вырастил. Я на это имею право. Пусть он скажет мне: «Ты старый выживший из ума осел. Ты прожил неправильную жизнь. Я буду жить по-другому». Пусть так скажет — я пойму. Пусть совсем уходит из дома. Но он молчит! Пользуется всем и молчит!..

— Это возрастное,— сказала пожилая дама.— Мы с мужем тоже пережили нечто подобное. Знаете, этот момент возмужания у мальчиков, я даже не имею в виду физиологические аспекты, протекает очень болезненно. Наш сын тоже был замкнутым и нелюдимым. А теперь окончил институт, поступил в аспирантуру. Стал активен, деловит, и сейчас его направили на шестимесячную стажировку в Италию, откуда он пишет нам трогательные и нежные письма.

В тоне пожилой дамы прозвучало нескрываемое чувство гордости и превосходства. Олег Николаевич даже как-то сник после ее слов, а Семен Петрович, почуяв возможность переменить тему вечера, про-

возгласил тост: «За молодежь». Все с удовольствием выпили по этому поводу, и Олег Николаевич тоже выпил и слегка пошатнулся. Мария Викторовна пригласила его присесть, но он отказался. А Семен Петрович между тем объявил:

— Товарищи, я надеюсь, вы простите мой отцовский эгоизм, если я сейчас попрошу свою дочь что-нибудь спеть для нас?

— Прекрасно,— томно проговорила Анна Васильевна.

— Па-апросим,— вкрадчиво захлопал в ладоши коренастый.

— Отлично,— решил Семен Петрович и повернулся к Кате.— Катюша, давай-ка «Соловья» алябьевского... Она, знаете ли, прекрасно поет «Соловья»! — пояснил он, не замечая угрюмого взгляда, которым наградила его Катя.

В этот момент Олег Николаевич оттолкнулся плечами от стены, прислонившись к которой он стоял, нетвердой походкой пересек комнату и остановился передо мной.

— Вот вы, молодой человек, можете мне сказать, что вы хотите? О чем вы, так сказать, мечтаете? — громко спросил он.

Я, не ожидавший такого поворота, растерялся.

— Что такое? Что такое? — мигом подскочил к нам Семен Петрович. Он был явно раздосадован.— Перестань, Олег.

— Но почему, Семен? — удивился Олег Николаевич.— Я просто хотел узнать, о чем мечтает этот молодой человек. В конце концов, если он не захочет ответить, это его право.

— Это уже становится забавным,— проговорила пожилая дама.— У нас сегодня просто какой-то социологический вечер получится.

— Ты задал безусловно важный и интересный вопрос, Олег,— сказал Семен Петрович.— Однако он требует гораздо более серьезной обстановки. Поэтому я предлагаю отложить его сейчас...

— Действительно не стоит, Олег,— пробормотал коренастый мужчина.— Пусть лучше Катя споет «Соловья».

— Я хочу сказать,— вдруг громко произнесла Катя. Все замолчали и взглянули на нее. Катя поднялась с дивана, нервно теребя пальцами пояс своего платья.— Я хочу сказать, о чем я мечтаю,— твердо повторила она.

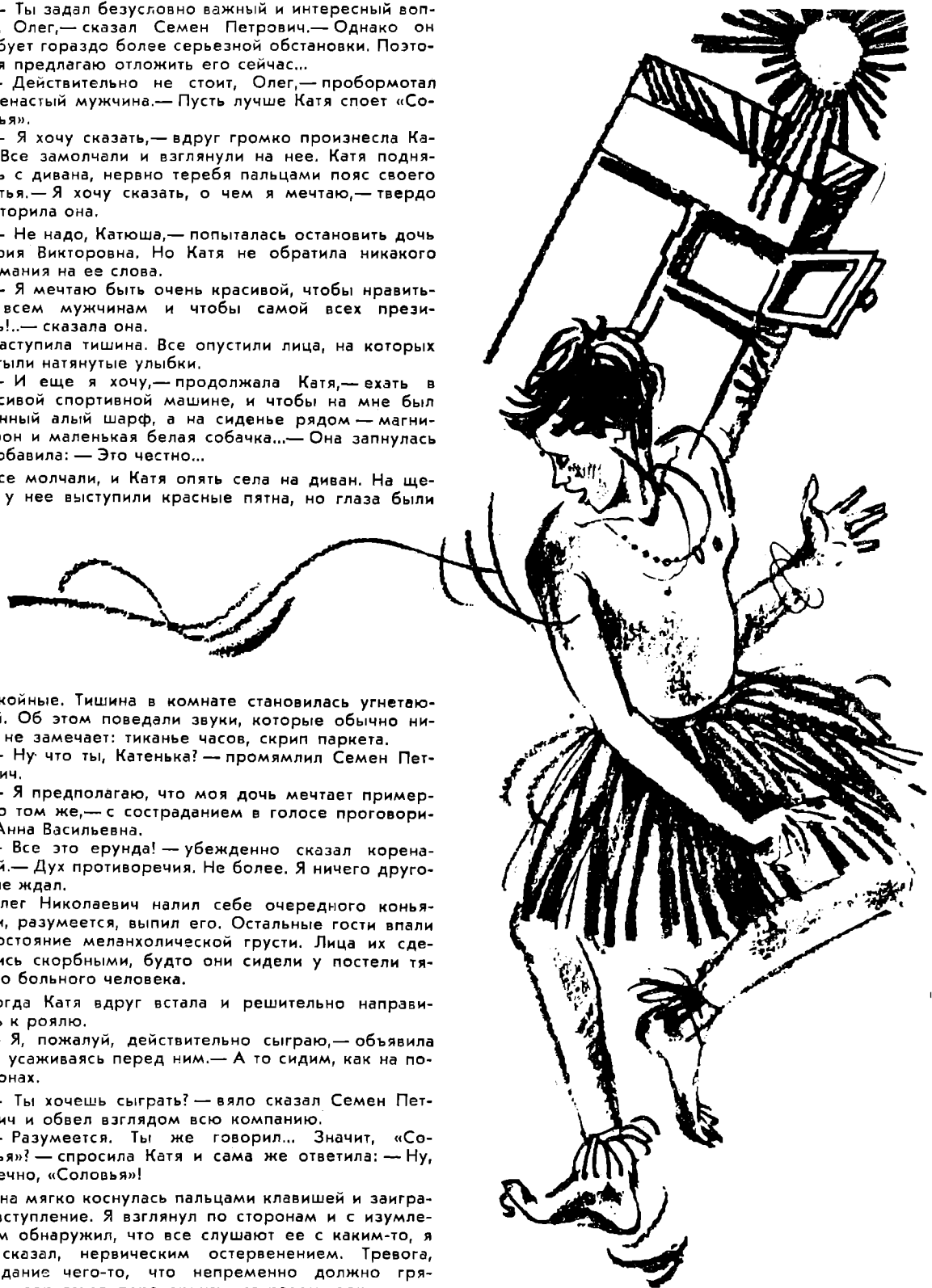
— Не надо, Катюша,— попыталась остановить дочь Мария Викторовна. Но Катя не обратила никакого внимания на ее слова.

— Я мечтаю быть очень красивой, чтобы нравиться всем мужчинам и чтобы самой всех презирать!...— сказала она.

Наступила тишина. Все опустили лица, на которых застыли натянутые улыбки.

— И еще я хочу,— продолжала Катя,— ехать в красивой спортивной машине, и чтобы на мне был длинный алый шарф, а на сиденье рядом — магнитофон и маленькая белая собачка...— Она запнулась и добавила: — Это честно...

Все молчали, и Катя опять села на диван. На щеках у нее выступили красные пятна, но глаза были



спокойные. Тишина в комнате становилась угнетающей. Об этом поведдали звуки, которые обычно никто не замечает: тиканье часов, скрип паркета.

— Ну что ты, Катенька? — промямлил Семен Петрович.

— Я предполагаю, что моя дочь мечтает примерно о том же,— с состраданием в голосе проговорила Анна Васильевна.

— Все это ерунда! — убежденно сказал коренастый.— Дух противоречия. Не более. Я ничего другого не ждал.

Олег Николаевич налил себе очередного коньяку и, разумеется, выпил его. Остальные гости впали в состояние меланхолической грусти. Лица их сделались скорбными, будто они сидели у постели тяжело больного человека.

Тогда Катя вдруг встала и решительно направилась к роялю.

— Я, пожалуй, действительно сыграю,— объявила она, усаживаясь перед ним.— А то сидим, как на похоронах.

— Ты хочешь сыграть? — вяло сказал Семен Петрович и обвел взглядом всю компанию.

— Разумеется. Ты же говорил... Значит, «Соловья»? — спросила Катя и сама же ответила: — Ну, конечно, «Соловья»!

Она мягко коснулась пальцами клавишей и заиграла вступление. Я взглянул по сторонам и с изумлением обнаружил, что все слушают ее с каким-то, я бы сказал, нервическим остервенением. Тревога, ожидание чего-то, что непременно должно грянуть, взорваться, перевернуть все разом вверх дном, застыли на лицах. Насколько, в былые времена у солдат перед атакой были такие же напряженные и азартные лица.

Катя закончила вступление и запела тоненьким голосом:

— Соловей мой, соловей,
Ты мой чертов Бармалей!..

Никто ничего сперва не понял, но Катя повторила:

— Соловей мой, соловей!
Чтоб ты сдохнул, Бармалей!

— Что? — растерянно пробормотала Мария Викторовна.

Катя перестала играть и повернулась к нам лицом. Она оглядела всех спокойно, деловито, будто ученый, проверяющий результат эксперимента, и сказала:

— Я этого «Соловья» с пяти лет играю и пою. Как к нам гости — так тут и я со своим «Соловьем»! Меня уже тошнит от него, ей-богу... Я, если бы он мне попался, этот «Соловей», его на медленном огне изжарила бы!.. Как вы считаете, ребята?

Она опять обвела взглядом гостей. Но оторопевшие «ребята» были как после апоплексического удара. Никто из них не смог вымолвить ни слова.

— Ну, ладно, — покровительственно улыбнулась Катя. — Сейчас я вас немножко развеселю. Сейчас я вам мою любимую сбацирую... — Она лихо крутанулась на своем стульчике и заиграла мотив, который я тут же узнал. Слова были тоже знакомые.

— Жил на свете козел,
Не удав, не осел,
Настоящий козел,
С седой бородой...
Ме-ме-е!.. —

спела Катя и еще даже присвистнула.

Я не выдержал и прыснул. На меня посмотрели, как на идиота. А Катя продолжала:

— Старый кретин
Любил сьэ-э-эжашую морковку!
Ра-ра-ра!..

— Да ты что делаешь, Екатерина?! — вдруг рявкнул Семен Петрович. — Прекрати немедленно!

Тут все общество разом вышло из оцепенения. Олег Николаевич громко расхохотался, в результате чего опрокинул себе на брюки тарелку с салатом. «Черт!» — выругался он. Глаза Марии Викторовны наполнились слезами, и она закрыла лицо ладонями. Агнесса Ивановна выставила тощую руку и закричала, указывая пальцем на меня:

— Это все он виноват! Его влияние! Я предупреждала!.. Предупреждала!..

Катя же в ответ что было сил ударила по клавишам и затянула не своим голосом:

— Бе-е! Хряп-хряп! Бе-е!

Семен Петрович с прытью, неожиданной для его внушительной фигуры, подскочил к роялю, сбросил Катины руки с клавиатуры и с шумом захлопнул крышку. Катя уронила голову на грудь, тихо всхлипнула и вдруг стремительно выбежала из комнаты. Секунду я сомневался, а потом кинулся следом.

Я догнал Катю только на улице. Она вбежала на бульвар, села на скамейку и заплакала. Я набросил на ее плечи свою куртку и присел рядом. Катя никак не ответила на мой жест и продолжала всхлипывать. Так мы просидели долго.

Я слушал бормотание ветра в голых кронах деревьев, шум автомобилей, мелькавших за низкой чугунной оградой, невнятные голоса редких прохожих. Вечер выдался сырой и холодный. Он забрался мне

под свитер, потом под рубашку, коснулся кожи и отпрянул, словно не верил своей удаче, потом коснулся смелей, крепко обхватил тело длинными мокрыми пальцами и дерзко полез внутрь, к самому сердцу, которое качало и качало кровь, гнало ее по артериям и венам. Я прислушался к его равномерным ударам и, положив палец на запястье, подсчитал пульс. Получилось — семьдесят. Я прикинул, сколько это будет в час и в сутки. Потом — в год. Полученное число помножил еще на семьдесят.

Катя уже не плакала и сидела, устремив неподвижный взгляд в землю. Наконец она повернулась ко мне. Было уже совсем темно. Свет уличного фонаря обвел темными кругами ее глаза и спрятал в густой тени половину лица.

— Замерз? — спросила она.

— Да нет, ничего, — бодро ответил я.

— Прости меня. Возьми... — Она начала стаскивать с плеч мою куртку, но я остановил ее.

— Не надо, мне не холодно, — сказала я. — Знаешь, пока мы сидели здесь, я сосчитал, сколько ударов совершает человеческое сердце в течение всей жизни.

— Ну и сколько же? — равнодушно спросила Катя.

— Много. При пульсе семьдесят ударов в минуту и, если принять продолжительность жизни в семьдесят лет, получается 2 575 440 000 ударов.

— Пульс не бывает постоянным, — сказала Катя.

— Это же в среднем.

— В среднем — много.

— Порядочно, — согласился я. — 4200 ударов в час, 100 800 — в сутки... Короче, миллионов по шесть-сот мы с тобой уже отстучали...

— Что же мне делать теперь? — спросила Катя.

— Не знаю, — ответил я.

— Я не могу идти домой, — сказала Катя.

— Что же ты, так и будешь жить на этой лавке?

— Да, — согласилась Катя. — Так и буду.

Я увидел профессора Кузнецова. В густой тени деревьев, словно надеясь, что его не заметят, он шел медленно и осторожно. Когда Семен Петрович остановился в двух шагах от нас, я встал. Катя осталась сидеть, сжавшись в комок, стараясь не смотреть на отца. Неловкость ситуации была очевидна. Семен Петрович снял с ее плеч куртку и накиннул на них пальто, которое принес с собой. Куртку он вернул мне: «Спасибо». Потом присел на краешек скамейки и достал из кармана сигареты. Заметив, что я все еще стою, кивнул: «Садись, Иван». И, распечатав пачку «Явы», предложил мне сигарету. Мы закурили, но после первой же затяжки Семен Петрович отчаянно закашлялся и, скомкав сигарету, отбросив ее в сторону, проговорил извиняющимся тоном:

— Не получается. Я ведь не курил никогда... Так, побаловаться решил...

Катя сидела неподвижно, втянув голову в плечи. Семен Петрович откашлялся в кулак и деликатно провел ладонью по ее волосам.

— Ничего, Катюша, — сказал он тихо. — Ничего. — Он призвал ее к себе, и Катя уткнулась лицом ему в грудь. — Гости разошлись. Надо идти домой.

— Я не могу, папа, — глухим голосом произнесла Катя. — Не могу. Мне так плохо... Если бы ты знал...

— Я понимаю, понимаю, — сказал Семен Петрович. — Видишь, какая она — наша жизнь? Не знаешь, с какого конца ударит... — Он вздохнул и добавил: — Все равно ведь никуда не спрячешься...

— Как мне быть теперь, папа? Как быть?

— Ничего, все пройдет, Катюша... Пойдем домой... Поздно уже...

Они встали. Семен Петрович подал мне руку и сказал:

— До свиданья, Иван. Мы пойдем теперь... Но ты не пропадай! Обязательно звони.

— Обязательно позвоню,— обещал я, отвечая на рукопожатие.

Семен Петрович дружески похлопал меня по плечу.

— Эх вы, мрлодые, зеленые! — отечески произнес он.— Ничего, перемелется — мука будет.

— Конечно, будет,— согласился я.

Семен Петрович улыбнулся и потянул Катю за руку.

— Пойдем, Катюша.

Катя исподлобья взглянула на меня. Не знаю почему, но в тот момент я вдруг ясно понял, что мы никогда больше не увидимся с ней. Я понял также, что и она думает об этом.

— До свиданья, Катя.

— До свиданья, Иван.

Я смотрел им вслед. До тех пор, пока их фигуры не растворились в темной глубине бульвара. Был двенадцатый час ночи.

Сергей Степанович Воробьев нисколько не удивился моему позднему визиту. Напротив. С укором в голосе он проговорил:

— А я уже думал, что ты не придешь. Что ж ты?

— Я не мог. Занят был,— ответил я.

— Ладно... Ты как раз вовремя...— сказал Воробьев.

Последовав за ним, я вошел в знакомую комнату, и свет не скрытой абажуром лампы ослепил меня после темного коридора. Сергей Степанович мигом выключил ее и, пройдя к окну, отворил его настежь. Холодный свежий воздух, словно вода в пробойну тонущего корабля, потоком ворвался в комнату. Озадаченный происходящим, я хотел было спросить, что все это значит, но Воробьев, будто догадавшись, приложил палец к губам и поманил меня к окну. Я подошел.

— Смотри — ровно в полночь... Вон то окно — напротив,— шепотом произнес он, указывая в сторону противоположного дома.

Я взглянул на часы — до полуночи оставалось не более двух минут. Улица под нами казалась бездонным ущельем. Редкие фонари плыли над мостовой. Где-то шумели моторами автомобили. Мне стало не по себе. Я почувствовал, как бешено забилось в груди сердце, и подумал, что сегодня оно перевыполнит свою норму ударов.

Но в то же мгновение, забыв обо всем на свете, я увидел, как засветилось окно напротив.

— Вот, смотри,— схватил меня за руку Сергей Степанович и, сейчас же бросив ее, припал животом к подоконнику.

Свет был неяркий, бледно-зеленый. Как в море на небольшой глубине или в аквариуме. Мне даже почувствовалось, что сейчас откуда-нибудь сбоку, из-за стены, выплывут золотые рыбки с черными хвостами. Но рыбки не выплыли. Вместо них появилась женщина в голубом платье с гусиным пером в правой руке. Она показала мне хрупкой и прекрасной, как фарфоровая статуэтка. Не спеша прошла она по комнате и присела к столу у окна, так что лицо ее теперь было обращено к нам. На столе лежали листы бумаги, и, обмакнув перо в невидимую чернильницу, она записала что-то на одном из них. Потом, отставив руку с пером в сторону, женщина подняла лицо и задумалась. Ее волосы рассыпались по пле-

чам, и, хотя увидеть ее глаза на таком расстоянии казалось невозможным, мне почудилось, что они направлены прямо на нас.

— Какая красивая! — непроизвольно вырвалось у меня.

— Инопланетянка,— лаконично и уверенно пояснил Сергей Степанович.

— Как — инопланетянка? — удивился я.

— Ну, как, как? Как бывает? Очень просто.

— Что же она здесь делает? — настаивал я.

— Ничего не делает,— проговорил Воробьев, не отрывая глаз от незнакомки, и продолжал: — Их корабль потерпел крушение. Все члены экипажа погибли. Только она спаслась. Приняв образ земной женщины, она заигнотизировала начальника паспортного стола и, получив московскую прописку, поселилась в этой квартире. Каждый вечер, ровно в полночь, пытается выйти на связь со своими, чтобы они прилетели и увезли ее отсюда к чертовой бабushке. Да, видеть, что-то у них там не сбавывает.

Я, прямо скажем, сильно усомнился в версии Сергея Степановича. Но он изложил ее столь решительным тоном, что я не отважился ему возражать. Правда, я все же обронил неуверенную фразу:

— Кажется, рассказ такой был. Фантастический...

Но на это Сергей Степанович ответил:

— Жизнь неизмеримо мудрее и неожиданнее любой фантастики! — И он хотел еще что-то добавить, но тут его прервал хриплый голос из соседнего окна:

— Чего ты там плетешь, Степанович?! Какая инопланетянка?! Начальника паспортного стола заигнотизировала!!! Поди заигнотизируй его! Тебя так заигнотизирует! Трехнутая она — вот кто! Ино-опланетянка!!! Смех!

Воробьев даже опешил на мгновение, а потом закричал:

— Синицын? Ты? Ты чего? Ты куда смотришь?!

— Туда же, куда и ты,— рассудительно ответил Синицын.— Я уже с полгода это оконце караулю. Все жду — может, она свет позабудет выключить, когда раздеваться начнет. Баба уж больно хороша!

— Как не стыдно! — вдруг заверещал тонкий женский голосок из окна справа.— Как не стыдно такое говорить! Как вас земля только носит! У женщины несчастье: несколько лет назад погиб любимый человек — полярный летчик,— спасая пропавшую экспедицию, пожертвовал собой ради других. У нее осталось подвенечное платье, которое она надевает каждую полночь и пишет ему письма... А вы такое говорите!

— Вот те на! — воскликнул Сергей Степанович и высунулся так, что чуть не вывалился из окна.

Но в ответ откуда-то уже совсем издалека мужской голос решительно объявил, что все это чепуха, что женщина поэтесса и пишет в полночь гусиным пером для вдохновения.

— Это Белла Ахмадулина! — безапелляционно заявили откуда-то снизу.

— Здравсте, я ваша тетя! — возмутились наверху.— Ахмадулина совсем в другом районе живет. У нее семикомнатная квартира и дача в Крыму.

— А вы-то откуда знаете? — не отступал нижний.

— От верблюда,— заявил верхний, и там послышался смех, видимо, домочадцев, которым пришелся по душе удачный ответ их сожителя.

— Что, в одной клетке с ним сидели? — не растерялся его оппонент, и настала очередь нижнего этажа рукоплескать остроумию своего представителя.

Я посмотрел на Сергея Степановича. Он стоял, в задумчивости облокотившись на подоконник, при-

слушиваясь к голосам соседей. Мне показалось, что он обескуражен их полемикой, и, пытаясь приободрить его, я сказал:

— Вообще-то она очень похожа на инопланетянку...

— Несомненно, — спокойно произнес Воробьев. — А они дураки! Ничего не понимают.

Женщина в голубом сидела в той же позе и была, конечно, так прекрасна, что просто захватывало дух.

Потом я шел домой. Общественный транспорт уже не работал, а на такси у меня не было денег. Я шел, насвистывая от скуки какую-то дурацкую мелодию, и смотрел по сторонам. И видел темные силуэты деревьев с голыми изломанными ветвями, блестящий асфальт, в котором отражались уличные фонари, дома, громоздившиеся вокруг, как египетские пирамиды. Над всем этим было небо. Ветер, родившийся утром над Ледовитым океаном, промчался над Швецией и Норвегией, миновал Ленинград, завернул по пути в Вологду, заставив ее жителей понахлбучивать на головы шапки, и к вечеру объявился в Москве. Он прогнал с ее небосвода тучи, весь день висевшие над городом, и сам скончался от этого последнего усилия. Над Москвой засветились звезды.

Я их видел собственными глазами. Яркие белые точки, они рассыпались в черной бездне, как будто кто-то неосторожно порвал нить с бусами. Теперь их уже не собрать, не нанизать на крепкую суровую нить, не надеть на шею любимой девушке.

Так и будут они вечно висеть над моей головой. Каждая из них как одинокий глаз тайфуна в штормовом океане.

Мне стало грустно. Я вдруг представил себя стариком. Этаким согбенным седым стариканом с мутным слезящимся взглядом. Я сижу в зимнем лесу, опершись подбородком о шершавую ручку древней клюки, и снег лохматыми мокрыми хлопьями падает мне на лысину. Кругом темно и безлюдно. Я вспоминаю все, что было, и собственная жизнь кажется мне хрустом сломанной ветки. Я вспоминаю сегодняшний вечер, и девушку по имени Катя, и ее отца — не помню, как звали, — и интересную даму, и мужчину, что жаловался на сына, который пьет концентрированное молоко неразбавленным. Их всех давно нет в живых: ни дамы, ни мужчины. Нет Воробьева, нет Синицына... И женщина в голубом давно перестала выходить на связь с инопланетной цивилизацией. И мамы нет... И отца...

Остались звезды. И осталась еще дурацкая мелодия, которую я насвистывал в тот далекий осенний вечер. Они все те же. И звезды и мелодия. Звезды — там, наверху, а мелодия?.. Вот она.

И старик, задрав голову и обратив иссохшее лицо к небу, засвистел что-то ужасно легкомысленное и до боли знакомое.



Поэзия



ЛЕВ ОЗЕРОВ

☆☆☆

Книгоноша российских окраин,
Славный офеня,
Некрасовский сверстник
В широкой рубахе,
Со стертymi сапогами,
Но книги — под мышкой,
И книги в мешке,
И книги под сеном в телеге.
Книгоноша — он коренник
Российского просветительства,
Все остальные — пристяжные.

☆☆☆

Как смотрится зима в оконной раме
Невнятной рассветною порой!
Снега, засыпанные снегирами,
Как будто бы подожжены зарей.

Над сонною равниною рассветной,
Над этой снегириной кутерьмой
Неугомонной искрой, искрой медной
Как пышет снег, как дышит он зимой!

Как он горит, как неисповедимо
С его дыханьем, приоткрыв уста,
Какой-то невидимкой, струйкой дыма
Спокойно в душу входит красота.

Спокойно и уверенно, а с нею,
Сдается мне, я истину обрел.
Она безмолвствует, но тем сильнее
Звучит ее естественный глагол.

☆☆☆

Иней на трамвайных окнах,
Пальмы на инее,
Искры на пальмах,
Тени на искрах.
Тени моих соседей
И моя тень.
Я нацарапал на инее
Твое имя
И надыхал на него,
И оно оттаяло
От моего дыхания.

☆☆☆

Губительные шутит шутки
И светится, когда темно,
Вторые не смолкает сутки
Метельное веретено.

По кругу, по второму кругу
Метет, размашисто метет,
То с горечи, а то с испугу
Выходит к небесам в полет.

А небеса в таком замоте;
В такой нездешней суете,
Что сразу вы не разберете,
Где эти облака, где те.

Метель шаманит, безголоса
И голосиста, в бубен бьет,
В окно врывается без спроса
И ждет хозяев у ворот.

И сыплет, сыплет прибаутки,
И стонет, как заведено,
Вторые не смолкает сутки
Метельное веретено.

Какую пряжу мнет старуха —
Ненужную, на чей-то взгляд,—
Кому-то шапочку из пуха,
Кому-то гробовой наряд.

☆☆☆

Какой я денек приготовил тебе!
Морозная бронза звенит на тропе.
Петляет, поскрипывая, лыжня,
Как будто бы ты завлекаешь меня
В тот лес Берендеев, где кроны слились,
Упрятав от нас неоглядную высь,
Где стан лебединый берез вдалеке,
Откуда дорога приводит к реке.
Там изжелта-зелен ледовый припай,
На берег другой загляделся — пропал.
Пропал, потому что на том берегу
Тебя, как снегурку, я встретить смогу.
Один я, но, кажется, не одинок.
Какой я тебе приготовил денек!

☆☆☆

Волос серебряные пряди
Правдивей жалостной мольбы.
Душа, что явлена во взгляде,
Чуждается своей судьбы.

Она не хочет быть упрямой,
Уступчивой быть не должна,
И если пахнет мелодрамой,
Прочь от нее бежит она.

Ей нужно, впрочем, так немного:
Хмельного воздуха глоток,
Петляющая вдаль дорога,
Ведущая на тот порог,

Где будут ей безмерно рады,
Где ей свободно и легко,
Где все немислимые клады
Лежат под домом глубоко.

☆☆☆

Строки вяжу, как плоты,—
Одну к другой,
Как бревна вяжут,
И течение влечет меня
Медленно, но неуклонно.
На плоту, пахнущем лесом,
Плавню, медлительно, долго,
Томительно, словно вечность.

☆☆☆

Мы присхали в Крым ночью
И остановились над бездной,
На дне которой роились огни.
Утром мы не узнали местности:
Склоны были в цвету,
Дома посажены в зелень,
Ленты дорог исчезали в море.
Небо смотрело на Ай-Петри,
Ай-Петри — на Мисхор,
Мисхор — на море.
Видение бездны напрочь забылось.

☆☆☆

Я не справляюсь
Со своими замыслами,
Как дорога
Не справляется с заносами.
Нужны заслоны.
Замыслы прибывают,
А время укорачивается,
Сплющивается, скукоживается,
И остается только снежная змейка,
Свистящая над неоглядной дорогой.

☆☆☆

Рассвет, забыв, что надобно явиться,
Хоть не опаздывал он сотни лет,
Пришел, и вот он взглядом ясновидца,
Как в первый раз, глядит на белый свет.
Не узнает. И длится узнавание
Деревьев, окон, вывесок и крыш.
Зачем он был разбужен ранней ранью!
И почему вокруг такая тишь!
И он идет вразвалочку и с ленью,
Свою же он разглядывает тень,
И это ли не светопреставление,
И это ли не первый в мире день.

☆☆☆

Кем мы были на этой земле!
Кем уйдем, забыв на столе
Незаконченной песни строку!
Кем мы были с тобой на веку!
Что мы поняли в жизни! К чему
Мы пришли! — Неподвластно уму
Бытие этих дней, этих лет.
Кто же даст мне сегодня ответ —
До того, как мы сгинем во мгле,
Кем мы были на этой земле!

☆☆☆

Дельвиг ленив, Дельвиг сонлив —
С детства мне слышится этот мотив.
Как же, спрошу, сочиняется стих,
Стих на двоих, стих на троих!
А за стихами, Фаддею на страх,
Складывается альманах.
А за альманахом газета идет.
Дельвиг ленив — гласит анекдот.
Вот так привычка, вот так молва.
Дельвиг-барон, говорят, голова.
Дельвиг создатель всяческих дис.
Дельвиг — ленив! Дельвиг — сонлив!

**ИЛЬЯ
ФОНЯКОВ**

Солдатские могилы

Течет по камню теплый дождь.
Розарий. Тишина.
Какие здесь порой найдешь
На плитах имена!
Лежат с тех памятных годин
В земле соседних стран
Шевченко, Чехов, Карамзин,
Табидзе, Туманян.
Однофамильцы! Видно, так!
Или верней всего.—
Неуловимое в летах
Далекое родство!
Склонясь, читаю вновь и вновь,
И каждая плита
Мне говорит: какая кровь
Святая пролита!

☆☆☆

Из калитки своей
по кирпичной мощеной дорожке,
С видевшей виды клеенчатой сумкой в руке
Он выходит
и птицам разбрасывает крошки —
Одинокий старик,
проживающий в маленьком городке.
И если с вопросом к нему обратиться,
Он скажет:
— Пусть радуются голуби и воробьи!
Дети мои
разлетелись по свету, как птицы,
И с тех пор мне кажется,
что все птицы — дети мои.

☆☆☆

Обнимали родных со слезами —
Долгожданных, пришедших с войны.
Инвалид с неживыми глазами
Пел на рынке у старой стены.
Это все до сих пор не избыто,
До сих пор перед нами встает:
Не стесняясь, при людях, открыто
Плачет радость, а горе — поет.
Все-то мы вспоминать не устали,
Все-то кажется: в этом «вчера»
Было в мире, который мы знали,
Больше зла, но и больше добра.

Портрет из записника

Мешает ответ масляного глянца.
Мне нужно точку верную найти,
Чтоб разглядеть молодого гегельянца,
Поэта, позабытого почти.
Заслуженно забытого. И все же
В его стихах, в структуре странных строф
Есть элемент какой-то вещей дрожи,
Прикосновенность к музыке миров.
Какой-то мысли, общей и могучей,
Где звучный зов, где — слышимый едва.
И даже в том, что писано «на случай»,
Красавице в альбом — она жива!

Подробности

Какой-то слабенький цветок
Среди лесной травы...
Покрытый снегом завиток
Решетки у Невы...
Среди забот и передраг,
В потоке бытия —
Пылинка, в сущности, пустяк,
Соломинка моя!
А все ж такие пустяки
Отринуть не спешит:
Когда наступит час тоски,
Смятения души,
Когда вот-вот уже на дно,
В пучину засосет,—
Подчас не выручит бревно,
Соломинка спасет!

Персональная выставка

Безумие красок, смятение формы,
Кипящего духа бунтарский наряд —
Какие сегодня самумы и штормы
На стенах музейного зала царят!
Так было когда-то: настигло, скрутило,
Отметило горькой печатью во лбу,
Сводило с людьми и опять разводило,
По свету влекло, диктовало судьбу.
Изведать заставило в жизни недлинной
Гоненье, и славу, и ночи без сна.
А все начиналось вот с этой невинной,
Старательно-школьной картинки «Весна»...

В отделе рукописей

А это вот — решение Конвента,
Листочек, пролетевший сквозь века!
Сознанием величия момента
Проникнута в нем каждая строка.
А подписи клубятся там какие!
Занятно поглядеть со стороны:
И время и характеры людские
В их грозных, дымных росчерках видны.
Иная — как фитиль к незримой бочке
Пороховой! Тут всяк на свой манер
Отметился. А в самом уголке
Убористо и скромно: «Робеспьер».



ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР

ДЖАМХУХ— СЫН ОЛЕНЯ

НАРОДНАЯ
ЛЕГЕНДА

Так они шли, разговаривая о всякой всячине, а к вечеру очутились возле села, жителей которого Джамхух не уважал, потому что это было единственное село Абхазии, где люди до того испоганились, что, не стыдясь друг друга, держали у себя рабов. У самого входа в село Джамхух со своими друзьями свернул с дороги, чтобы даже не встречаться с людьми этого села. Но как раз поблизости от того места, где они сворачивали, стоял, поstrуговая ножом палочку, один из жителей села.

— Путники! — окликнул он их. — Что это вы обходите наше село? Уж не брезгуете ли вы нами?

— Брезгуем, — ответил Джамхух, — и сам знаешь, почему. Весовщику Нашей Совести нечего взвешивать, когда он занимается людьми вашего села.

— Надо же ему на ком-то отдохнуть, — дерзко бросил житель этого села, — вот он и отдыхает за наш счет. А то мы все боимся, как бы он не надорвался, взвешивая вашу совесть. Ха! Ха! Ха!

— Джамхух, — сказал Силач, потирая кулаки, — можно я его как следует проучу?

— Не надо, — остановил Джамхух, — они сами от безделья скоро перережут друг друга.

Так они миновали это село, стоявшее на караванной дороге и развращенное работорговцами, провозившими здесь рабов с Северного Кавказа в Рим и Византию.

К полудню следующего дня друзья вышли к большому абхазскому селу под названием Дал. Это было во всех отношениях хорошее село, но здесь жил молодой князь, приторговывавший рабами. Он был племянником бездетного абхазского царя и уже привык к своей безнаказанности.

У входа в село их встретили старейшины.

— Добро вам, путники! — сказали они. — Кто вы и куда держите путь? Не встречался ли вам Джамхух — Сын Оленя? Говорят, он идет в нашу сторону.

— Я и есть Джамхух — Сын Оленя, — признался Джамхух. — Знаю, зажиточно ваше село и трудолюбиво. Лучшие виноградники Абхазии созревают в ваших виноградниках. Но также знаю, что ваш молодой князь приторговывает рабами. А это позор! Образумьте его, пока не поздно!

И тут совестливые старейшины покраснели и опустили головы.

— Правда твоя, — сказал самый старший из них, — тайно, по ночам приторговывает рабами наш князь. Но торгует он рабами из чужеземных народов. Ну разве что иногда его люди прихватят зазевавшегося эндурца.

— Неважно, кем торгует, — рассудил Джамхух, — абхаз, продающий раба, — это уже порченный абхаз. Сегодня он торгует зазевавшимся эндурцем, а завтра возьмется за своего абхаза.

— Ох, и не верю я,— сказал Опивало,— в зазевавшегося эндурца. Скорее весь мир зазевается, прежде чем найдется хоть один зазевавшийся эндурец.

— Нет худшей заразы, чем рабство,— продолжал Джамхух.— Представьте такое: скажем, моя пересохла обувь давит ногу. Можно сказать — стопа моей ноги в рабстве. Оттого, что стопа моей ноги в рабстве, все тело мое чувствует неудобство. Оттого, что тело мое чувствует неудобство, у меня портится настроение и, значит, душа моя теряет равновесие и правильное отношение к людям. Вот точно так же, если червоточина рабства завелась в деревне: душа ее жителей теряет равновесие и справедливое отношение к людям.

— Ты прав, Джамхух,— сказали старцы,— твоя мудрость — наша опора. Но наш царь ради племянника обещал построить в нашем селе храм Великому Весовщику Нашей Совести. Ради добра, которое принесет храм людям нашей деревни и окрестным деревням, мы терпим баловство князя работорговлей.

— «Мудреватое, да внутри вата!» — как говаривал один проезжий скиф,— отвечал Джамхух.— Храм, воздвигнутый на лукавстве,— это лавка менялы, и больше ничего. Неужто вы думаете, Весовщик Нашей Совести этого не знает? По старым законам высшая власть села — народная сходка. И если она осудит князя, он должен ей подчиниться. Народ царю платит подать и отдает сынов для войска. Больше народ царю ничем не обязан. Высшая власть села — народная сходка. Если абхазы забудут об этом, они будут наказаны провидением.

— И уже, кажется, наказаны,— сказал старейший из старейшин.— Странное чудо случилось в нашем селе. Ни один прорицатель не может разгадать его значения. И мы все этим опечалены. У нашего односельчанина, почтенного торговца вином, в двадцативедерном кувшине завелась рыба. Она плещется в кувшине и иногда, высовывая голову, поет застольную песню «Многие лета». Ну, то, что она поет, это понятно. В кувшине с вином она, конечно, опьянела и поет. Но нас удивляет и печалит, как— как?! — рыба морла попасть в кувшин с вином. Такого отродясь ни один абхаз не слышал.

— Ладно,— сказал Джамхух, немного успокоившись,— пойдём посмотрим.

— Не означает ли рыба, плещущаяся в кувшине,— спросил один из старцев, когда они шли к дому виноторговца,— что нас эндурцы покорят и сбросят в море к рыбам?

— Не означает,— сказал Джамхух.— Но кто слышал, как она поет?

— Как она поет, кое-кто слышал,— отвечали старейшины.— Но как она плещется в кувшине, видели мы сами своими глазами.

Они пришли к хозяину самых богатых виноградников села, и тот повел их в сарай, где у него были зарыты в землю кувшины. Хозяин открыл крышку одного из них, и Джамхух вместе с друзьями заглянул в него. Темно-красная поверхность вина колебалась. Чувствовалось, что в кувшине ходит какое-то живое существо.

— Может, перелить вино из кувшина,— сказал хозяин,— чтобы поймать рыбу?

— А зачем переливать,— развел руками Опивало,— я сейчас приналягу и доберусь до рыбы.

Не успел хозяин опомниться, как Опивало лег перед кувшином и, сунув туда голову, стал пить вино, постепенно углубляясь в кувшин, что явно не нравилось хозяину, хотя он вместе со старейшинами был поражен такими способностями Опивала.

— Зачем было выпивать? — бормотал хозяин, стараясь из-за головы Опивала заглянуть в кувшин.— Можно было перелить в амфору.

А между тем Опивало, усердствуя, уже наполовину влез в кувшин, и было похоже, что он скоро свалится в него.

— Сдается мне,— сказал один из старейшин, обращаясь к Джамхуху,— что этот твой человек сам скоро заплещется в кувшине и запоет с рыбой в два голоса!

— Зачем было вообще выпивать,— сказал хозяин, уже даже не пытаясь заглянуть в кувшин через голову Опивала,— вон у меня сколько пустых амфор.

— Ничего,— заметил Джамхух,— он не свалится в кувшин. Силач, поддержи его за ноги.

Силач схватил за ноги Опивала, продолжавшего углубляться в смысл кувшина и легко одолевавшего этот смысл.

Вдруг из кувшина раздалось пение застольной песни «Многие лета».

— Кто поет? — спросили сверху.

— Вино поет,— загадочно ответил Опивало, продолжая углубляться в смысл кувшина.

— Можно было перелить,— в последний раз сказал хозяин и безнадежно махнул рукой.

— Допил! — наконец раздался голос Опивала из глубины кувшина.

— Лови рыбу! — крикнул Силач, сидя на корточках перед кувшином.

Он держал за щиколотки обе ноги Опивала одной рукой и равномерно двигал ею, чтобы тот мог достать дно кувшина в любой части.

— Поймал! — загудел Опивало, и Силач мигом вытащил его наверх.

В руках Опивала билась большая, порозовевшая от пребывания в вине форель.

— Форель?! — удивились все, словно ожидали совсем другую рыбу.

— Сейчас она у меня запоет! — воскликнул Обьедало и, выхватив форель у Опивала, откусил ее до хвоста, а хвост почему-то протянул Опивалу.

— Я выпил, а ты закусил! — слегка обиделся Опивало и почему-то вручил хвост хозяину вина.

— Зачем? — спросил хозяин, вовсе ничего не понимая, потому что все еще горевал по поводу опустевшего кувшина.

— Да,— сказал Обьедало, с видом знатока дожевывая форель,— оказывается, форель, вымоченная в вине, даже в сыром виде очень вкусна.

Говорят, именно с тех пор ценители вкусной еды стали жарить форель, предварительно вымочив ее в вине.

— Все ясно,— сказал Джамхух, обращаясь к хозяину,— форель — речная рыба. Только вместе с речной водой она могла попасть в кувшин. Ты подливаешь воду в вино. Скорее всего ты это делаешь ночью. Ночью ты черпанул в амфору воду из реки вместе с форелью и, не заметив этого, перелил в кувшин.

— Земляки, не взыщите! — взмолился виноторговец, продолжая держать в руке хвост форели.— Я это вино только диоскурийцам продаю. Своих я им не поил...

— Так начинается порча,— сказал Джамхух.— Там, где один по ночам приторговывает рабами, другой по ночам начинает подливать воду в вино.

— А ты докажи, что я продавал рабов! — вдруг раздался голос молодого князя. Оказывается, он незаметно подошел к ним, пока Опивало добирался до дна кувшина.

— Вроде рыба запела,— сказал Опивало, озираясь. Он сначала вопросительно посмотрел на Обьедало, съевшего форель, а потом на князя. Опивало был явно под хмельком.

Джамхух тоже оглянулся и увидел князя. Он сразу определил, что лицо князя отмечено печатью молодости, печатью красоты, однако не отмечено печатью мудрости.

Через много лет время стерло с его лица печать молодости и печать красоты, но снабдить его отсутствующей печатью мудрости времени не удалось.

— Кажется, я не называл имени того, кто торгует рабами,— сказал Джамхух, оглядывая собравшихся,— или я назвал имя того, кто торгует рабами?

— Нет, не называл,— ответили старцы, взглянув сначала на Джамхуха, а потом на князя.

— Ясно, что ты намекал на меня,— сказал князь и добавил:— Всем известно, что ты выучил абхазский язык за пять дней, а не за два, как ты утверждаешь. Какой же ты праведник после этого и какое ты имеешь право нас учить?

— Лучше бы избавил нас от эндурцев,— взбодрился винотогорец и наконец отшвырнул хвост форели,— чем заглядывать в чужие кувшины и приводить сюда каких-то чудищ-выпивох.

— Словоблуды,— сказал Джамхух.— Ты их обвиняешь в одном, а они оправдываются в другом. Продающий раба — сам раб власти! Продающий нечистое вино — сам раб нечистоты! Запомните, что рабство уже тем плохо, что создает у труса, связанного цепью, чувство равенства с героем, связанным цепью. И не только чувство равенства! Чувство превосходства! Когда и трус и герой одинаково беспомощны, трус приписывает себе все, что мог бы сделать герой на свободе. Потому что оба беспомощны, а герой молчит. Герой в цепях всегда молчит, трус в цепях всегда говорит. Когда ему еще поговорить о своих геройствах, как не в цепях! Но лев, сидящий в клетке,— это все-таки лев, а не шакал!

С этими словами Джамхух — Сын Оленя вместе со своими друзьями покинул село, не отведав хлеба-соли и оставив старейшин в печальном недоумении.

Сын Оленя был так разгневан, что долго не мог прийти в себя и не разговаривал с друзьями.

— Лев, сидящий в клетке,— это не то что шакал, сидящий в клетке,— шепотом сказал Опивало Обьедало.— А ты что думаешь, землеед?

— Отстань,— отмахнулся Обьедало,— я тоже так думал.

— Знаю, знаю, что ты думал,— не отставал от него Опивало.— Ты думал, раз уже в клетке, все равно, что шакал, что лев, что лиса.

— Уж не опьянел ли ты?— спросил Обьедало.

— Да,— признался Опивало,— малость захмелел. Оказывается, когда пьешь вниз головой, быстро хмелеешь. Хмель сразу же стекает в голову.

— Ах, вот оно что,— сказал Обьедало и успокоился.

— То-то и оно,— кивнул Опивало и добавил:— Только не имей привычки выхватывать из рук чужую рыбу.

— Я думал, ты сырую не будешь есть,— примирительно сказал Обьедало,— а у меня желудок привычный.

— Уж как-нибудь сами разберемся,— ответил Опивало,— как нам быть с рыбой, пойманной на дне кувшина.

На этом они окончательно примирились. Тут тропа, по которой шли друзья, привела их под сень грецкого ореха, где сидели несколько человек и закусывали, привязав лошадей к веткам самшитника,

растущего рядом. По общему это были городские люди. Подосевшие поздоровались с сидящими на бурках. Те, встав со своих мест, пригласили их разделить с ними трапезу. Друзья присели.

— Путники, куда путь держите?— спросил Джамхух.

— Мы из города Питиунта,— ответили путники,— отцы города послали нас искать Джамхуха — Сына Оленя. У нас очень важное дело.

— Считайте, что вы его нашли,— сказал Джамхух, улыбнувшись путникам.

— И не ошибетесь,— добавил Обьедало, двумя пальцами подымая жареную курицу и со сдержанной деликатностью отправляя ее в рот.

Путники из Питиунта посмотрели на Обьедало, удивляясь такому сочетанию мощи аппетита и сдержанной деликатности.

— Если перед нами Джамхух — Сын Оленя,— сказал старший из путников,— то мы сразу же выложим нашу просьбу, а заодно наши запасы еды и питья, которые мы взяли на неделю, чтобы искать тебя.

— И не ошибетесь, выкладывая,— согласился Опивало, когда рядом с ним поставили бурдюк с вином.

— Вот что, Сын Оленя,— сказал один из путников,— наш город издревле прославлен своими базами, банями, портом, крепостью, храмом Великого Весовщику и многими другими радующими глаза делами рук человеческих. Здесь всегда жили абхазы, убыхи, гении, картвелы, мингрелы, греки и люди многих других племен. Ну, и эндурцы, само собой. Они торговали с Византией, с Римом, со скифами и хазарами. Они ловили рыбу, рубили самшит, выращивали фрукты, выделывали кожу, чеканили и занимались всяческими другими ремеслами. Если им иногда и доводилось ссориться, то ссорились ненадолго. И мы не знаем теперь, что с нами со всеми случилось. Каждое племя тянет в свою сторону, а раньше только эндурцы этим занимались. И человек одного племени теперь смотрит подозрительно на человека другого племени, хвалит все свое и чернит все чужое. И жить с каждым днем становится все скучней и опасней. Отцы города встревожены. Объясни ты нам, ради Великого Весовщика, что же случилось со всеми нами и как помочь людям нашего города снова обрести мир и доброжелательность между племенами.

— Порча пришла к вам,— сказал Джамхух,— а может быть, и не только к вам. Люди потеряли главную цель человека — быть угодным нашему богу, Великому Весовщику Нашей Совести. Его весам часто нечего взвешивать, и он грустит на небесах. Народ не может жить без святынь,— рассуждал Джамхух,— вера в главную святыню порождает множество малых святынь, необходимых для повседневной жизни: святыню материнства, святыню уважения к старшим, святыню верности в дружбе, святыню верности данному слову и тому подобное. И когда теряется главная святыня, постепенно утрачиваются и все остальные и на людей нисходит порча. Люди начинают ненавидеть друг друга и угождать только себе или тем, кто сильнее их, чтобы еще лучше угождать самим себе. Когда корабль в море дает течь,— продолжал Джамхух,— люди, находящиеся на корабле, ведут себя по-разному. Всех их можно разделить на три части по тому, как они себя ведут на корабле...

— Джамхух,— вдруг спросил Обьедало,— отчего у тебя все на три части делится?..

— Не перебивай,— ответил Джамхух,— потом я тебе все объясню. Так вот, всех, кто находится на корабле, можно разделить на три части по тому, как

они себя ведут, когда корабль дал течь. Слепые духом на оба глаза думают только о том, как себя спасти, не ведая, что без спасения корабля невозможно себя спасти вдали от берега. Это самые худшие. Если они окажутся сильнее всех остальных, корабль потонет и никто не спасется. Другие, слепые духом на один глаз, думают только о том, как спасти себя и свою семью. И эти плохи потому, что, если они окажутся сильнее всех, корабль все равно потонет. И только зрячие духом на оба глаза думают, как спасти всех. Это настоящие люди, любимцы Великого Весовщика. Если они окажутся сильнее всех, корабль будет спасен. И вы передайте отцам города, чтобы они приблизили к себе этих и зывали к совести остальных.

— Спасибо, Джамхух,— сказали люди из Питиунта,—мы передадим отцам города твои слова. Над твоими словами, как над всякими мудрыми словами, надо думать и думать.

— Пусть думают,—согласился Сын Оленя,—это еще никому не повредило.

На этом они расстались.

Путники сели на своих лошадей и направились в Питиунт, а Джамхух с друзьями пошел своим путем. Вдалеке перед их глазами вставала стена голубого моря, растворяющегося на горизонте в голубизне неба. Оно тогда называлось не Черным морем, как сейчас, а Хорошим морем, или, как говорили греки, Понтом Эвксинским.

— В людях,—сказал Джамхух, кивнув на море,—много дикарского. Не удивлюсь, если они в один прекрасный день переименуют наше Хорошее море и назовут его как-нибудь иначе. Людям кажется, что если они переименовывают древние названия гор, рек, морей, они будут могучими, как боги! Жалкие себялюбцы! Народ должен чувствовать, что его страна не вчера началась и не завтра кончится. Так ему уютнее жить в вечности и легче защищать свою землю.

— Джамхух,—напомнил Обьедало,—ты обещал объяснить, почему ты все делишь на три части.

— Да,—сказал Джамхух,—сейчас я вам все объясню. Три — это священное число, и не я его придумал. Вспомните народные сказки, где всегда три дороги, три брата и многое другое. Три — священное число и намекает нам на то, что у человека три жизни. Начальная жизнь — это жизнь до рождения. Серединная жизнь — это наша жизнь, в которой мы живем в этом мире. И последняя жизнь — это жизнь, в которой мы будем жить после смерти. О начальной жизни мы знаем только то, что одни люди приходят в мир со склонностью к добру. Другие люди приходят в мир со склонностью ко злу. И третьи люди — видишь, опять три — приходят в этот мир, немного склонные к добру, а немного склонные ко злу. Кто как жил в первой жизни, таким и приходит в этот мир. Наша земная жизнь — серединная, и она самая важная для человека. Тот, кто жил добром в первой жизни, должен постараться в этой жизни сохранить свою доброту. Тот, кто жил в первой жизни во зле, имеет возможность исправиться, и тогда ему простятся грехи первой жизни. А те, кто колебался в первой жизни от добра ко злу, имеют возможность окончательно определиться в добре. Вот почему наша серединная жизнь самая главная для человека. Больше в вечности никогда не будет возможности что-либо исправить. Строг Великий Весовщик, но и милость его огромна! Шутка ли, целая жизнь дана нам для собственного испытания, и даже если мы ее плохо начали, есть время все исправить! Теперь вам ясно, почему число три священно и почему в народе так часто говорят о трех до-

рогах, трех братьях, трех судьбах и тому подобное? Это нарек Великого Весовщика.

— Да,—сказал Обьедало,—теперь нам все ясно. Но отчего это, Джамхух, когда ты говоришь о чем-нибудь непонятном, оно сразу делается простым и понятным? И тогда становится непонятно, почему ясное теперь раньше было непонятно.

— Это оттого,—отвечал Джамхух,—что я думать научился раньше, чем говорить человеческим языком. И с тех пор у меня привычка мысли облекать в слова, а не из слов лепить подобие мысли. Да, я поздно научился говорить и потому говорю яснее многих. Так кошка рождается слепой, чтобы потом видеть в темноте.

— О, воронки моих ушей! — воскликнул Слухач.—Подставляйте себя всегда под сладостную струю речи Сына Оленя. И да не слетятся мухи пустословия на мед его мудрости!

И словно торопясь опередить этих прозорливых мух, он быстро вынул из кармана глушилки и плотно ввернул их в свои уши.

Так они шли по дороге и вдруг на опушке леса увидели вот что. На ветке дикой хурмы, прячась за ее ствол, стоял человек и тянулся рукой к трем голубям, сидевшим на соседней ветке.

Один голубь был сизым, другой голубь был черным, а третий белым. Человек этот выдергивал перо из оперенья одного голубя и тут же вживлял его в оперенье второго, а перо второго в оперенье первого. Делал он это настолько ловко, что голуби, ничего не замечая, спокойно сидели на ветке, безмятежно поводя головками в разные стороны.

На глазах у изумленного Джамхуха и его друзей все три голубя стали черно-сизо-белыми.

Мало того, что человек менял перья с необыкновенной ловкостью, он это делал со вкусом, с чувством цвета и соразмерности.

И только в последний раз, когда человек вживил бывшему белому голубю черное перо, голубь что-то почувствовал и стал клювом почесывать то место, куда он вставил перо.

Человек спрыгнул с нижней ветки хурмы на землю. Тут голуби его заметили и взметнулись в небо, рывая на солнце и как бы удивляясь новому оперению друг друга.

Человек из-под руки следил за взмывающими в небо голубями.

Одно черное перо слетело и, трепыхаясь в воздухе, медленно падало на землю.

— Видите,—проговорил человек, обернувшись к Джамхуху и его друзьям,—слетело как раз то перо, которое я вживлял в последний раз. Рука устала, бываю и у меня промашки.

— Чудо,—сказал Джамхух,—как это ты ухитряешься незаметно для голубя выдернуть перо и вживить его другому голубю?

И тут человек вместо того чтобы, в свою очередь, подивиться чудесам Джамхуха, вдруг воскликнул:

— Да, такого Ловкача, как я, поди поищи!

— Я, например,—Джамхух — Сын Оленя,—сказал Джамхух,—но ни о чем таком даже помыслить не могу.

— Неудивительно,—отвечал Ловкач,—я же сказал, что второго, как я, Ловкача во всей Абхазии не найдешь!

Тут воцарилось неловкое молчание. Обьедало попытался прервать его.

— С тобой говорит,—сказал он Ловкачу,—тот самый знаменитый Джамхух — Сын Оленя.

— А с вами говорит,—отвечал Ловкач, несколько не смутившись,—тот самый знаменитый Ловкач, сын Ловкача...

— Неужели ты не слышал про знаменитого Джамхуха — Сына Оленя? — спросил Слухач.

— Неужели вы не слышали про знаменитого Ловкача, сына Ловкача? — ответил Ловкач вопросом на вопрос.

— Ну, это уж слишком, — сказал Силач и, грозно потирая руки, подступил к Ловкачу.

— Если уж Силач потирает руки, — заметил Скороход, обращаясь к Ловкачу, — лучше бы ты был Скороходом, как я.

— Стойте, друзья! — сказал Джамхух, становясь между Силачом и Ловкачом. — Я чувствую, что слава начинает меня портить. Это так, хотя и не совсем так. Джамхух от славы, видно, портится, но не совсем портится, потому что знает, что портится. И оттого, что я чувствую, что начинаю портиться, я перестаю портиться. Однако, перестав портиться, я перестаю следить за собой и начинаю снова портиться. К сожалению, такова жизнь. Жизнь — это бесконечная склонность к порче, но, что особенно важно, друзья, и бесконечная склонность удерживаться от порчи.

— Ой, что-то мудреное ты сказал, — промолвил Ловкач и вдруг, быстро сунув руку за пазуху, поймал там блоху и протянул ее Силачу. — На, — сказал он ему.

— Зачем мне блоха? — растерялся Силач.

— Ты же, говорят, Силач, вот и убей ее.

— Да ты никак смеешься надо мной! — вспыхнул Силач.

— Шутка, — сказал Ловкач и, отщелкнув блоху, спросил у Джамхуха: — А это правда, что скифы умеют подковывать?

— Да, — кивнул Джамхух, — слухи о том, что скифы могут подковать блоху, подтверждались много раз очевидцами. Скифы — удивительный народ. Они умеют подковать блоху, но лошади у них часто ходят неподкованными. Лошадей подковывать им неинтересно.

— Слушай, Джамхух, — сказал Ловкач, — я пойду с тобой. Оказывается, с тобой занятно.

— Еще был! — в один голос воскликнули друзья Джамхуха.

Джамхух объяснил ему цель своего путешествия и предупредил об опасностях, связанных с ним.

Ловкач охотно присоединился к друзьям Джамхуха, и они пошли дальше.

На следующий день на лесной лужайке они увидели охотника. Тот стоял с луком в руке и, задрожав головою, смотрел в небо. Джамхух и его спутники тоже стали смотреть в небо, но ничего там не заметили.

— Что ты видишь, охотник? — спросил Джамхух.

— Разве вы не видите, — отвечал охотник, взглянув на Джамхуха и его спутников, — что орел загнал на седьмое небо трех голубей? Голубей с таким необычным оперением я никогда не видел. Я их пожалел и поразил орла стрелой. Сейчас он падает и уже опустился до шестого неба.

— Это голуби Ловкача, — сказал Джамхух, — и это знак Великого Весовщика, что человек может быть творцом природы, если он делает это с добрыми намерениями. Но каково зрение охотника! Я дальше первого неба ничего не вижу, а он видит, что делается на седьмом небе!

— Ничего особенного, — пожал плечами охотник, — я всего лишь Остроглаз... Вот если б вы увидели...

— Больше ни слова, — сказал Джамхух, — я и есть Джамхух — Сын Оленя... Ради Великого Весовщика ни слова о моей мудрости.

— Но хотя бы то, что за пять дней, это правда? — спросил Остроглаз.

— Не за пять, а за два, но не в этом дело, — сказал Джамхух.

— Я пойду с тобой, Джамхух, — проговорил Остроглаз, — я не буду дожидаться, пока упадет орел с моей стрелой. У меня в колчане достаточно стрел, авось, я тебе пригожусь.

Джамхух рассказал ему о цели своего путешествия, и Остроглаз присоединился к друзьям Джамхуха.

На следующее утро они вышли из леса и оказались вблизи дома великанов.

Дом был огорожен частоколом, на колья которого были нахлобучены человеческие черепа.

Друзья остановились, удрученные этим мрачным зрелищем. Вдруг чья-то рука со стороны двора стала деловито снимать с кольев изгороди черепа. Сняв восемь черепов, рука эта больше не появлялась над изгородью.

— Ох, не нравится мне, — сказал Обьедало, — что освободилось восемь кольев, как раз по числу наших голов.

— Да и черное перо, потерянное голубем, ничего хорошего нам не сулит, — добавил Опивало.

— В случае чего троих-то я возьму на себя, — сказал Силач. — Но с остальными как быть?

Джамхух понял, что спутники его подавлены этой хитрой уловкой великанов.

— Друзья мои! — бодро воскликнул Джамхух. — Видно, они за нами следят из-за изгороди. Они заранее пугают нас. Но если они нас пугают, значит, они не уверены в себе. Поэтому смелей! Единственное, чего я боюсь, — это плюхнуться при виде красавицы Гунды. Силач, стой рядом со мной и незаметно поддерживай меня, если я не выдержу красоты Гунды. Вперед, и да хранит нас Великий Весовщик Нашей Совети! Будьте все начеку! Слухач, снимай глушилки со своих ушей!

Только друзья приблизились к воротам, как они со скрипом распахнулись и оттуда вышли семь братьев-великанов. Они были огромны, а на их свирепых лицах почему-то посверкивали маленькие, хитрые глазки злых карликов.

— Кто вы? — загудел страшным голосом старший из великанов. — Куда путь держите?

— Я Джамхух — Сын Оленя, — сказал Джамхух, — а это мои друзья. Я пришел сватать вашу сестру, красавицу Гунду.

— Сватать, конечно, можно, — опять загудел старший брат, — только знаете ли вы условия?

— Примерно знаем, — сказал Джамхух.

— Условия такие, — продолжал старший брат, — три вопроса по сноровке твоего ума. Эти вопросы нам составил византийский мудрец. А потом испытания для тебя и твоих друзей по телесной сноровке. Сами понимаете, нам, братьям-великанам, нелегко расстаться со своей единственной любимой сестрой. Да и знать мы хотим, что она вышла замуж за достойнейшего из женихов.

— Постараемся выполнить ваши условия, — сказал Джамхух.

— Тогда добро пожаловать, — показал старший брат рукой на ворота, что отчасти выглядело и как приглашение на частокол.

Они вошли в широкий зеленый двор, среди которого высился длинный гладкий шест неизвестного назначения. Недалеко от шеста лежала гранитная глыба. В остальном двор был как двор, только очень большой.

Джамхух сильно волновался и в то же время жадно искал глазами красавицу Гунду.

Вдруг в доме отворилась дверь, и оттуда вышла девушка изумительной красоты.

Улыбаясь Джамхуху, она спустилась с крыльца и села на стул, поставленный посреди двора одним из братьев, который до этого успел войти в дом. К ногам сестры он придвинул корзину, наполненную красными древнеабхазскими помидорами.

— Здравствуй, Джамхух — Сын Оленя! — сказала прекрасная Гунда, улыбаясь Джамхуху. — Я много наслышалась о тебе. Надеюсь, твое сватовство будет удачней, чем у этих горемык, что скалятся с нашего частокола. Я знаю о твоей мудрости, но у тебя и походка красивая, недаром ты Сын Оленя! И сам ты такой приятный, что я тебя прижала бы к себе и съела, как помидор!

— Почему как помидор? — радостно удивился Джамхух. Она была очаровательна. Красота ее волновала Джамхуха, но все же не так сильно, как портрет. Во всяком случае, терять сознание он не собирался.

— Потому что я больше всего на свете люблю наши древнеабхазские помидоры, — отвечала золотоголовая Гунда. — Братья меня кормят соловьиными мозгами и русалочьей икрой, но я больше всего люблю помидоры. Тебя это не будет смущать, если ты женишься на мне?

— Нет, — воскликнул Джамхух, восхищаясь милым простодушием Гунды, — ешь себе помидоры, сколько тебе хочется.

— Спасибо, Сын Оленя, — сказала Гунда и, достав из корзины помидор, надкусила его. — А то вот тот жених, чей череп торчит на четвертом колу справа от ворот, угрожал мне: «Я хазарский князь. Как только женюсь на тебе, я отучу тебя от этой грубой привычки». А я ему говорю: «Ты сначала выполни условия моих братьев, а потом будешь помыкать мной...» Сын Оленя, ты, говорят, мудрый, ты приятный, и я хочу выйти за тебя замуж. Пожалуйста, постарайся все сделать как надо. Мне так надоело жить вечной девственницей, окруженной черепами своих женихов!

— Для тебя, любимая Гунда, я сделаю все, что могу, — сказал Джамхух и, обращаясь к своим друзьям, смущенно переминавшимся посреди двора, добавил: — Интересное наблюдение. Когда я увидел портрет прекрасной Гунды, я потерял сознание. А когда увидел живую сладкоглазую Гунду, я не потерял сознание, хотя она мне очень понравилась. Значит, искусство сильнее жизни. Так и должно быть. Оно показывает человека в этой жизни и намекает на будущую и предыдущие его жизни. И когда мы смотрим на портрет человека, нарисованный настоящим художником, мы как бы видим его во всех трех жизнях. Поэтому впечатление от портрета должно быть сильнее, чем от самого живого человека...

— Ну что, — перебил тут его старший великан, — мы будем твои проповеди слушать или начнем испытания?

— Начнем, — сказал Джамхух, глядя на золотоголовую Гунду и наслаждаясь ее красотой.

— Прежде чем задавать вопросы, — предупредил старший великан, — я хочу дать моим братьям несколько распоряжений по хозяйству.

— Пожалуйста, — сказал Джамхух, глядя на Гунду, стыдливо уплетающую помидор и от этого еще больше хорошеющую, — так я готов ждать целую жизнь.

— Братья мои! — воскликнул старший великан. — Я, наверное, до конца испытаний уйду, неотложное дельце ждет меня. Так что слушайте мои распоряжения. Запомните, в какой очередности нахлобучивать на изгородь черепа. У самых ворот нахлобучьте череп Джамхуха: мудрой голове первое место. Осталь-

ных в порядке присоединения к Джамхуху. Так будет справедливо. Череп Скорохода поместите между его жерновами. Так будет забавно. А вот этого стрелка с луком пока не трогайте. Мы приспособим его почесывать нам спины своими стрелами.

Братья дружно расхохотались, а друзья Джамхуха заметно приуныли.

— Друзья мои, — крикнул Джамхух, — выше головы! Неужели вы не понимаете, что это он нарочно так говорит, чтобы ослабить наш дух!

— Нарочно-то оно нарочно, — сказал Обьедало, кивая на частокол, — но слова его кое-чем подтверждаются, Джамхух!

— Начинаются испытания на умственную сноровку! — крикнул старший великан. — Какой порок души самый подлый?

Все притихли, и даже золотоголовая Гунда перестала есть помидоры.

— Самый подлый порок души, — сказал Джамхух, — это нечистоплотность души, потому что в условиях этого порока возможны все остальные пороки.

— Правильно, правильно! — Гунда захлопала в ладоши. — Хотя я не понимаю, почему это так, но я все ответы знаю заранее!

— Ты не вмешивайся, — заметил старший великан. — Да, ответ правильный. У нас все честно. Второй вопрос, — сказал старший великан. — Какое животное самое стыдливое в мире?

Воцарилось напряженное молчание. Друзья Джамхуха страшно волновались за него.

— Из тех животных, что водятся в наших краях, или вообще? — не выдержал Обьедало.

— Какое животное самое стыдливое в мире? — повторил великан, не удостоивая вниманием Обьедало и в то же время показывая, что он задает глупые вопросы.

— Овца, — наконец сказал Джамхух, — самое стыдливое животное. Она прикрывает свой зад чадрой собственного курдюка.

— Правильно, Джамхух! — воскликнула Гунда и снова захлопала в ладоши. — До чего же ты умный! Так бы я тебя и расцеловала!

— Гунда, vedi себя прилично, — сказал старший великан и стал шептаться с братьями.

Спутники Джамхуха явно повеселели, а Силач, потирая руки и воинственно поглядывая на братьев-великанов, подмигнул друзьям:

— Четверых беру на себя.

— Какого человека в мире следует считать самым храбрым? — прозвучал, наконец, третий вопрос. Братья-великаны на трудность этого вопроса возлагали самые большие надежды.

Но как раз этот вопрос для Сына Оленя оказался очень легким.

— Самый храбрый в мире человек, — сразу же ответил Джамхух, — это такой человек, кто выбросил из своей жизни всякую хитрость.

— Правильно, — мрачно согласился старший из великанов, и по его глазам было видно, что сам он из тех, которые, если что и выбрасывают из своей жизни, то уж никак не хитрость. Старший великан, пошептавшись с братьями, сказал: — Мы и так знали о мудрости Сына Оленя... Переходим к телесной сноровке. Вот перед вами гранитная глыба. Или Джамхух одним ударом кинжала перерубит ее, или наши кинжалы перережут ваши глотки.

Прекрасная Гунда от волнения перестала есть помидор. Она прошептала одними губами:

— Бедный Джамхух, если бы ты знал, что достаточно волоском из моих кос провести по лезвию кинжала, как камень расколется от его прикосновения.

Слухач уловил ее шепоток и мгновенно передал



его Ловкачу. Ловкач прошел мимо Гунды и, словно отмахиваясь от комара, незаметно вырвал волосок из ее косы и, подойдя к Джамхуху, незаметно провел волоском по лезвию кинжала. Джамхух подошел к гранитной глыбе и с такой вдохновенной силой ударил по ней кинжалом, что искры посыпались из гранита, а глыба раскололась на две части, сверкая на разломе вкраплинами кварца. Джамхух, сам пораженный силой своего удара, замер над распавшейся глыбой, а потом, всовывая кинжал в ножны, сказал:

— Видно, в человеке заложены неимоверные силы, о которых он не подозревает. Надо обдумать это.

— Ну что ж, — помрачнел старший великан, — видно, дело идет к свадьбе. Попробуем вас на обжираловке и на опиваловке.

— Это мы можем, — сказал Обьедало, облизываясь.

— Горло пересохло, пить хочется, — добавил Опивало.

И тут братья-великаны зарезали двух быков, развели огонь посреди двора, целиком зажарили быков на огромных вертелах, вынесли столы и поставили на них зажаренных быков. По одну сторону сели хозяева, по другую — гости. Одного быка разделали и разделили всем поровну, а другого оставили про запас. Только все приступили к еде, как Обьедало, дожевывая свою порцию, подсел ко второму быку.

Отрезая ножом огромные ломти мяса от туши быка, он за час целиком его съел, и лишь начисто обглоданный скелет быка остался на столе. Взглянув на великанов сквозь ребра обглоданного быка, Обьедало сказал:

— Ку-ку! Не будет ли добавки?

— Добавки?! — удивились великаны и стали перелгдываться.

— С обжираловкой у вас все в порядке, — объявил старший великан, — посмотрим, как у вас с опиваловкой.

Два брата-великана вынесли из винного подвала тридцативедерную амфору с вином, прислонили ее к столу и сказали:

— Пробуйте, вино будем пить по вашему выбору. Это красное. Не понравится — вынесем амфору с белым вином.

Опивало подошел к амфоре и подмигнул Силачу:

— Подсоби-ка, браток!

Силач приподнял амфору, осторожно наклонил ее и начал вливать вино в разинутый рот Опивала. Минут через пятнадцать, к великому изумлению великанов, Силач запрокинул амфору, и последняя струйка вылилась в рот Опивала. Силач откатил опустевшую амфору, а Опивало, утираясь, посмотрел на великанов и сказал:

— Ну что? Красное вино неплохое. Попробуем теперь белое.

— Тридцативедерную амфору на пробу?!— воскликнул старший великан.— Нет, у них с-опивалов-кой обстоит еще лучше, чем с обжираловкой.

— Протестую,— вскинулся Обьедало,— обжираловка ни в чем не уступает опияловке.

Братья-великаны заметно погрустнели и стали о чем-то перешептываться. Друзья Джамхуха окончательно взбодрились.

— Если что не так,— громко сказал Силач,— считайте, друзья, что пятерых великанов я рядом уложил посреди двора. Ты, кажется, спешил,— напомнил он старшему брату великанов,— не пора ли тебе уходить?

— Я откладываю свои дела,— мрачно ответил тот.

Он устал куда-то одного из своих братьев; и тот через некоторое время возвратился с древней старухой. Старший великан представил ее друзьям.

— Это старуха по прозвищу Страусиная Нога,— сказал он.— Сейчас мы проверим вас на проворство. Пусть ваш Скорород побежит наперегонки с нашей старухой.

— Но где же мы будем бежать?— засмеялся Скорород, добродушно глядя на старуху.

— Вот южные ворота,— сказал старший великан,— до самого моря здесь открытое место. Двадцать тысяч шагов туда и столько же обратно.

— Нехорошо,— возразил Джамхух,— старую женщину заставлять бегать, как девочку.

— Это не ваша забота,— ответил старший великан, и все пошли к южным воротам.

— Прямо-таки мне жалко эту старушеницу,— сказал чувствительный Скорород, когда они вышли за ворота.— Она похожа на мою бабушку, а я должен с ней бежать наперегонки.

По знаку старшего великана старуха Страусиная Нога и Скорород побежали. Безобразно вскидывая мускулистые ноги, старуха мчалась за Скорородом, при этом, к удивлению друзей Джамхуха, не очень от него отставала. Правда, Скорород то и дело оборачивался, не в силах скрыть улыбки при виде столь престарелой, но все еще очень бодрой соперницы. Вскоре бегуны скрылись из глаз, и оставшиеся, поглядывая на солнце, стали их дожидаться. Но они что-то слишком долго не возвращались.

А между тем вот что случилось с бегунами.

Скорород, добежав до моря, сел на песок в ожидании старухи. Наконец, она прискакала, уселась возле Скоророда и, тяжело дыша, проговорила:

— Уморила я, сынок, пожалей меня. Все равно ты проворней. Давай лучше посидим на теплом песочке, и я поищу у тебя в волосах. А потом побегим назад.

— Хорошо, Страусиная Нога,— сказал Скорород,— недаром я заметил, что ты похожа на мою бабушку. В детстве я так любил полежать на коленях у бабушки, а она в это время искала у меня в волосах. Но бедная моя бабушка умерла...

— Вот и лежи,— ласково промурлыкала Страусиная Нога, придвигаясь к нему поближе,— а я поищу у тебя в волосах.

Скорород разлегся на песочке, положив голову на колени старухе, и она стала искать у него в волосах. Пригретый солнцем, под мерный шум волн Скорород уснул. Этого-то Страусиной Ноге и надо было. Оказывается, под фартуком у нее были припрятаны курица и зерна проса. Она достала пару пригоршней и густо посыпала ими голову Скоророда. А потом вытащила курицу, и та стала склевывать зерна с его головы. Старуха осторожно переложила голову Скоророда на песок. А он себе спит, а курица поклеивает зерна у него в голове, и ему во

сне кажется, что это Страусиная Нога ищет у него в волосах.

И вот Страусиная Нога припустила назад, вскидывая свои безобразные мускулистые ноги, а Скорород все спит, а старуха уже настолько приблизилась к дому великанов, что ее стало хорошо видно, а Скорород все спит.

Великаны громкими, радостными криками начали приветствовать и взбадривать ее.

— Ну еще немного поднажми!— орали они и свистели.

— Слухач!— воскликнул Джамхух.— Послушай, что там случилось?

Слухач приник головой к земле.

— Я слышу хrap, который доносится с моря.

Остроглаз, поставив козырьком ладонь над глазами, сказал:

— Да, он лежит на берегу, и курица что-то склевывает у него с головы. А что — не могу разобрать.

— Дело за тобой!— крикнул Джамхух, видя, что старуха уже совсем приблизилась.

Остроглаз быстро вынул из колчана стрелу, приладил ее к тетиве, натянул тетиву, тщательно прицелился и спустил стрелу. Стрела, просверкнув в воздухе, долетела до моря и вонзилась в курицу. Курица забилась и ударами крыльев по голове Скоророда разбудила его.

Скорород вскочил, не понимая, куда делась старуха, откуда взялась пронзенная стрелой курица и почему его голова посыпана зернами проса. Он замотал головой, стряхивая зерна и остатки сна. Тут он понял, что Страусиная Нога его обманула.

— Хайт!!!— вырвалось у него гневное абхазское восклицание. Он сдернул с ног жернова, вскочил и с быстротой ветра помчался назад.

Через несколько мгновений он обогнал старуху и так разогнался, что чуть не перелетел через ворота, но тут Силач схватил его на лету и, ставя на землю, сказал:

— Друзья, считайте, что пятеро уже рядом лежат посреди двора, а остальные сбежали.

Вскоре, тяжело дыша, прибежала и старуха.

— Молодец, Страусиная Нога,— зло прошипел старший великан,— на таких состязаниях и второе место почетно.

— Я сделала все, что могла,— сказала старуха, с трудом переводя дыхание.

— Ах ты, старая обманщица!— крикнул Скорород.— Сейчас же пойдй и принеси мои жернова, раз мне из-за тебя пришлось их бросить.

Тут старуха стала ругаться, что Скорород не чит абхазские обычаи, по которым старого человека надо уважать, а не держать его на побегушках. Но Сын Оленя вступился за Скоророда.

— Абхазы потому и чтут старость,— сказал он,— что старость, по нашим понятиям, возраст мудрости, справедливости, несуетности. А старость, сама не уважающая себя, не достойна уважения других. Раз ты суеулила и обманывала нашего Скоророда, пользуйся его доверчивой чувствительностью, посуеуись еще немного и принеси его жернова.

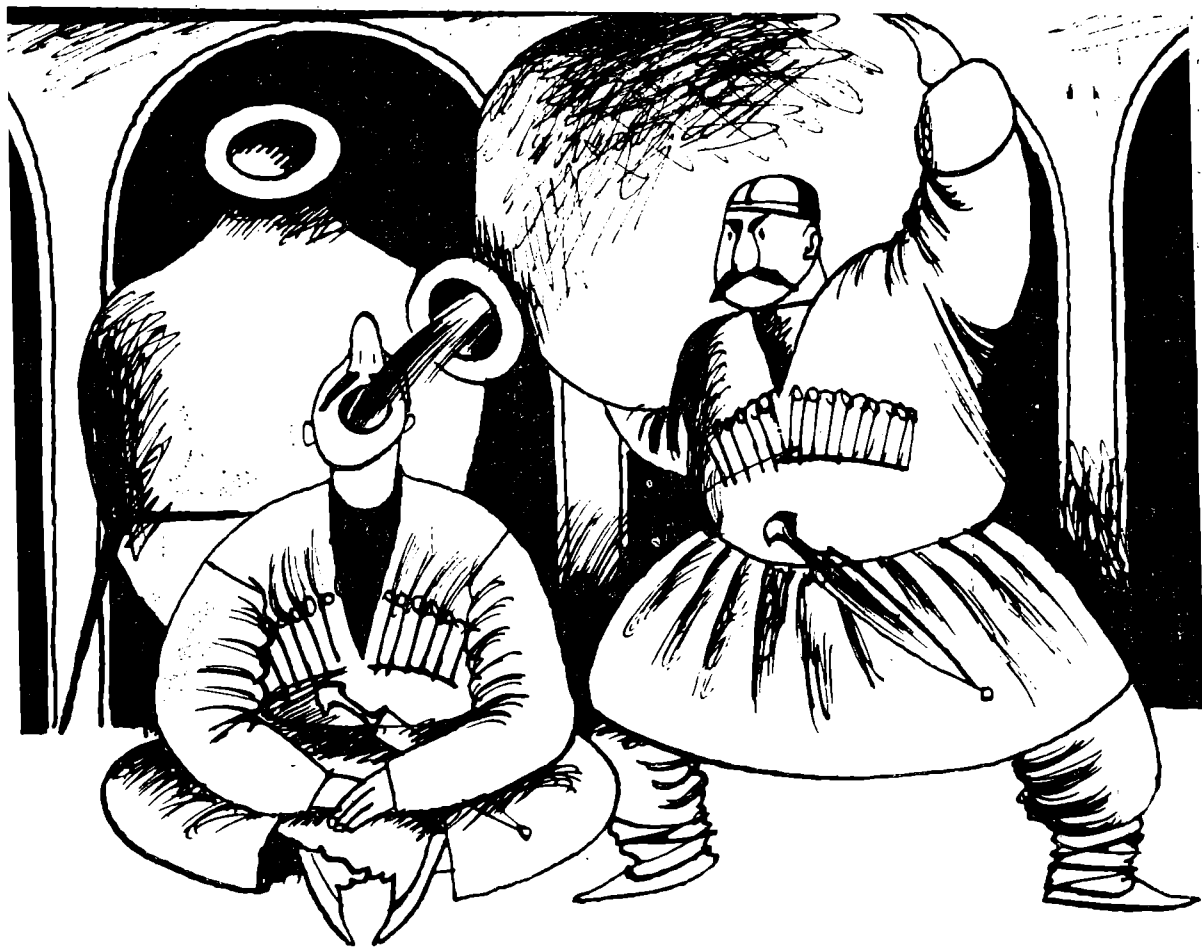
Старуха посмотрела на братьев-великанов.

— Ступай, ступай,— сказал старший,— раз ты ни на что другое не пригодна.

И старуха Страусиная Нога, ворча, поплелась в сторону моря.

— Где только вы ее выкопали?— спросил Обьедало.

— Да здесь в лесу живет,— морщась, сказал один из братьев,— местная ведьма. Иногда помогает нам по хозяйству, иногда по ведьминским делам. Но толку от нее мало, совсем из ума выжила.



Братья-великаны вместе с Джамхухом и его друзьями вошли во двор.

— Ладно, — сказал старший великан, кивая на длинный шест, стоявший посреди двора, — пусть теперь Джамхух напоследок покажет свою телесную сноровку. Этот шест длиной в сто локтей. Если Джамхух влезет на вершину шеста, держа на голове горшок, наполненный кипятком, а потом слезет с шеста, не пролив ни капли, — отдаем сестру.

Вскипятили воду, перелили ее в глиняный горшок и поднесли Джамхуху, который, разувшись, стоял у шеста. Джамхух поплевал на руки, поставил на голову поверх войлочной шапки горшок и осторожно стал карабкаться к вершине шеста. А великаны сгрудились под шестом и, выставив ладони, ожидали, не капнет ли сверху.

— Сын Оленя, не облейся кипятком! — крикнула снизу золотоголовая Гунда. — А то у моего мужа будет некрасивое лицо! Но с другой стороны, если ты прольешь кипяток, то ведь не сможешь быть моим мужем? Ой, Джамхух, что-то я запуталась. Объясни мне, в чем моя ошибка?

— Милая Гунда, — сказал Джамхух, продолжая осторожно карабкаться наверх, — ты, сама того не желая, отвлекаешь меня.

— Ну, тогда я съем еще один помидор и пожелаю тебе удачи! — воскликнула очаровательная Гунда и вонзила свои жемчужные зубы в красную мякоть помидора.

— Клянусь той, — шепнул друзьям Обьедало, — на шее которой я хотел бы быть повешенным, эта Гунда не отличается большим умом.

— Большим умом! — язвительно подхватил Олива-ло. — Да скорее дятел достучится до сотрясения мозга, чем наш Джамхух достучится до ее ума!

— Все-таки она не крикунья, как моя жена, — примирительно сказал Силач, — а лицом куда красивей!

— При этом учтите, — добавил Остроглаз, — она ничего хорошего в своей жизни не видела, кроме оскаленных черепов этих горемык.

— Оказывается, даже великий мудрец, — с горечью вздохнул Слухач, — глохнет от любви. Все, что ни брякнет Гунда, нашему Джамхуху кажется милым.

— Ничего, — сказал Ловкач, — если она окажется плохой, я ему так подменю жену, что он даже не заметит.

— Друзья мои, вы совсем неправы! — завопил Скореход. — Гундочка такая хорошенькая, такая миленькая, такая очаровушечка, что я счастлив за нашего Джамхуха! А ум женщине только во вред! У Джамхуха ума хватит не только на Гундочку, но и на всю нашу Абхазию.

Когда Джамхух добрался до вершины шеста, вдруг раздался его тоскливый крик, а через несколько мгновений великаны, с вытянутыми ладонями стоявшие под шестом, стали приплясывать от радости.

— Закапало! Закапало! — кричали они. — А небо синее, так что на дождик не свалишь!

Друзья Джамхуха помрачнели.

Сын Оленя слез с шеста, отдал горшок великанам и молча, ни на кого не глядя, стал обуваться.

— Ты пролил воду, — сказали братья-великаны, протягивая ему свои ладони.

— Нет, — ответил Джамхух с неимоверной печалью, — я ничего не пролил. Я только увидел с вершины шеста, как волки растерзали мою мать-олениху. И я закричал и заплакал от боли.

Великаны лизнули ладони и убедились, что влага на них соленая.

— Да, — сказал Джамхух, — слезы — это кровь души, и потому они соленые, как кровь.

— Что же делать, милый Джамхух, — проговорила прекрасная Гунда, надкусывая помидор, — у оленей такая судьба. Или их волки задирают, или убивает охотник.

— Да, но эта олениха была моя мама, — сказал Джамхух, — она выкормила меня в лесу. Она становилась на колени, когда я был так мал, что не мог достать до ее вымени... А ты, любимая Гунда, могла бы отложить помидор по случаю такого несчастья...

— Но, милый мой Джамхух, — воскликнула золотоголовая Гунда, — какое имеет отношение одно к другому? Я жалею твою маму-олениху, но ведь если я перестану есть помидоры, она не оживет?

— Любимая Гунда, ты еще так неразвита душой... Но ничего, я тебе помогу, — промолвил Джамхух и посмотрел на Гунду долгим, печальным взглядом.

Гунда тоже посмотрела на него недоумевающим взглядом, как бы спрашивая, может ли она теперь есть помидоры и, если не может, то до каких именно пор.

— Да, не оживет моя мать-олениха, — грустно сказал Джамхух, — можешь есть свои помидоры, милая Гунда.

— Ну что ж, — объявил старший великан, — ты все выполнил. Наша сестра — твоя. Теперь мы должны устроить пиршество по случаю расставания с нашей единственной радостью, нашей любимой сестрой.

Но старший великан, впрочем, как и все остальные, был коварен и вероломен. Он шепнул братьям, чтобы они во время пиршества поставили Джамхуху и его друзьям отравленные блюда. Нет, не хотели братья-великаны расставаться с любимой сестрой!

Слухач, который ни на минуту не затыкал своих ушей глушилками, все услышал и передал Ловкачу. Ловкач перед началом пиршества все отравленные блюда переставил великанам, а великаны переставили друзьям.

Старуха Страусиная Нога, принеся жернова Скорохода, пыталась помогать накрывать столы, но братья-великаны, рассерженные за ее неудачный забег, прогнали ее.

Печально сидел Джамхух рядом со своей очаровательной невестой. В глубоком раздумье он не замечал ничего, что делается вокруг.

— Одного я никак не пойму, — сказал он, думая о своем, — как моя мать-олениха могла оказаться здесь? Ведь она всегда паслась только в окрестностях Чегема.

К середине пиршественного обеда братья-великаны стали замертво валиться. Одни навзничь, другие головой на стол.

Джамхух оглядел их грустным взглядом, все понял и, посмотрев на Ловкача, сказал:

— Грубовато!

— Уж как мог! — самолюбиво вспылал Ловкач, решив, что, по мнению Джамхуха, он недостаточно ловко переставлял блюда.

Но самом деле Джамхух имел в виду самую правду с братьями-великанами.

— Наверное, моих братьев бог наказал, — пожаловалась золотоголовая Гунда, вовсе ничего не понимая, — за то, что они так долго не выдавали меня замуж.

— Не надо так говорить о своих братьях, — сказал Джамхух, — хотя они и были настоящими злодеями. Люди их сами осудят. Не дело сестры осуждать братьев, тем более, когда они мертвы. А нам, друзья, не годится есть за этим столом! Пусть мертвых похоронят живые, которых мертвые хотели сделать мертвыми, когда сами были живыми!

Друзья Джамхуха похоронили братьев-великанов там, где посреди двора лежала надвое расколотая гранитная глыба.

Дом великанов Джамхух велел разрушить. Силач ударом ноги вышиб из-под дома две каштановые сваи, и дом рухнул, подняв над собою тучу пыли.

Частокол с черепами женихов Джамхух велел оставить как вечный памятник человеческой жестокости. По прошествии нескольких веков часть его обрушилась и сгнила, но часть осталась, и византийские ученые спорили, какому исчезнувшему племени принадлежит этот необычный способ захоронения.

Но вернемся к Джамхуху. Друзья раздобыли лошадей в ближайшей деревне, посадили на нее золотоголовую Гунду и пустились в обратный путь.

Скороход, конечно, немножко влюбился в Гунду. Он выпросил у Джамхуха право нести корзину с помидорами рядом с лошадью. И каждый раз по ее просьбе он подавал ей помидор, предварительно вытерев его о гриву лошади.

Когда они проезжали мимо села, где жили молодой князь и знаменитый виноградовец, Гунда, зардевшись, вдруг сказала Джамхуху:

— А ты знаешь, милый Джамхух, меня почти что сватал князь.

— Почему почти? — спросил Джамхух, чувствуя укол ревности и удивляясь ему.

— Потому что он со свитой подъехал к нашему дому на верблюде, — отвечала Гунда, — на верблюде он подъехал, чтобы из-за высокого частокола увидеть меня. Братья его пригласили во двор, они даже сказали, что облегчат ему условия сватовства, учитывая его высокое происхождение. Но он так и не въехал, хотя я ему очень понравилась, да и он красавец! «Я единственный племянник бездетного царя, — сказал он. — Когда я буду царем, я и так возьму ее силой!» «Силой мы ее тебе не отдадим», — сказали братья, и он уехал. Братья мои тогда очень удивились такой его откровенности.

— Иногда человек бывает в чем-то очень откровенным, — проговорил Джамхух, — чтобы в чем-то другом иметь возможность быть очень скрытным.

— Абхаз, который не постыдился сестры на верблюде, — заметил Опивало, — не постыдится и сестра на трон незаконным путем.

— Хочу быть повешенным на шее той, которая сейчас дома тоскует обо мне, — сказал Обьедало, — если Опивало на этот раз не прав!

— А что тут постыдного? — вступилась за князя Гунда. — Он это сделал, чтобы увидеть меня. А ты, Опивало, просто ревнуешь верблюда, потому что он может выпить воды больше тебя!

— Верблюд — больше меня?! — задохнулся от возмущения Опивало. — Да скорее дятел, долбящий дерево...

— Не спорьте, друзья, — остановил их Джамхух, — но должен сказать, что мой друг Опивало проявил немалую проницательность в понимании души властолюбцев.

— Оставьте князя, — вздохнула Гунда. — Он же-



нился в прошлом году. Жена у него, правда, знатная, но совсем даже некрасивая... Все говорят...

Тонкий слух Слухача ужасно покорило неуместное напоминание Гунды о сватовстве князя. Он был возмущен — ведь это же ясно как божий день: не приди Джамхух со своими друзьями, Гунда была бы навеки обречена жить без мужа!

— Что такое неблагодарность, Джамхух? — спросил Слухач, по этому поводу вынимая глушилки из ушей. Он твердо придерживался своего правила, что мудрость надо выслушивать в непрощенном виде.

— Неблагодарность, — сказал Джамхух, — это роскошь хама.

— Или хамки, — добавил Слухач.

— Или хамки, — согласился Джамхух, не понимая намека.

— А что такое благородство?

— Благородство, — сказал Джамхух, — это взлет на вершину справедливости, минуя промежуточные ступени благоразумия.

— Та птица, о которой я думал, — продолжил Слухач, — так высоко не летает, если летает вообще.

— Да, — грустно произнес Джамхух, — благородство не слишком часто встречается.

— А что такое скромность, Джамхух? — не унимался Слухач.

— Скромность, — сказал Джамхух, немного подумав, — это очерченность границ достоинства. Не-

скромных, крикливых, как базарные зазывалы, людей, хвастающихся обилием своих достоинств, мы вправе заподозрить в отсутствии всякого достоинства. Помните, друзья, несуществующие достоинства легко преувеличивать... Но скромность должна быть скромной. Скромность, слишком бьющая в глаза, это вогнутая наглость.

— А вот что такое грубость, Джамхух? — вдруг спросил Обьедало, при этом многозначительно косаясь на Опивало.

— Грубость — это забвение вечности, — сказал Джамхух и замолк, словно погрузившись в эту самую вечность.

— О, мои уши! — воскликнул Слухач. — Вы внюхиваетесь в речи Джамхуха, как в розы Хорсана, и при этом сами расцветаете, как розы!

И будто опасаясь, что розовое масло мудрости выльется из его ушей, он осторожно и тщательно закупорил их глушилками.

— Наконец-то мне ясно, Опивало, — укоризненно сказал Обьедало, — почему ты так часто грубишь мне. Ты забываешь о вечности, а это с твоей стороны очень даже некрасиво.

— Это я забываю о вечности? — как громом пораженный, воскликнул Опивало и даже остановился от возмущения. — Да если ты хочешь знать — думать о вечности это мое самое любимое занятие. А после хорошей выпивки я прямо чувствую, что

вечность внутри меня. Не скрою — приятное, бодрящее чувство.

Такое панибратское, сокувшинное отношение к вечности вывело из себя даже добродушного Оливало.

— Вы послушайте, что он говорит! — хлопнув в ладоши, закричал он. — Это ты должен быть внутри вечности, а не вечность должна быть внутри тебя! Правда, Джамхух?

— Ты прав, — отвечал Сын Оленя. — Оливало, конечно, шутит. Но многие из сильных мира сего и в самом деле так важничают, как будто бы они проглотили вечность, а не вечности предстоит их поглотить.

— Вот землеед, — почти запрокидываясь от хохота, воскликнул Оливало, — опять шутки не понял! Здорово же я тебя подцепил!

— Нет, ты не шутил! — взволнованно возразил Обьедало, — я же точно знаю, что ты не шутил! Клянусь...

Но тут Оливало перебил его и с притворным ужасом прикрыл уши.

— Слухач, — взмолился он, — подай мне свои глушилки скорей! А то он сейчас поклянется той, на шее которой и я умру на месте. С хорошеньким подарком вы придете тогда на свадьбу Джамхуха!

— Нет уж, не надо нам таких подарков, — вдруг сказала прекрасная Гунда и, с лошади посмотрев на Скорохода, добавила: — Выбери-ка мне помидор покрупней. Убей меня Великий Весовщик, если я понимаю, о чем они тут спорят...

Скороход достал из корзины большой помидор, вытер его о гриву лошади и преподнес Гунде.

— Вот и я как раз хотел поклясться Великим Весовщиком, а не моей женушкой, — обратился Обьедало к своему насмешнику. — Так что очень даже глупо ты смеялся надо мной. Глупо и невпопад!

— Ага, — не унимался Оливало, — на этот раз ты хотел быть повешенным на шее Великого Весовщика! Мало всяких нечестивцев висят на его шее! Только тебя там и не хватало!

— Я так считаю, — вдруг вмешался Силач, — что у Великого Весовщика шея куда крепче моей. Вы думаете, я Силач? Нет! Это он — настоящий Силач!

Через неделю друзья пришли в Чегем, где Джамхуху была устроена замечательная свадьба, длившаяся три дня и три ночи. На ней пировали, пели и плясали все чегемцы. К концу третьей ночи уже и Обьедало не мог съесть ни кусочка мяса, а Оливало просто упился.

Джамхух одарил своих друзей подарками и положил им в дорожные хурджины всякие сладости для тех, у кого были дети.

И вот пришло время расставаться. У Сына Оленя и его друзей были слезы на глазах. Скороход откровенно рыдал. Джамхух крепко обнимал своих друзей и по три раза (опять почему-то три раза!) целовался с каждым из них. Сначала он целовался с Обьедалом, потом с Оливалом, потом со Скороходом, потом с Силачом, потом со Слухачом, потом с Ловкачом, а потом, наконец, с Остроглазом.

— Довольно целоваться с друзьями! — кричали чегемцы. — А то на жену не хватит поцелуев!

— Это совсем другое дело, — отвечал Джамхух — Сын Оленя. — Мне кажется, дни путешествия к моей возлюбленной Гунде были самыми счастливыми в моей жизни с людьми. До свиданья, друзья!

— До свиданья, Сын Оленя, — отвечали друзья, — счастливой тебе жизни с золотоголовой Гундой! Если что — дай знать! Чем можем — поможем!

— Джамхух! — крикнул напоследок Скороход. — Можно я вас буду навещать? Я ведь быстрый — одна

нога здесь, другая там! Я буду приносить Гундочке помидоры. Помидоры идут к ее золотым волосам!

— Конечно, приходи, когда можешь, — отвечал Джамхух, и друзья, то и дело оглядываясь и размахивая руками, скрылись на верхнечегемской дороге. Итак, Джамхух стал жить с прекрасной золотоголовой Гундой.

Джамхух горячо любил свою жену, и счастье его казалось безоблачным. В первый год их жизни в Чегеме каждую неделю к ним приходил Скороход и приносил большую корзину, наполненную румяными древнеабхазскими помидорами. Так что Гунда не замечала, что в горном Чегеме помидоры не вызревают.

Через год чувствительный Скороход влюбился в черкешенку, жившую за Кавказским хребтом, и стал все реже и реже приходиться с помидорами. И Гунда возроптала.

— Меня братья кормили русалочьей икрой и соловьиными мозгами, — говорила она Джамхуху, — а ты даже помидорами не можешь меня обеспечить.

— Что же делать, милая Гунда, — отвечал ей Джамхух, — если у нас в Чегеме помидоры не вызревают.

— Тогда давай жить в долинном селе, — сказала Гунда.

— Нет, — не соглашался Джамхух, — я не хочу покидать дом моего отца Беслана. Да и люди, приходящие за советами и предсказаниями, привыкли видеть меня здесь.

Впрочем, Гунда довольно скоро приспособилась брать подарки в виде корзин с помидорами у людей, приходящих к Джамхуху за мудрым советом. Об этом, как водится, знали все, кроме самого Джамхуха. Он думал, что эти помидоры люди приносят из преклонения перед красотой Гунды.

Джамхух очень любил детей, но Гунда почему-то не могла родить.

— Как ты, мудрец, не понимаешь, — говорила она, — что у самой красивой женщины и самого умного мужчины не может быть детей. Природа не может соединить в одном ребенке твой ум и мою красоту. Это ей не под силу.

— А я бы хотел обыкновенных детей, — задумчиво отвечал Джамхух, — вроде тех, что у Силача моего я видел...

— Мало ли что нам хочется, — ворчала Гунда, — надо примириться с тем, что мы неповторимы.

Джамхуху ничего не оставалось, как примириться. Он все же очень любил свою золотоголовую Гунду.

Много людей приходило к Джамхуху иногда с забавными просьбами, иногда с горестным недоумением, иногда за мудрым советом, а иногда просто черт знает за чем! С годами Гунде стали ужасно надоедать бесконечные посетители Джамхуха.

— Ну что, что приперлись опять? — говорила она ходокам, когда Джамхуха не было дома.

— У нас мулица ожеребилась, — случалось, говорили ходоки, — к чему бы это?

— Великий Весовщик! — кричала Гунда. — Они меня ополоумят! Ожеребилась — ну и хорошо!

— Нет, не хорошо, — сдержанно, но твердо отвечал один из ходоков, — не положено по природе. Хотим узнать, что предзнаменует?

— Великий Весовщик! — надрывалась Гунда. — Ходоки замучили! Оставьте корзину с помидорами и убирайтесь в котловину Сабида, он там коз пасет!

Но так как число людей, приходивших к Джамхуху, намного превосходило ее потребность в помидорах, Гунда частенько пилила Джамхуха, что он мало времени с ней проводит.

Однажды, когда она его так ругала, пришел человек

посоветоваться, как ему быть с пчелиным роем, который вылетел из улья и прицепился к высокой ветке орехового дерева.

Выслушав ходока, Джамхух ему доверительно сказал:

— Женщина хочет, чтобы время любви превосходило пространство жизни. Но ведь это нелепо?

— Нелепей и не придумаешь, — поспешно согласился посетитель и ушел, решив, что Джамхух слегка спятил.

— Где мой рой и где женщина, которая хочет любви? — удивлялся он, разговаривая с односельчанами, и те пожимали плечами, высказывая разные соображения по этому поводу.

Так они жили четыре года и четыре месяца, и тут вдруг случилось необычайное событие. Абхазский царь, приехавший в село Дал на праздник открытия Храма Великому Весовщику Нашей Совести, внезапно скончался в доме своего племянника, где он гостил.

Молодой князь сел на престол. И хотя его звали абхазским именем Кобзач, он, подражая византийским императорам, нарек себя Феодорием Прекрасным.

Года два народ присматривался к нему, называя то старым именем, то новым, а потом прозвал его Тыквоголовым Красавчиком и больше никак его не называл.

В один прекрасный день дюжина придворных людей во главе с визирем приехала к Джамхуху. Кто из придворных держал за поводья лошадей с богатым женским седлом. Джамхух сразу все понял, душа у него сжалась от боли, но делать было нечего, гости спешили и вошли в дом.

— Джамхух, — сказал визирь, — наш царь Феодорий Прекрасный давно любит золотоголовую Гунду. Только необходимо блюсти себя для абхазского престола не позволять ему сразиться с братьями-великанами. Теперь пришел его час. Ты должен отдать царю прекрасную Гунду, иначе царь пойдет войной на Чегем. Неужели ты, вечно призывавший всех к миру, будешь способствовать тому, чтобы лилась наша абхазская кровь?

— Но ведь царь женат, — изумился Джамхух, — я даже слышал, что у него недавно родился сын?

— Да... — сказал визирь. — У него родился сын, и он наречен Георгием. Но какое это имеет значение? Разве ты не знаешь, что византийские императоры женятся столько раз, сколько хотят? А мы должны учиться у нашего великого соседа Византии, самого культурного государства в мире.

Джамхух задумался. Потом долгим взглядом посмотрел на Гунду. Он понял, что она хочет уйти к царю. Душа у Джамхуха обливалась кровью. Но он был горд, Сын Оленя, и хотел, чтобы Гунда сама предпочла его царю.

— Что ж, берите ее, — сказал Джамхух, — раз она так хочет.

— Но разве я говорила, что хочу покинуть тебя, Джамхух? — воскликнула Гунда и вся раздурманилась.

— Милая Гунда, — сказал Джамхух, — ты забыла, что я Сын Оленя, я знаю язык глаз... Твои медоносные глаза мне все рассказали...

— Ради интересов Чегема, — прошептала Гунда и опустила свою прелестную головку.

— Да, — подтвердил визирь, — интересы народа превыше всего.

— Тебе останется мой портрет, — сказала Гунда, — ты будешь жить с моим портретом.

— Да, — согласился визирь, — портрет можешь оставить. У нас много придворных художников.

— Хорошо, — сказал Джамхух, — я буду жить с твоим портретом.

На прощание Гунда поцеловала Джамхуха, и не было поцелуя горше, потому что Джамхух почувствовал его благодарную нежность.

Гунде подвели чистокровного арабского скакуна, и, когда визирь подставлял ее ноги стремя, он не удержался и кивнул на стремя:

— Чистое золото.

— Сын Оленя, не скучай, — сказала Гунда, удобнее усаживаясь в седло, — почаще смотри на мой портрет.

Придворные вместе с Гундой скрылись на нижне-чегемской дороге. Джамхух постоял, постоял посреди двора, а потом вздохнул и зашел в дом.

Чегемцы долго обсуждали это событие, жалея Джамхуха и высказывая разные предположения.

— Вообще, — говорили они, — вести в дом рыжую — все равно что поджечь его. Уж лучше прямо сунуть горящую головешку под крышу, чем вводить в дом рыжую...

— Надо было повоевать с Тыквоголовым, — говорили другие, — напрасно наш Джамхух ее уступил...

— Как же воевать, — говорили третьи, — если Джамхух сам приторочил корзину с помидорами к ее седлу.

Это было явной выдумкой. Никакой корзины с помидорами Джамхух не приторачивал к седлу Гунды. Он, конечно, тосковал по своей Гунде, но никогда ни один человек не услышал от него ни одной жалобы.

Только однажды, сидя перед очажным огнем в кругу чегемцев, он вдруг подумал вслух:

— Оказывается, пустую душу нельзя ничем заполнить. Пустота духа — это вещество, которое нам неизвестно. И если вещество пустоты заполняет душу, душа заполнена. А заполненное уже ничем нельзя заполнить.

— Не убивайся, Сын Оленя, — сказал старый чегемец, — ты еще совсем молод, у тебя все впереди.

— Маму-олениху жалко, — ответил Джамхух, — она хотела меня догнать и остановить, но, забыв об осторожности, погибла... — Он вспомнил своего приемного отца, старого охотника Беслана, и, вздохнув, добавил: — Когда все, что мы любим, на том свете, время работает на нас: мы приближаемся к любимым.

Больше Джамхух никогда не проговаривался о том, что у него на душе. Время, конечно, великий лекарь, но лечит оно кровопусканием, как тот диоскуриец, которого пригласили к отцу Джамхуха.

Три года Сын Оленя жил с портретом золотоголовой Гунды. Но от портрета даже самой красивой девушки дети, как известно, не рождаются.

В один прекрасный день Джамхух созвал чегемцев, развел костер посреди двора и бросил в огонь портрет прекрасной Гунды.

— Красота лица, — сказал Джамхух, — должна быть равносильна красоте души, иначе красота — ложь и художество — суета.

— Это он так говорит, — высказался наиболее догадливый чегемец, — потому что жениться хочет.

И в самом деле через полгода Джамхух женился на простой чегемской девушке, и у него со временем родилось трое детей. Сначала у него родились два мальчика, а потом родилась девочка. Старшего мальчика нарекли Эснатом, младшего Гидом. А потом пришла в мир ненаглядная утешительница Джамхуха в минуты грусти, хохотушка Тата.

С годами слава Джамхуха все росла и росла. Он не только давал советы и делал прорицания, но иногда мирил враждующие роды и даже племена. Ему удавалось силой мудрости то, что не удавалось силой оружия царю.

Царь Феодорий, конечно, злился на него, но сначала скрывал, что может завидовать простому пастиху. Он решил прославить себя военным подвигом и снарядил большой флот для завоевания Лазии. Однако флот не достиг берегов Лазии, в открытом море его сокрушила буря.

Царь Феодорий Прекрасный, узнав о гибели флота, пришел в великий гнев. Он метался по дворцу, громко крича:

— И это море называют Хорошим?! Это плохое море! Проклятое море! Отныне я его переименую! Оно будет называться Черным морем! Пусть гонцы разведутся по всей Абхазии и велют народу отныне называть это море Черным!

И гонцы разъехались по всей Абхазии и во всех городах и селах объявили народу новое название моря. Но люди смеялись над царем.

— Тыквоголовый совсем спятил! — говорили они, хохоча. — Разве море можно переименовать? Тогда уж пусть он заодно переименует и небо!

Новое название моря было нелепым потому, что каждый видел, что море синее, а он его называет Черным. Сначала люди, жившие на побережье, в шутку, смеясь над Тыквоголовым, повторяли:

— Ну, как там Черное море — не посинело? Не пора ли выходить рыбачить?

Люди смеялись, смеялись, шутили, шутили и до того дошутились, что сами привыкли и уже всерьез стали называть море Черным. На этом основаны многие победы глупости.

Царь Феодорий был очень доволен, что новое название моря принято народом.

— Переименовать море, — говорил он, — еще не удавалось ни одному царю. На такое был способен только бог Посейдон, и то в древнегреческие времена.

А между тем с другой стороны моря — там, где была Византия, — его продолжали называть Понтом Эвксинским, то есть Хорошим морем. Византия восприняла новое название моря как удар по своему престижу и затаила гнев на царя Феодория Прекрасного. Но он этого не понял и, как принято было среди абхазских царей, воспитывал своего сына при дворе византийского императора.

А слава Джамхуха — Сына Оленя росла и росла, и это отравляло жизнь Тыквоголового. Он искал способа, как бы опозорить Сына Оленя, и наконец вот что придумал. Он созвал придворных и сказал:

— Народ считает Сына Оленя мудрым и праведником. Но может ли считаться мудрецом человек, который, просыпаясь, каждое утро по своей дикой оленьей привычке начинает жевать жвачку? Мы об этом узнали от нашей возлюбленной царицы, которая ушла от него не только потому, что любила меня, но и потому, что не сумела отучить его от этой привычки. Разошлите гонцов по всей Абхазии, и пусть люди знают, чем занимается лжемудрец, просыпаясь по утрам.

Все гонцы, кроме главного гонца, разошлись по всей Абхазии. Главным гонцом в это время был Скороход. Его привлекла ко двору золотоголовая Гунда. Скороход, прекрасно зная, что Джамхух никакой жвачки не жует по утрам, и любя Джамхуха, не мог распространять такую ложь. Но и правду говорить не осмеливался. Поэтому он притворился, что жернов на его правой ноге натер ему щиколотку и он не может покинуть дворец.

Разосланные по всем городам и селам Абхазии гонцы рассказывали народу, что Джамхух — Сын Оленя, просыпаясь, по утрам жует жвачку. Но народ спокойно отнесся к этому известию.

— Да врет она все, — говорили одни, выслушав гонцов, — тоже еще царица! Мы же помним, как она взятки брала помидорами.

Другие, выслушав гонцов, говорили:

— Мы знаем, что у мудрецов бывают странности. Он и абхазский язык выучил за пять дней, а говорит, что за два. Но какое это отношение имеет к его мудрости? Пусть себе жует жвачку на здоровье, лишь бы помогал нам советами и предсказаниями.

Однажды Скороход явился к Джамхуху и сказал:

— Сын Оленя, Гунда клянется всеми святыми, что она никогда не говорила царю таких глупостей.

— Я рад, что у Гунды появились святые, — ответил Джамхух, — и я верю ей. А слухи, которые распространяет Тыквоголовый, меня нисколько не беспокоят. Передай царскому двору: «Те, что жуют жвачку, в тысячу раз лучше тех, что пережевывают собственную глупость».

— Вплоть до царя? — спросил Скороход.

— Начиная с царя, — поправил Джамхух.

— Ой, боюсь я за тебя, — вздохнул Скороход, — не буду я этого говорить.

— Страх и любовь к истине несовместимы, — сказал Джамхух, — признак зрелости мыслящего — готовность пожертвовать жизнью ради своих мыслей. Признак незрелости царствующего — готовность принять эту жертву. И не надо говорить, что трусость — это храбрость в девичестве. Такому девичеству быть в старых девах. А тебя, мой милый Скороход, я все еще люблю и потому предупреждаю: человек, который слишком боится стражников, незаметно сам становится стражником.

Скороход побежал во дворец, сверкая своими золочеными жерновами, которые многие принимали за чистое золото. Он думал, как бы во дворце не сказать лишнее и тем самым не повредить Сыну Оленя.

Ах, Джамхух — Сын Оленя! Конечно, страх и любовь к истине несовместимы. Но в жизни любовь к истине нередко бывает несовместимой с самой жизнью.

Через год царь Феодорий решил расправиться с Джамхухом. Он долго думал, как это сделать, чтобы не вызвать ропот народа, и наконец придумал. Несмотря на глупость, а вернее, благодаря глупости царь Феодорий был хитер, ибо хитрость — единственная форма ума, доступная глупцам. Но именно потому, что она единственная форма, глупцы ее неустанно совершенствуют.

Он тайно вызвал во дворец одного из самых опытных воинов. Таким людям царь Феодорий присуждал звание Воина с Облегченной Походного Типа Совестию. Было замечено, что у воика, который всю жизнь убивал чужих, в конце концов возникает естественное желание попробовать своего. Особенно в годы перемирия с враждебными племенами.

Вот такого воина царь и вызвал к себе.

— Ради безопасности родины тебе придется убить Джамхуха — Сына Оленя, — сказал царь.

— Как так, — удивился воин, — я слышал, что он мудрец, он — наша гордость?

— Это верно, — отвечал царь Феодорий, — и мы его всегда приветствовали за мудрость. Но ведь он проповедует, что все народы равны перед Великим Весовщиком Нашей Совести. А это губительно для нашего народа.

— Как так? — опять удивился воин.

— Ты в каких краях воевал? — спросил царь.

— Я воевал, — отвечал воин, — на западе в хазарских степях, где в летний полдень нет тени, кроме тени собственного коня. Я воевал на востоке, где



вместо воды из-под камней бьет кровь земли, горящая, как хворост. И я воевал на севере, где зимой реки мертвеют от холода и по мертвой воде можно проехать верхом. Я воевал везде.

— Так видел ты где-нибудь край, который был бы красивой нашей родиной? — спросил царь.

— Нет, — покачал головой воин, — я не видел такого края. Я даже думаю, что лучше нашего края нет края на свете.

— В том-то и горе наше, — сказал царь, — а Джамхух проповедует, что все народы равны. Но ведь если все народы равны, значит, они одинаково удобны Великому Весовщику, а если они одинаково удобны Великому Весовщику, значит, и все лучшие земли надо между народами разделить поровну.

— Как так? — опять удивился воин.

— Так получается, — сказал царь. — Представь себе, что Великий Весовщик Нашей Совести — наш хозяин. А мы, народы земли, его работники. Если хозяин одинаково доволен всеми работниками, он должен или нет их одинаково кормить?

— Это — первое дело, — согласился воин, — я сам, уезжая воевать, всегда наказываю жене, чтобы она следила за работниками, которых нанимает. Следила, чтобы они одинаково хорошо работали и чтобы она их одинаково хорошо кормила.

— Вот об этом и речь, — закивал царь. — И нам уже некоторые народы говорят: «Потеснитесь на вашей прекрасной земле, дайте и нам ее немножко,

Ваш мудрец Джамхух — Сын Оленя сам проповедует, что все народы равны».

— Вон чего захотели! — вскрикнул воин и, подумав, добавил: — А ты прикажи Джамхуху, чтобы он больше так не проповедовал.

— Ты хороший воин, — отвечал царь, — но слишком добрый и простой человек. Много, много раз я Джамхуха предупреждал, но он не слушает меня. Кончится тем, что все народы пойдут на нас войной и уничтожат наш народ или превратят всех в рабов. Выбирай — или ты убьешь Джамхуха и тем самым сохранишь наш народ, который в будущем даст нам нового мудреца, или ты не убьешь Джамхуха и враги в конце концов уничтожат наш народ вместе с Джамхухом.

— Получается — лучше убить Джамхуха, — сказал воин.

— Так получается, — согласился царь и протянул ему стрелу с раздвоенным наконечником. — Вот этой стрелой ты его убьешь. Эту стрелу придумал один засекреченный перс. Но наши лазутчики выкрали ее у персов. Ты — первый воин Кавказа, который ее испытает. И для спокойствия народа будет правильной, если он решит, что Джамхух убит чужеземной стрелой чужеземца. Так что стрелу можешь оставить в теле, мы уже приступили к изготовлению таких стрел. Ваш царь еще порадует своих воинов кое-какими новинками. Но пока это тайна.

Воин, взяв в руки стрелу, оживленно пробовал пальцами ее клешнятый наконечник, а потом вдруг задумался, почесывая затылок тем же наконечником.

— Что задумался, мой воин, — спросил царь, — разве тебе не все ясно?

— Ясно-то оно ясно, — отвечал воин, продолжая думать о своем, — но мне чего-то неприятно убивать Джамхуха, хотя и очень интересно испытать новую стрелу... Двойной вытек — это, конечно, чудо... Но все-таки Джамхуха как-то жалко...

— Послушай, — сказал царь, внимательно вглядываясь в него, — разве ты не Воин с Облегченной Подходящего Типа Совестью?

— Звание-то у меня есть, — вздохнул воин, — но все-таки как-то неприятно...

— А мне, думаешь, приятно поручать тебе это? — сказал царь. — Но так нужно для сохранения нашего народа. Я и награды тебе не сулю. Не для меня стараюсь — для родины.

— За награду я и сам не стал бы убивать Джамхуха, — проговорил воин. — Все же мне почему-то неприятно его убивать, хотя и очень интересно испытать новую стрелу.

— Ты же пьешь лекарство, когда болен, — сказал царь, — хотя тебе и неприятна его горечь?

— Да, — согласился воин.

— Так и это, — сказал царь, — неприятно, но надо, как лекарство.

— Надо так надо. — И воин, простившись с царем, покинул дворец.

Через три дня Сын Оленя погиб.

Утром он, как обычно, отправился пасти коз в котловину Сабида, а вечером козы домой пришли без него. Он был найден в лесу со стрелой, торчащей из спины. Джамхух был еще жив. Когда его внесли в дом, чегемский знахарь осторожно вытащил из его спины стрелу с невиданным в этих краях раздвоенным наконечником. Но спасти Джамхуха уже не могли. Незадолго до смерти он вдруг сказал:

— Кто приходит вовремя, всегда приходит слишком рано...

Потом он забылся, а через некоторое время прерывистым, угасающим голосом произнес:

— ...Холод жизни... Общий костер... Или раздаты дрова... Не пойму...

Голос его замолк, словно говорящий, размышляя вслух, скрылся за поворотом тропы. Джамхух — Сын Оленя был мертв.

А во дворце уже толпились опечаленные и ропщущие чегемцы. Одни говорили, что Джамхуха убил неизвестный чужеземец, другие говорили, что убийца очень хотел, чтобы его считали чужеземцем.

Оплакивать Сына Оленя съехалась чуть ли не половина Абхазии. И, конечно, пришли его верные друзья Обьедало, Опивало, Силач, Слухач, Остроглаз, Ловкач и Скороход. Они больше всех рыдали у гроба Джамхуха, особенно убивался Скороход. На них люди обращали внимание.

— Что это за родственники Сына Оленя? — спрашивали они. — Мы думали, у него нет родственников...

— Это его товарищи, — отвечали пожилые чегемцы, — они помогали Джамхуху жениться на его первой жене, нынешней царице. А вот этот, который в золотых жерновах, каждую неделю бегал сюда. Помидоры таскал Гунде, а сейчас он первый царский гонец.

После похорон Джамхуха Скороход, чьи рыдания разрывали душу, вдруг на глазах у всех снял со своих ног золоченые царские жернова и швырнул их с такой силой, что они закатились в котловину Сабида.

Друзья Джамхуха — Сына Оленя посидели за поминальным столом, рассказывая друг другу о житье-бытье. Опивало пожаловался на своего старшего сына, который, оказывается, чрезмерно увлекается выпивкой.

— Мы тоже в свое время пивали, — говорил он, — но меру знали. Сегодняшняя молодежь меру ни в чем не знает.

— Это ты точно заметил, — сказал Слухач, уже и без глушилок ставший туговатым на ухо. — Я раньше, бывало, муравьиный язык понимал. А нынче молодежь говорит на такой тарабарщине, что ничего разобрать невозможно. Недавно к моему сыну приходят друзья, а он им говорит: «Ну что, кейфарики, гуднем в амфу?» «Гуднем!» — радостно отвечают они. А я ничего не понимаю. Потом они мне объяснили, что к чему. Оказывается, «кейфарики» — это люди, которые кейфуют. «Амфой» они называют нашу амфору. До чего разленились, а? «Амфора» они уже не могут сказать! Им «амфу» быстрей подавай! Гуднуть в амфу — значит, опустошить ее, чтобы она загудела, если в нее потом крикнуть. Как хотите, друзья, но за этой тарабарщиной я чувствую не тот, не тот наклон мысли. А в наше время все было просто, благородно. Бывало — эх, времечко! — забредут в гости друзья, а ты им: «Сокувшинники, уважим мою лозу?» «Уважим», — отвечают они, дружно рассаживаясь. — Ох, как уважим!» И сразу все ясно, красиво. И вы как бы не пьете, а как бы воздаете дань благодарности богу виноградарства и плодородия. И тут, конечно, совсем другой наклон мысли. А эти: «Кейфарики, гуднем в амфу!» А чего гудеть?! Гудеть-то, я спрашиваю, чего?! Ну, выпили, порезвились — и по домам! Если уж амфора опустела, гуди не гуди — ничего из нее не выгудишь!

— Друзья, — сказал Силач, — надо правде в глаза смотреть. Мы постарели. Мне и то сейчас иногда не верится, что я когда-то мог пятерых великанов рядом уложить посреди двора.

— Какое время было, — вздыхали друзья, вспоминая свой поход, — как мы были молоды и счастливы шагать рядом с Джамхухом.

Старые чегемцы, помнившие, как пил Опивало, поставили перед ним кувшин с вином, но он велел его убрать, хотя и выпил пару кружек. Обьедало тоже едва съел свою порцию мамалыги.

— Эх, время, в котором стоим... — говорили старожилы Чегема, рассказывая молодым о застольных подвигах Опивала и Обьедала на давней свадьбе Джамхуха.

Друзья посидели за столом, сладко погрузились, вспоминая прошлое, и разъехались по домам. Хорошо, когда есть еще с кем сладко погрузиться, вспоминая молодые годы, а бывает, друзья, и хуже, бывает, что и погрузиться не с кем, вспоминая молодые годы.

Говорят, Скорохода больше никогда не видели при царском дворе. По слухам, он ушел за Кавказский хребет и там наконец женился на своей церкешке.

После смерти Джамхуха по Абхазии прокатились народные волнения. Многие считали, что в убийстве Джамхуха замешан царь.

— Эх, потрясти бы Тыквоголового, — говорили некоторые, — так, чтобы у него из ушей повыскакивали тыквенные семечки! Он бы тогда признался, кто убил нашего Джамхуха!

— Ну да, — явили по этому поводу другие, — остается самая малость: найти человека, который его потрясет.

— Джамхух и был таким человеком, — убеждали самые умные, — да не уберегли мы его.

Но царь сумел успокоить народ. Гонцы передавали его слова во всех городах и селах.

Вот эти слова:

— Величие царя, переименовавшего море, равно величию народного мудреца, нашего любимого Джамхуха. Отныне и навсегда мы даем своему первому придворному мудрецу звание Сына Оленя. А наша возлюбленная царица в знак траура на сорок дней отказывается есть помидоры.

И гонцы постепенно успокоили народ. Как ни смеялся народ над Тыквоголовым Красавчиком, все-таки он не подозревал в нем такого коварства, чтобы и убить и одновременно дать придворному мудрецу звание Сына Оленя.

Но недолго после этого царствовал и сам Феодорий. Из Византии вернулся его двадцатилетний сын Георгий. Заручившись поддержкой византийского императора, он устроил заговор и ночью, ворвавшись к отцу в спальню, зарубил его секирой. «Привет от дедушки», — говорят, сказал он при этом.

Мало того, что он сел на престол убитого им отца, он через год женился на золотоголовой Гунде, лицо которой все еще хранило немало следов былой красоты. Согласно известному учению, он должен был, убив своего отца, жениться на родной матери, но все византийские источники подтверждают, что он женился именно на Гунде, второй жене своего отца.

В годы царствования Георгия Свиного — так прозвал его народ — жестокие войны, недороды и черная оспа косили людей. Дошло до того, что обыкновенная козлятина стала доступна только приближенным ко двору семьям.

В разгар всех этих неисчислимых бед Гунда вдруг забеременела и родила сына. После первого сына она в течение девяти лет рожала каждый год и иногда рожала сразу двойняшек. И были даже три таких года из этих девяти лет, когда она ухитрилась родить четыре раза.

— Породой сошлись, — говорили по этому поводу абхазы, но уж далеко не так громко, как при Тыквоголовом.

А между тем, несмотря на все бедствия, постигшие Абхазию, ее международный престиж укрепился.

Особенно возвысился престиж Абхазии после того, как Византия в знак вечной дружбы с Абхазией переняла название Черного моря и запретила своим подданным произносить старое название — Понт Эвксинский.

Народ, потрясенный бедствиями, постигшими страну, часто говорил:

— Это Великий Весовщик Нашей Совести разгневался на нас за то, что мы не уберегли Сына Оленя.

Ну что ж, может быть, народ был прав в своем позднем покаянии. Долг мудреца — помогать народу чтить свои святыни, не давать ему разбредаться в бессмысленную толпу. Долг народа — оберегать своего мудреца. Джамхух — Сын Оленя выполнил свой долг.



Вот что я слышал в детстве о Джамхухе — Сыне Оленя и теперь своими словами пересказываю здесь. Эта легенда или, может быть, правда, обросшая легендами, известна во всей Абхазии.

Но особенно чегемцы любили рассказывать о Сыне Оленя. Они гордились своим земляком, тем более что здесь сохранился зеленый бугорок, который все называли могилой Джамхуха — Сына Оленя.

Он расположен на чудном лугу недалеко от табачного сарая нашего выселка. Это ровный травя-

нистый гребень холма, слева от которого начинается тропинка, ведущая в котловину Сабиды, а справа проходит верхнечегемская дорога.

Холм кончался обрывом, поросшим кустами держи-дерева, бирючины, ежевики. На краю холма рос огромный каштан, слегка наклоненный в сторону обрыва.

Сейчас там наше семейное кладбище. Но я еще помню то время, я был тогда совсем маленьким, когда на этом лугу — трудно поверить! — не было ни одной могилы.

Тут мы в начале лета собирали землянику, и я, случалось, красные ягоды срывал прямо с могилы Сына Оленя.

Здесь иногда устраивались сельские игрища. Мальчики-подростки и более взрослые парни с ножами в руках разгонялись изо всех сил и, вскакивая на слегка склоненный ствол каштана, делали несколько безумных шагов по стволу и с размаху, стараясь как можно выше, всаживали нож в ствол, а потом с какой-то звериной грацией успевали, обернувшись, оттолкнуться и прыгнуть на край обрыва.

Потом бегали наперегонки от табачного сарая до каштана и обратно. Бегали и мальчики, и девушки, и мы, малышня, иногда с криками гонялись за ними.

Среди девушек нашего выселка была одна, которая легко обгоняла всех девушек и почти всех мальчиков. Она и сейчас перед моими глазами бежит, бежит, бежит, и высокая трава с голубыми колокольчиками, сизоватой полынью, веерками папоротников хлещет по ее голым, босым ногам, а она все бежит какой-то особой, порывисто-плаванной побегой, словно захочет — и быстрее припустит. И на чистом ее лице, на бессмертном, как я теперь уже знаю, ее лице, никакой гримасы напряжения, а только сияние радости, словно сама скорость обращается в сияние радости и сама радость благодарно подхлестывает скорость.

Тогда у меня в душе десятилетнего мальчика возникла таинственная догадка, что она дальний потомок Сына Оленя. Но я об этом никому не говорил, стыдясь, что меня засмеют.

Однажды, когда она бежала, я вдруг почувствовал какой-то пронзительный, холодающий горло восторг, желание схватить ее хищными пальцами и заново вылепить, что ли, придав ее побеге окончательную прочность. Вероятно, это был первый, еще не осознанный порыв к творчеству.

Но сейчас в моей памяти порой странно, как во сне, сдвигаются времена, и я одновременно вижу бегущих от табачного сарая до каштана и обратно и вижу печальные и скромные могилы, в которых уже лежат некоторые из бегущих — и огнеглазый Адгур, и сестра его, гордая скромница Люба, и милая Софичка.

А они пробегают мимо своих могил, не замечая их, притормаживают у каштана, шлепают мелькающей ладонью по стволу и назад, назад в порыве азарта, снова не замечая своих могил, уже убегают от них все дальше и дальше, радостно закинув голы, победно, невозвратно!



ВЛАДИМИР ПАЛЬЧИКОВ

Оправдание ремесла

Маленькая поэма

— Для чего ты явился из праха
В череде нескончаемых дней!
— Пахарь — в поле, за прялкой — пряха...
Я гончар. Я — при глине моей.

— Всеи безвыходной прорвой провала,
Где не видно ни граней, ни меж,
Сиротливая вечность взывала
Не к тебе ли: прозрей и утешь!

Ускользающей грезя удачей,
Наклонялась над лавой горячей,
Звездной пылью и солью морей —
Человек, отыщись поскорей!

Обмирала: вот нитка порвется —
И приплюснутый череп уродца
Кинут волны земле нежилой,
Скроет ила холодного слой...

В тулики равнодушные тычась,
Оступаясь над бездной веков,
Ты пришел. Чтобы несколько тысяч
Наработать каких-то горшков!

— Вот свирелка и посох пастуший.
Наковальня и молот над ней.
Я братьев моих не бедней.
Про горшки и кувшины послушай!

Но сначала — о небе... Оно
Вознеслось над каймой побережий,
Над горой и долиною свежей
И в мое заглянуло окно.

А еще — о высокой горе,
О лесистой, в нетающем дыме,
С родниками ее ледяными,
С перекличкою птиц на заре.

[Жизнь милей от простого сознанья,
Что вокруг обитают созданья,
Чья стихия — небесная синь.
Только ахны да голову вскинй!]

Лист орешины, маленький щит,
Храбро встал против зноя большого.
Накаляясь, песчинка пищит,
Ей гора подпевает басово.

Прыщет ящерка, звук посторонний
Во владеньях своих уловив.
Легкий промельк, блескучий извив.
Драгоценность, обсевок драконий!

Кто щедрее, чем ключ, и беспутней!
Накрутил он сверкающих скрутней,
Он им знать не желает цены,
А желает спихнуть с крутизны.

Бык, страдая от мощи и злости,
Смотрит: страху нагнать на кого бы!
Вот напрягся и двинулся: мыс
Жаркой кожей обдернутых мышц.

Над хребтиной курятся обрывки
Облаков, застревая в загривке.
Взгляд — смертелен. И глыбина лба.
Шумно пену роняет губа.

Мир, слегка наклоненный для стока
Рек, блистает и мреет внизу.
Дрожью века, мгновением ока
Не смигнуть бы его, как слезу.

Я приду и лицо запрокину:
Дай мне глины, гора моя, мать!
Любят пальцы лелеять и мять
Эту вязкую, вескую глину.

Ей мерцать скуповато и сыро,
Принесенной под скромный навес,—
Сопричастнице недр и небес,
Драгоценной ровеснице мира.

Ремесло. От нужды, для прокорма...
Но очнулась и вскрикнула форма,
Видит свет и себя узнает,
Озирается, хрипло поет!

Непонятно силой влекома,
Из пелен так и рвется она.
Форма жаждет, как вдоха, объема!
Ищет меры, что смыслу равна!

Резвым пламенем вымыт ребенок,
Он прекрасен, отзывчиво звонок.
Прокалилось его естество.
Все стихии — в составе его!

Как находку и вместе пропажу
С отрешенною лаской оглажу
И, откинувшись чуть, огляжу.
И в неведомый путь провожу.

Станут сердцу больней и родней
Блик, шершавинка, малый оттенок.
Нежно сомкнута пригоршня стенок.
Тают смутные отсветы в ней.

На равнине селенья дымятся,
Бродят запахи лука и мяса,
Пышен хлеб и похлебка вкусна,
И потеет кувшинчик вина.

Я, в заботах своих поседелый,
Вспоминаю по-братски всегда
Вас, свершающих подвиг труда,
Камнерезы, ткачи, виноделы.

Что у ягоды зреет под кожей!
Что железные обручи рвет!
В вашем деле замешены тоже
Солнце, почва и пристальный пот.

И еще в нем замешено что-то
Выше солнца и почвы и пота —
Может, живо той тайной одной
Мирозданье со всей глубиной!

День кончается. Стой и молчи,
Первой робкой звезды одиноче.
Длинно стелются тени: лучи
Восходящей властительно ночи.

Вот исподние крылья свои
Спрятал жук, и уснул муравейник.
Пар блестит, чернеет репейник,
Кругло светится око совы.

Завозилась бугристая жаба,
Выкарабкиваясь из ухаба.
И протяжно кричит козодой.
И запахло сырой лебедой.

«Как зовут тебя, девочка, кто ты,
Почему ты стоишь у ворот!»
«Я смотрю. Оживают высоты,
Меркнет облако, ночь настает.

Как чудесно, что я невесома:
Дом затихнет — я выйду из дома,
На окошке оставлю свечу,
А сама в облака улечу...»

Стынут капли тяжелого воска.
Заревая погасла полоска.
Я растроганно удочерю
Эту девочку, эту зарю.
Травы, тени слились, загустели,
Чуть колышима бережным сном.
И луна застелила постели
Тонким, свежим своим полотном.
Пропадает во мгле бесконечной
Звездный оползень, путь этот млечный,
Дым в разрывах клоками завис.
Оползаешь куда! Отзовись!..

Сон: томя раздвоенем, подмсной,
Ускользанием за смутный предел,
Клок Вселенной — еще довременной,
Допричинной — в тебе уцелел.
В край, где медленно бодрствует спящий,
Где текучи, как дымы, слова,
Где, как лица, приглядчивы чащи,
Вхож и ты. Но забудься сперва...

Возвратятся из смутных скитаний
Чувства в час пробуждения ранний.
Где же были вы! — Здесь и нигде.
Где был куст, отраженный в воде!

...Лист на веточке дрогнул, пугливый,—
Знак, что вновь, как вчера, как всегда,
Где-то хлынула магла на нивы
И пожрал океан города.

Тишина. Из глухого развала
Туч, обвитых каймой золотой,
День встает как ни в чем не бывало
Над недавней и давней бедой.

Землю белые росы омыли.
Просыпайся, мгновенья быстры.
Надо встать и участвовать в мире,
Надо глину просить у горы.

Хорошо пламенеет вершина,
И румяны прямые дымки.
Встать, налить молока из кувшина...

— Человек! Ты творишь черепки.
— Ошибаешься, время творит их —
Из простых и глазурью облитых.
Пыль и щебень нещадно творит
Из колонн, изваяний и плит.

[Стены башен огрузили под ношей
Лет своих, позабыв о былом.
Кипятятся кусты у подножий,
Безнаказанно лезут в пролом].

Возвратишь ли стрелу из полета!
Пыль и щебень — не наша забота.
Сколько битых кувшинов в земле,
А один — все равно на столе.



Поэзия



НИКОЛАЙ
ФЛЕРОВ

☆☆☆

Вишневого я вспомнил молодым —
Стремительным, кипящим, звонким, страстным
Широкий рейд. Под солнцем медно-красным
Идя на вест, мы на Кронштадт глядим.
Он — центр похода. Выйдет на шкафут,
Как тотчас же вокруг него матросы.
Любые задавай ему вопросы —
На все, на все ответ получишь тут.
А вечером ему еще на суд
Газету корабельную несут.
На мостике с ним рядом командир.
А Всеволод и сам пошел к штурвалу б:
В своей стихии он — весь флотский мир
Сейчас тут вместе с ним у белых палуб.
Его я вспоминаю молодым,
Когда бывал в походах вместе с ним.
На митинге над ширью пенных вод
Он говорит. И так могуче слово,
Сердечно так, что позови любого —
За ним любой сквозь все шторма пройдет.
А он, походным будням этим рад,
Он занят главным, что придет когда-то:
В не отснятом еще «Мы из Кронштадта»
Гремит глагол балтийского набата:
«Ну, кто еще тут хочет в Петроград!»
...Москва... Союз... Друзья... Его журнал.
Он «Знамени» душа, его редактор,
Его неутраченный реактор.
Он много испытал и много знал.
Его я вспоминаю молодым.
...Испания. Он — там. Сражений дым.
Предчувствия. И на душе тревожно.
Он знает: бить фашистов нужно, можно,
А к нам придут — так мы их разгромим!..
Его я вспоминаю молодым.
Иным его представить невозможно.

☆☆☆

Раздарили поле — по букету,
тысячи букетов — благодать!
А придут потом — ромашки нету,
«Любит или нет» — не угадать.
Обойди леса, ходи хоть сутки,
но какую ни проявишь прыть,
не найдешь порою незабудки —
как же тут о милом не забыть!
С корнем рвут, бросают, мнут и давят.
В пору думать у лесной черты,
Скоро ли тут надписи расставят:
«Осторожней, граждане, цветы!»
Остаются в памяти названья,
отголоски чистых детских снов.
В Красной книге, будто в поминанье,
вписывают имена цветов.

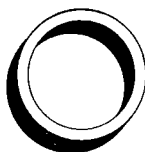


АРКАДИЙ АДАМОВ

ВЕЧЕРНИЙ КРУГ

Глава V КАКОЙ-ТО НЕПОНЯТНЫЙ «СТАНОК»

ПОВЕСТЬ



ни просидели на затерявшейся скамеечке в дальнем, сейчас совсем безлюдном конце парка, пока не начало темнеть. Оба были так возбуждены всем случившимся, особенно, конечно, Слава, что ни о чем другом говорить не могли. Виталию пришлось хоть немного рассказать о странной слежке, которую за ним устроили. И Славу нестерпимо заинтриговала эта история.

— Ну, работенка у тебя, не соскучишься, — не то сочувственно, не то завистливо сказал он и, спохватившись, спросил: — Рука-то прошла?

— Проходит, — поморщился Виталий, шевеля пальцами. — Так вообще без руки можно остаться, — сердито прибавил он.

— Сам же приказал, чтобы было правдоподобно, ну я и...

— Обрадовался, что я в ответ прием провести не могу.

— Ты считай это производственной травмой, — лукаво посоветовал Слава. — Пусть бюллетень дают, раз у тебя такая работа.

Развалившись на скамейке, они мирно беседовали. Солнце уже зашло, сумерки окутали все вокруг, и ничего не стало видно вдали. Вместе с сумерками пришла прохлада, от деревьев и кустов тянуло прогретой листвой.

— А у тебя какая работа? — спросил Виталий.

— Пединститут кончил. С ребятами вожусь.

— Тоже руки ломаешь?

— Зачем? Я кружок организовал. Рыцарей воспитываю. А в другое время историю преподаю. Наука мудрая и полезная. Помогает разобраться что к чему в этом мире.

— Разобрался, значит?

— Более или менее. — Слава вздохнул. — Зато в семейной жизни начисто запутался. Фокус не удался. Разводиться приехал.

— Как это понимать: живешь в Омске, а разводиться в Москве?

— Жена сюда удрала к родителям. Вот я и приехал.

— А кто она у тебя?

— Да тоже учительница. Один институт кончали. Только я на два года раньше. Эх, Виталька, ничего-то у меня не заладилось на личном фронте. Ну да ладно, переживу... Нам не пора?

Виталий посмотрел на часы.

— Давай потопали, раз уж ты попал в эту историю. Не жалеешь?

— Выпить на чужой счет? — засмеялся Слава. — Да еще за тебя? Не каждый день случается.

— Тогда идем. Скажешь, замирились. Сотню я тебе вернул, и снова мы кореши. Может случиться, что я от тебя оторвусь. Тогда встреча у большого фонтана при главном входе. Заметил его?

Виталий коротко проинструктировал друга, как себя вести: Слава должен был аккуратно выбить из игры, чтобы не скомпрометировать Виталия. Пустынными, еле видными в сгустившейся темноте тропинками они вышли на освещенные людные аллеи. Здесь чуть поубавили шаг и побрели в потоке людей к набережной, где находились аттракционы. В этой части парка было по-прежнему душно, воздух был напоен тяжелым запахом цветов и пыли.

Вокруг аттракционов на ярко освещенной площадке по-прежнему толпился народ. Со свистом и лязгом носились по головкружильным спиральям и петлям легкие пестрые кабинки, временами исчезаая в полуметной утробе сложных металлических конструкций, и тогда раздавался испуганный женский визг.

— Смотри-ка, — удивился Слава. — Еще работают. А другие-то уже закрылись, видел по дороге? Ну, трудяги.

— План гонят, — равнодушно пояснил Виталий и добавил: — Ты не пропусти этого парня. Помнишь его?

— Ясное дело. Только темно уже.

— Он тоже тебя небось высматривает. Так что давай на свету держаться.

Они стали прогуливаться по площадке, обходя длинные очереди. Из-за грохота работающих аттракционов трудно было разговаривать.

Неожиданно из толпы вынырнул парень, которого они искали. Теперь Виталий смог рассмотреть его получше. Светловолосый, гибкий, щеголеватый, с лукавым толстогубым лицом. И Виталий вспомнил. Это был тот самый, с фотографии, висящей на шкафу в спальне Витьки Короткова, тот самый... Гоша! Стоп, стоп! Ну, конечно, это о нем рассказал Шухмин, этот парень шел за ним вместе с Витькой и потом удрал. А затем попался на драке с Володькой-Дачником.

Это открытие меняло все дело.

Парень между тем уже весело болтал:

— ...Имею право на личную жизнь? И всегда готов в приятной компании, какой разговор! А обстановка есть, вон рядом качается. Пошли? — Он махнул рукой в сторону реки, где у причала стоял ресторан-поплавок «Альбатрос». Оттуда долетала музыка.

— Ну что, Славик, отметим мировую или как? — спросил Виталий.

— Двинули, братцы, — энергично ответил Слава, обхватив за плечи Гошку и Виталия. — Для хороших людей ничего не жалко. Тем более что без тебя, — обратился он к Гошке, — я бы эту сотнягу в гробу видал.

— Тоже мне деньги, — солидно усмехнулся Гошка. — Да я еще две, если надо, добавлю.

И они втроем направились к ресторану. Дверь, выходящая к широкому, застеленному красной дорожкой трапу, оказалась, однако, закрытой. За стеклом висела табличка, изготовленная солидно и, видимо, надолго: «Мест нет».

— Эх... — огорченно вздохнул Виталий.

— Айн момент, — торжественно объявил Гошка, подтягивая рукава своей фасонистой рубашки, словно собираясь показать фокус.

Впрочем, это и был фокус. Гошка энергично забарабанил в дверь, и, когда появился толстый, усатый швейцар в фуражке с золотым околышем, он ему сделал какой-то приветственный знак рукой, и дверь мгновенно распахнулась. Швейцар с поклоном пропустил их. В душном, переполненном зале свободных мест не было видно.

— Цвай момент, — с шутливой важностью объявил Гошка. Он поманил молоденького официанта в белой, не первой свежести курточке, с салфеткой на согнутой руке. — Распорядись-ка, — сказал ему Гошка.

— Ваш свободен. Прошу.

— За мной, — скомандовал Гошка.

Они гуськом прошли между столиками и расположились возле открытого круглого окошка, выходящего на реку. Лучший в зале столик словно ждал их. Гошка принялся делать длинный заказ склонившемуся над ним официанту. Когда он закончил и официант исчез, Виталий спросил:

— Ты кто тут есть, министр или бог?

— Бог не бог, — ухмыльнулся Гошка, — но свое тут царство.

— А царь где? — в тон ему поинтересовался Виталий.

— Царь? Увидишь.

Удивительно быстро возник вдруг официант с полным подносом всяких закусок и бутылок. Все это мгновенно переместилось на стол, и официант, пожелав приятного аппетита, исчез.

— Ну, братцы, — плотоядно потирая руки, произнес Гошка, — приступили. С первой ждать не принято, грех великий. Так что вы кладите себе, а я разолью.

За оживленной болтовней прошло с полчаса. Гошка оказался чрезвычайно самолюбив и хвастлив. Виталий рассказал пару лихих историй, где выглядел весьма героически. Слава ему из всех сил подыгрывал. И Гошка «завелся». Изрядно уже выпив, он, вытирая салфеткой мокрые губы, заявил:

— Ты у меня учись. Вот, допустим, мы сегодня с Жорой за тобой потопали, у меня уже полсотни в кармане, у Жоры четвертной.

— Почему четвертной? — возмутился Виталий. — Раз тебе...

— Засохни, — отрезал Гошка. — Понимать надо, кто я и кто Жорка против меня. Ему больше и не положено.

— А кто клал? — продолжал возмущаться Виталий.

— Кто? — загадочно ухмыльнулся Гошка. — Это тебе знать ни к чему.

— У всякого свое начальство, — философски объявил Слава, набивая рот салатом.

— Точно, — пьяно согласился Гошка. — Мое вон сидит.

— Где это? — лениво поинтересовался Виталий.

— Глазетки свои только не таращи, начальство этого не любит, понял? Вон столик у стены в углу, видишь?

— Там, где трое? Соли-идные мужички.

— А то. Вон веселый такой, черноволосый, с бабочкой. Это Вадим Саньч, главный из главных. А бабы у него какие... Умрешь.

— На таких баб денег не наберешься, — авторитетно заявил Виталий.

— Ты за Вадика не бойся. Своих не хватит, у Борды возьмет.

— Это справа который, бородатенький?



— Точно. Главный инженер наш. Хотя теперь не очень-то у него возьмешь. Малость пообщипали его, гада,— злорадно заключил Гошка.

— Свои?

— Не наше дело, кто. Только надо бы добавить.

— А звать его как?

— Илюша. А короче — Борода.

— Илюша? — насторожился Виталий. — У нас такой работал.

— Это где же?

— В Сокольниках.

— Не, он там отродясь не работал.

— Ну, как? Илья Викторович.

— Не, Илья Васильевич. Потехин.

Вот это и было главным открытием вечера.

Значит, тот самый Потехин работал здесь, именно здесь, на этих аттракционах? Впрочем, технически они представляли собой, видимо, сложнейшие агрегаты, и инженер по их эксплуатации был, конечно, необходим, даже главный инженер. И вот у этого самого Потехина такая кража. Совпадение? Скорее всего. Но интересно другое. Какая-то подозрительная возня идет вокруг этих аттракционов. Причастен ли к этому Потехин?..

— А третий кто с ними? — спросил Виталий, еле заметно кивнув на стол в углу.

— Третий? — небрежно переспросил Гошка. — Их подтирала. Горох. Отдел кадров. — Гошка расхохотался и тут же натушно раскашлялся, поперхнувшись табачным дымом. Отдышавшись и вытерев проступившие слезы, он сказал: — Ох, братцы, и хорошо мне с вами сидеть, сй-богу. Не уходил бы.

— А кто тебя гонит? — заинтересовался Слава.

— Да рано я тут с вами засел. Пока станок крутится, и я должен крутиться.

— Какой такой станок? — удивленно спросил Виталий.

— Есть один такой, — пьяно ухмыльнулся Гошка.

Виталий поглядел на его побагровевшее, расплывшееся лицо с рыжеватой щетиной на щеках, на прилипшие к потному лбу светлые пряди волос, на помутневшие, совсем ословелые глаза. Как он доволен, чуть ли не горд сегодняшней мерзкой своей жизнью! Жизнью подлой и жестокой. И этот парень со всеми такой, и со своими тоже. Вот Витьку он просто бросил в беде и удрал. Так он может обойтись с кем угодно. И с теми тремя, за угловым столиком, тоже. Было бы неплохо сыграть на его подлом, трусливом нраве. Но играть на низких чувствах Виталий не любил. Он не только ощущал оскорбительную для себя безнравственность этого приема, но и потери, которые этот прием сулит в будущем. Потери чудовищно перетягивали минутную удачу. Значит, следовало искать что-то другое в этом парне. Ведь человеческая душа соткана из самых разных помыслов и чувств, светлых и темных. Отыскать лучшие, подавить плохие само по себе было для Виталия увлекательной задачей, хотя далеко не всегда это удавалось, далеко не всегда, что уж там говорить.

— Гош, а ты за кого болеешь? — спросил Виталий благодушно.

— Я? За «Торпедо».

— Это почему?

— А у меня братан на заводе. За кого ж мне болеть?



— Кем он там?

— Электрик. Наивысший разряд. Таких раз-два — и обчелся, — принялся, как всегда, хвастать Гошка. — Начальство его под ручку водит, на доску вешает. И всегда он у них в президиуме сидит.

— Подумаешь, президиум. Ты его научи хрусты зарабатывать.

— Не. Ему нельзя. Он сознательный.

— Ха! Если сознательный, то, выходит, ничего ему такого не надо? — спросил Слава.

— Ладно, ша! — зло оборвал его Гошка.

В этот момент к их столику подошел какой-то парень и хмуро сказал Гошке, смерив его собутыльников подозрительным взглядом:

— Велено, чтоб уматывал.

— Ага, сейчас, — засуетился Гошка. — Момент.

Парень исчез.

— Слышь, ребят, — сказал Гошка, наклоняясь к столу. — Часок еще здесь покантуетесь? Я прибегу. Сговорено?

— Прибегай, прибегай, — ответил Слава. — Обождем.

— И предложение деловое будет, — добавил Виталий. — Обрадуешься.

— Ну да? Какое? — загорелся Гошка и снова опустился на стул.

— Давай дуй, раз велено, — строго сказал Виталий. — Вернешься, потолкуем.

— Сговорено. Буду, как штык, — с воодушевлением объявил Гошка.

Он вскочил со стула и торопливо двинулся между столиками к выходу. Виталий заметил, как бородастый Потехин из-за своего столика проводил Гошку взглядом. Он, конечно, присмотрелся и к парням, с

которыми Гошка выпивал в неурочное время. «Выходит, мы с тобой друг друга засекали», — отметил про себя Виталий, мысленно обращаясь к Потехину. Это было немаловажным обстоятельством, которое следовало учесть на будущее. Ведь с Потехиным предстояли самые разные встречи, в этом Виталий не сомневался.

— Ну, Славик, пока — наше время, — вздохнул Виталий. — Докладывай, командир.

— Да все вроде тебе уже доложил.

— Давно приехал?

— Сегодня.

— Где остановился?

— Да так... Кое-где.

— Ладно. А вещи, значит, на вокзале?

— Ага.

— К нам переберешься. В тесноте, да не в обиде.

— Что ты! Чего это я тебя стеснять буду?

— Сам погибай, а товарища выручай, — усмехнулся Виталий и переменял тему: — Что же ты своей супруге объявишь?

— Разводимся. Чего тут объявлять.

— По обоюдному желанию?

— Честно говоря, не совсем. У нее этого желания больше. Ну, а у меня терпение лопнуло. На кой ей сдался скромный учитель, вроде меня?

— Это с каких пор ты скромным стал? — улыбнулся Виталий.

— Как с тобой расстался. Как нашу дорогую форму снял. Такое счастливое братство у нас было. И вдруг один. Здорово я первое время маялся. Оттого и женился, наверное. В спешном порядке. А помнишь, — Слава закинул голову и мечтательно посмотрел на потолок, — как мы в первый год в горах за-

блудились? Мы тогда с тропы сбились, за перевалом. Энзе кончился. На траву перешли, на корни. Помнишь?

— Еще бы. Я тогда трилистник с четырьмя листиками нашел. Редчайший случай.

— К счастью это,— кивнул Слава.— Мы его тогда даже не съели...

С наслаждением вспоминали они те дни, словно было это в незапамятные, сказочные времена. И не были безмятежными и легкими армейские годы, как им сейчас казалось. Ох, сколько было пролито пота, сколько отдано сил в бесконечных тренировках и походах! «А помнишь...» — говорил один. «Нет, а ты помнишь...» — перебивал другой. И оба улыбались при этом доброй и какой-то размягченной улыбкой. Вот эта улыбка на лице Славы внезапно и обеспокоила Виталия. Он бросил взгляд в сторону углового столика и заметил, что теперь уже все трое сидящих за ним людей поглядывают на него и Славу. И взгляды эти были какие-то холодные, испытующие, недоверчивые.

— Давай-ка, Слава, собираться,— досадливо сказал Виталий.— Не нравится мне тут ситуация. Как бы не подвести нашего друга Гошу.

— Да черт с ним. Тебе-то что?

— Это тебе-то что, а вот мне... мне придется еще поработать с Гошей этим. Короче, надо рассчитывать и смываться.

— А Гошка? Ведь обещали.

— Мы его там, на набережной, посторожим.

Они позвали официанта, рассчитались и направились к выходу. За спиной у них после короткого перерыва снова загудел джаз.

На набережной было прохладнее, чем в ресторане. Друзья отошли в сторону и, облокотившись на каменный парапет, стали наблюдать за входившими в ресторан людьми. Гошки среди них пока что не было. Постепенно площадка вокруг аттракционов опустела, очереди иссякли. Невидимый репродуктор объявил, что через пятнадцать минут работа аттракционов прекращается.

Вскоре грохот, свист и скрежет замолкли. Вдруг воцарилась тишина. Последние любители острых ощущений покинули площадку. Вот тут-то и появился Гошка. В самом лучшем настроении он направлялся к входу в ресторан, сунув руки в карманы брюк и весело посвистывая, то и дело норовя поддать носком ботинка какой-нибудь камушек или скомканную бумажку.

— Гошка! — позвал Виталий.

Гошка остановился и, увидев приятелей, двинулся к ним.

— Чего это вы, гаврики, вытряхнулись раньше времени? — недовольно спросил он, подходя. Видно, Гошку все это время, пока он отсутствовал, грела мысль о предстоящей попойке.

— Начальство твое недовольно было, я уже видел,— ответил Виталий.— Решили глаза ему не золотить.

— Эх, хорошо посидеть могли,— вздохнул Гошка и спросил, пылливо глядя на Виталия: — Ты насчет делового предложения чего трепанул?

— Есть одно, Гоша. Если ты, конечно, парень стоящий. Выгодное предложение. В жизни ты еще такого не получал. Но... Надо еще поглядеть, подойдешь ли.

— Э-э, ты мне шарики не вкручивай. Чего требуешь, говори.

— Да-ничего особого.

— Врешь. Я с такими деловыми недавно уже нагрелся. Сначала вроде тоже ничего им не надо было, а потом я им — один адресок, а они мне — фиг.

— Ладно, учту, что фиг ты не любишь,— засмеял-

ся Виталий и совсем по-дружески потрепал Гошку по плечу.

— Это уж я сам учту,— многозначительно пообещал Гошка, стряхивая с плеча его руку.

— Все же свидимся или как? — поинтересовался Виталий.— Я теперь угощаю.

— А когда?

— Сегодня у нас среда? В субботу свидимся. Здесь же. Но только в другое место заведемся. По-нял? Здесь больно дует.— Виталий подмигнул.

Так они и расстались. Гошка тут же исчез.

— Двинулись на ночевку, Славик,— сказал Виталий устало.— Сейчас я тебя представлю супруге и моей любимой теще.

Они зашагали к выходу из парка. Вокруг вовсю разгоралось вечернее гулянье. Сверкали, кружились огни, били, переливались струи гигантского фонтана.

На следующий день Виталий пунктуальнейшим образом все доложил Федору Кузьмичу. Таков прежде всего был порядок. Но без совета Кузьмича составлять план дальнейших оперативных мероприятий было еще, кроме всего прочего, и бессмысленно. Даже самый лучший план без одобрения Федора Кузьмича казался не очень убедительным. Как всегда, молча выслушав Виталия и в последний раз подравняв выложенные «по росту» остро отточенные карандаши, Федор Кузьмич задумчиво сказал:

— М-да... К чему-то, милый мой, ты, кажется, подбрался интересному. Ишь ты, «станок». Уж не деньги ли они на нем печатают?

— В переносном смысле.

— Ясное дело. Но какие-то деньги к ним, я вижу, плывут. Большие деньги... Вот что, милый мой. Я полагаю, пора наших соседей потихоньку подключать.— Он указал пальцем на потолок.— По их это части, думаю. Ну, и сам ты копай, как наметил. Витька твой вроде бы перспективен. А вот Гошка — не знаю, не уверен. По всему видать, большой он прохвост. Ну да ладно. Попробуй. Я же не запрещаю. Даже советую. У тебя, Лосев, вырабатывается свой почерк в работе. Это хорошо. И почерк сам мне нравится, я от тебя не скрою. Ты от человека идешь. Не улика, а человек у тебя на первом месте, когда ты поиск ведешь. В этом, между прочим, и сила твоя и слабость. Помни. Хотя тебе и трудно это всегда помнить. Ты, Лосев, человек увлекающийся. В этом тоже и сила твоя и слабость. Больше, однако, слабость. А вообще... Вот, помню, был у нас в МУРе, лет двадцать пять назад Арбов Викентий Иванович. Начальник отдела. Неважный, надо сказать, был начальник. Но сыщик он, как говорится, «от бога», по природе своей. Его нельзя было начальником делать, ему звания и оклады надо было давать за природный талант и за неслыханный труд. Что он раскрывал, того никто не мог раскрыть. Опаснейшие группы снимал. И чаще всего без единого выстрела. Давно помер. И не от пули, не от ножа, а тихо, спокойно, прямо на бережку, с удочкой. На пенсии уже был. И был он первым моим начальником и учителем. Почему я о нем сейчас, думаешь, вспомнил? Ты на него похож, вот почему.

— Нельзя меня, значит, начальником делать? — засмеялся Виталий. Но что-то его все-таки покорило в этом выводе, как будто какая-то вдруг ущербность в нем обнаружилась, какая-то слабость.

— Не в том дело,— махнул рукой Федор Кузьмич, словно и не замечая легкой обиды в голосе Виталия.— Викентий Иванович любил нам повторять: «Всегда ищите в человеке человеческое. Неслыханный процент это дает». Вот и ты это ищешь. И правильно. Но сейчас ты этим паскудником Гошкой зря

увлекся. Витка твой для дела перспективней, мне кажется.

— Конечно,— вздохнул Виталий.— Но что-то и в Гошке есть. В подлой этой душе на что-то, мне кажется, я наткнулся. Вдруг да...— Он улыбнулся.— Знаете, как бывает?

— Знаю. Но то не забывай, что сроки есть, сроки подпирают. Поэтому путь надо выбирать деловой, кратчайший. Только так.

— Вы что же меня за фантазера считаете?— обиделся Виталий.

— Зачем? Просто запомни все, что я тебе сказал. А план твой одобряю. Давай действуй.

И Виталий по длиннейшему коридору отпрзился к себе.

В комнате было солнечно и душно. Пыль роилась в солнечных лучах. Стол напротив, одинокий и угрюмый, словно тосковал по своему хозяину Откаленко. Виталий уселся в старенькое, скрипучес кресло, удобно откинулся на спинку, вытянув длинные ноги, и придвинул к себе телефон. Прежде всего он позвонил наверх, в управление БХСС, своему другу Эдику Албаняну. После чего связался еще с несколькими местами и, в духу из них условившись о встрече, бодро поднялся из-за стола.

Первая встреча, на которую он спешил, должна была состояться недалеко от ГУМа, где по другую сторону улицы тянулись причудливые, старинные, на века, казалось, поставленные бывшие торговые лавазы и конторы, тут в наши дни разместились десятки различных мелких организаций и учреждений. Место это было совсем недалеко от Петровки, и Виталий решил отправиться туда пешком.

У широких дверей, к которым вели стертые за десятилетия бесчисленными подошвами волнистые каменные ступени, висело десятка полтора вывесок всех цветов и размеров — от очень солидных, черно-золотых, массивных до пестрых, где, кроме названия учреждения, был указан этаж и номер комнаты.

Виталий не сразу нашел среди этого обилия вывесок самую, пожалуй, скромную: «Спортбщество «Сокол», городской комитет, 2-й этаж, к. 247».

Длиннейшими ломаными коридорами с бесконечными поворотами и тупиками — на каждом углу целый пучок разноцветных стрелок указывал пути к нашедшим здесь приют учреждениям — двигался Виталий, пока в конце концов не обнаружил нужную ему комнату. В ней оказалось много людей, большинство из них были молоды, подтянуты и энергичны. В воздухе стоял гул голосов. К Виталию сразу же протолкался невысокий, моложавый, румяный человек, хотя и с лысиной уже и седоватыми висками, но весьма энергичный, в полосатой тенниске и, снизу вверх посмотрев на Виталия, деловито осведомился:

— Вы из баскетбольной?— И тут же категорически распорядился:— Тогда прошу...

Но его перебил другой человек, тоже седоватый, но не столь энергичный:

— Погоди, Лева. Это, кажется, ко мне.— И, обращаясь к Виталию, представился:— Соколов Василий Павлович. А вы товарищ Лосев?

— Так точно,— кивнул Виталий, улыбаясь.— Где бы нам спокойно побеседовать?

— Идемте в кабинет председателя, его сейчас нет,— предложил Соколов.— А секретаря я предупредил. Такая фирма, как ваша, пользуется уважением.

Соколов понравился Виталию: спокоен, рассудителен, держится с достоинством.

Просторный кабинет был увешан всякими таблицами, вымпелами, афишами и фотографиями, в застекленных шкафах мерцали металлические кубки и фигурки спортсменов, а на столе посередине комнаты разместился макет какого-то стадиона.

Виталий и Соколов уселись на диване, и Виталий, попросив разрешения, закурил.

— Вообще-то у нас не курят,— сдержанно улыбнулся Соколов.

— Даже у нас бросают,— согласился Виталий.— Я из последних. А теперь вот что меня интересует, Василий Павлович. Как ваша команда закончила прошлый сезон? И много ли ребят из позапрошлого состава в ней сохранилось?

— Как видно, вы интересуетесь именно позапрошлым составом?

— Вы угадали.

— А кем именно?

— Знаете, мне хотелось бы, чтобы вы сначала, так сказать, на равных, охарактеризовали весь тот состав. Можете вспомнить?

— Конечно. Этим составом мы впервые завоевали первенство города. Это большой успех.

— А на следующий год состав изменился?

— Да. Многие ушли. По разным причинам.

— И кубок ушел?

— И кубок,— огорченно кивнул Соколов.— Переходы, переманивания. Я протестовал, писал всюду, выступал. Безнадежное это дело. Заработал врагов и ничего не добился. В результате потеряли очень перспективную команду, в которую я столько вложил...

— Да. Бывает,— сочувственно согласился Виталий.— Так назовите мне игроков. А я буду записывать, если это вам не помешает.

Соколов принялся перечислять игроков. Виталий слушал, изредка делая какие-то бессмысленные пометки, только чтобы не дать понять, кем именно из ребят он интересуется, и вдруг обратил внимание, что после каждой такой пометки Соколов неизменно добавлял что-то отрицательное в адрес парня, о котором в этот момент говорил. Мол, что-то он у этого парня уже тогда подметил, но не придал значения, не успел разобраться. И еще чувствовалось, что Соколов, видимо, очень переживает упадок команды, уход хороших, перспективных молодых игроков, многочисленные переходы в другие команды, порой того же класса, и обвиняет в этом или своих врагов, завистников, конкурентов, или же самих игроков, неблагодарных, покидавших команду в погоне за «длинным» рублем и большими материальными благами. Словом, все кругом были людьми корыстными, эгоистичными, коварными, не любящими спорт той чистой, жертвенной любовью, как он, Соколов. И эти желчные обвинения тоже поразили Виталия. Нет, тренер сейчас уже не казался ему таким симпатичным, как в первый момент встречи. Да и манера говорить тоже у Соколова оказалась неприятной. Он почему-то торопливо глотал последние слова в фразе, нервно перескакивал с одной мысли на другую. При этом узкое лицо его со впалыми щеками и бесчисленными морщинами, особенно вокруг глаз и вокруг узкого, безгубого рта, становилось вдруг раздраженно-запальчивым, а в черных, глубоко сидящих глазах появлялись недобрая растерянность, смятенность. И Виталий невольно подумал, что вряд ли он у своих игроков пользовался доверием и симпатией. Хотя... Разве мог такой человек подарить Витке фотографию с пожеланием «Успехов тебе, Витя»? И ведь такую фотографию он, наверное, подарил каждому игроку и каждому ее подписал. Просто задержанный он, усталый сейчас, взвинченный и только притворяется

спокойным и самоуверенным. А на самом деле ему тошно и больно, потому что у него сейчас полоса неудач.

— У кого-то я видел фотографию всей команды возле кубка и вашу надпись на обороте,— сказал Виталий.

— Да, да,— подхватил Соколов с горькой усмешкой.— Отлично мы тогда поиграли и отличные были ребята.— Но тут же, словно спохватившись, добавил: — Не все, конечно.

— Вот и давайте продолжим,— сказал Виталий.

— Давайте,— согласился Соколов.— Теперь Коротков Виктор. Способный парень был, старательный. Даже больше скажу — фанатик был. Домой палкой прогонял каждый раз...— Он сдержанно усмехнулся, что-то вспоминая.— После того, как кубок взяли, пятерым из команды первый разряд присвоили. И ему тоже. Товарищ хороший. Любили его в команде.— Соколов, видимо, ничего плохого говорить о Витке не хотел, в том числе и об его уходе из команды, скандальном, видимо, уходе. И тогда Виталий сделал какую-то пометочку у себя в книжке. И Соколов тут же поспешно добавил: — Но неуравновешенный был. Из-за одного инцидента пришлось отчислить.

— Какого инцидента?

— Драка. Избил двоих игроков команды.

— Ого! За что же? — Виталий не уследил за своим тоном, и вопрос прозвучал излишне требовательно.

— Если хотите знать, то за дело,— неожиданно с вызовом ответил Соколов.— Я бы сказал, за предательство. Игру сдали противнику. Сами в ту команду перебежать собрались.

— Это было доказано?

— Нет, конечно. Спокойно перешли туда. Хотя все кругом знали.

— А что было с Коротковым?

— Отчислили, как я сказал. Ушел и пропал.

— А вы его не искали?

— Искал. Только не сразу. Это была последняя календарная игра. Меня отправили на курсы переподготовки. Потом всякая суета, сын болел, потом теща умерла.— Соколов досадливо поморщился.— Знаете, как бывает.

— А потом?

— Потом вспомнил. Разыскал. Парень опустился, запил. Играть отказался.

— А в результате потеряли не только хорошего игрока, но и хорошего человека,— с горечью сказал Виталий.— И теперь ему грозит суд.

— Так вы из-за него пришли?

— Именно.

— Что же он выкинул?

— Бросился с ножом на человека.

— Вот черт! Между прочим, это на него похоже. Он и раньше...

— Знаю. Вы все это замечали, только не было времени заняться. Так вот в отличие от вас мы такое время выкраиваем, чтобы не только отыскать, но и спасти человека, если еще можно. Хотя заняты не меньше вашего и работа у нас куда более нервная, можете мне поверить.

— Поздно вы его, однако, спасти-то взялись,— язвительно произнес Соколов.— Сами говорите, ему уже суд грозит.

— А раньше только вы могли. И вам он верил, между прочим. Лично вам, Василий Павлович. Но теперь уж давайте не перекладывать друг на друга ответственность. Я не для этого к вам пришел. Давайте подумаем, что сейчас еще можно сделать. Очень важно, с какими мыслями он пойдет на суд, как себя там поведет, с какими мыслями уйдет в ко-

лонию. Я убежден, это не потерянный парень. Таких вообще почти не бывает. А если говорить о Викторе, тем более. Вы согласны?

Запальчивые слова Виталия словно застали Соколова врасплох. Он нервно потер руки и с раздражением, но решительно спросил:

— Что от меня требуется?

Виталий помедлил, внимательно посмотрел на тренера и подчеркнуто холодно ответил:

— Ничего. Если у вас у самого нет желания вмешаться.

— Ну вы меня просто не поняли.

— Очень рад. Поясните в таком случае.

— Я готов для Короткова сделать все, поверьте. Но что можно сейчас сделать?

— Можно... увидеть Виктора.

— Увидеть? — растерялся Соколов.

— Да. И сказать ему, что вы его помните, что он, по вашему убеждению, способный футболист и хороший товарищ. Так вы говорили?

— Так.

— Ну вот. Сказать, что вы в него верите и будете его ждать. Да вы сами найдете, что ему сказать, вы только подумайте о нем, Василий Павлович.

— Да, да. Все это можно сказать, безусловно, можно,— заволновался Соколов.— При этом я даже не покривлю душой, уверяю вас. Это так и есть... так и есть... И я в самом деле буду его ждать. Только... Сколько он просидит, как вы думаете?

— Немного. Он, слава богу, не пустил нож в ход. Да и на суде вы, надеюсь, выступите. Личность подсудимого многое определяет в приговоре.

— Выступлю,— с воодушевлением объявил Соколов.— Непременно. Вы не думайте, ребята мне...— Он чуть запнулся и, стесняясь, закончил: — Они мне дороги. И... вообще спасибо. Хорошо, что вы пришли, честное слово. Надо думать шире, чувствовать шире. Не только о сиюминутном, не только о своем. Ведь если честно, то мы все время думаем о себе или в связи с собой. Нельзя так. Вы мне помогли в этом смысле. Так когда я могу его увидеть?

— Хоть завтра.

— Прекрасно. Завтра.

Они обо всем условились, и Виталий ушел.

На душе у него было легко и радостно. Все-таки всегда можно что-то сделать для человека, чтобы он стал чуть лучше.

Да, даже самый плохой человек и то... Впрочем, самым плохим сейчас был Гошка. И в первую очередь предстояло заняться им. Гошка — это не только наиболее верный путь к той загадочной троице за вчерашним угловым столиком. Нет, Гошка — это еще судьба и характер, которые предстоит переломить. Можно, конечно, его обмануть или запугать. Во имя, так сказать, высокой цели чего не сделаешь. Но это означает потерять человека — возможно, окончательно потерять. Надо вызвать у него какую-то чистую вспышку чувств, нащупав болевую точку в душе, но светлую, одну хотя бы. Должна же она найтись даже у Гошки. И что-то Виталий вроде бы нащупал. Конечно, это может быть ошибкой, осечкой. Но надо попробовать.

Итак, Семкин. Гошка Семкин. Георгий. И есть еще Михаил Семкин. Действительно работает электриком на автозаводе. Действительно передовик, член комсомольского бюро, замсекретаря, кандидат в члены партии. И вот теперь Виталию предстоит встреча с Михаилом. Через полчаса. Прямо на заводе, в цехе.

И снова гудящий поезд метро, длиннейшие эскалаторы, суетливые и многолюдные пересадки, и вот, наконец, последний из эскалаторов вынес Виталия на поверхность. Перед ним была знакомая ули-

ца. Длинные заводские корпуса за высокой, глухой оградой. Минова просторное бюро пропусков и проходную, Виталий оказался на огромном, в деревьях и аллеях, заводском дворе и, расспрашивая то одного, то другого встречного, добрался наконец до нужного цеха.

У входа его уже ждал худощавый парень с копной выходящих пшеничных волос и живыми серыми глазами на узком лице, у него были пухлые губы и тонкий хрящеватый нос. «Похожи братцы,—отметил про себя Виталий.— Здорово внешне похожи». На парне была модная джинсовая куртка и щеголеватые, с чуть заметным клешем брюки.

— Семкин,— представился он.— Михаил. Вы точно пришли.

— Нет времени опаздывать,— пошутил Виталий.— Где нам потолковать?

— Пойдем в сад.— Михаил показал рукой.— Вон скамейка свободная.

Виталий отметил про себя, что он сказал «сад», а не «двор». «И в самом деле, сад»,— подумал Виталий, снова бросив взгляд на бесконечные аллеи, посыпанные песком дорожки, клумбы и ряды подстриженного кустарника. Они усеяли на скамье, полускрытой за пушистой зеленой стеной, и Виталий самым безмятежным тоном спросил, жмурясь от солнечных лучей, вдруг пробившихся из-за облака:

— Слушай, ты Георгия давно видел?

— Гошку? А что? — сразу насторожился Михаил.

— Да заблудился твой братан.

— То есть как это заблудился? — возмущенно переспросил Михаил, и в лице его появилась какая-то жесткость. — Он просто спился, подлец. Опустился. Я, если хотите знать, давно уже ничего общего с ним не имею. Прошу это учесть.

— Та-ак...— протянул Виталий.— Учтем, конечно. А родители ваши где?

— Померли родители.

— Как так?

— Пожар случился. Мать отца бросилась спасать, он спал. Ну и вместе с ним, героически...

— Давно?

— Три года назад. С тех пор Гошка и покатился.

— Ты же не покатился?

— Я в мать и отца, а он черт знает в кого уродился. Вот и поставил я на нем крест.

— Так ведь брат же?

— Ну и что? Я считаю, друг дороже любого родственника. Друга как-никак выбираешь. А родственник сам объявляется. И какой он ни есть, любить его прикажешь? Ни фиги. Вон братца судьба подкинула. Нужен мне такой, дмаешь?

— Ты, Михаил, женат?

— Женат. И сын растет. Все, как у людей. Слышал между прочим, что меня кандидатом в депутаты хотят выдвинуть. Есть такой план. И бригадиром сделать. Передовой бригады.

— Да, добиться с твое не просто.

— Вот-вот. Пусть и он попробует.

— А ты помоги. Он вроде тебя уважает.

— Меня все уважают.

— Вот и помоги. Хотя бы как будущий депутат.

— Я только по нашему району пойду,— улыбуясь возразил Михаил.— А вообще чего это ты о Гошке заговорил?

— Сам говоришь: «покатился», «опустился». Ну, а нам с такими вот и приходится дело иметь. Именно с такими, к сожалению.

— Вот и дай, действуй. А у меня и, кроме Гошки, забот полон рот.

— И все же брат он тебе.

— Какой он брат? Брат другом, помещником должен быть, а этот...

— Ну вот что, Михаил,— задумчиво произнес Виталий.— Либо ты примешься за своего братца, либо я в твою партийную организацию пойду. И не быть тебе тогда ни депутатом, ни бригадиром, ни передовиком. Один позор будет, учти. Такого эгоизма и бездушия я даже не ожидал.

— Да что ты! Я же всей душой рад! — всполошился Михаил, и на красивом лице его отразилось искреннее отчаяние.— Но с какой стороны за него приниматься, ты скажи?

— Вот это уже другой разговор. Вдвоем мы авось что-нибудь и придумаем. Терпение тут нужно, упорство. Случай с Гошкой, как говорят, запущенный. Так что, Миша, не пожалей сил.

— Что скажешь, то и сделаю,— пожал плечами Михаил.

— Так ты же его лучше меня знаешь.

— Я его вообще знать не желаю, если уж на то пошло,— снова озлившись, отрезал Михаил.— Вообще! Он мне, сукин сын, всю биографию портит. Сколько я из-за него пережил, ты бы знал. А теперь, гад такой, еще в тюрьму вот-вот угодит. Так ведь, я понимаю? Совсем биографию мне искорежит...

— Вот и надо постараться, чтобы этого не случилось. Ты правильно понимаешь. На пути он туда.

— Ну да?! — В глазах Михаила мелькнул испуг. — Что ж теперь делать?

— Во-первых, встретиться с ним. Лучше всего сегодня же вечером.

— Его еще разыскать надо.

— Разыщешь. Дружески встретиться надо, по-братски. Он тебя, по-моему, любит, как ни странно.

— Чего ж ему меня не любить, слава богу...

— Ладно, ладно. Так вот, уговори его все бросить, чем он сейчас занимается. Скажи, милиция за ним уже смотрит, уже на след его вышла. Если боится открыто рвать, пусть тихо отходит в сторону, пусть исчезнет. Обещай его на завод к себе устроить, в свою бригаду взять.

— На кой черт он нам в бригаде? — вскипел Михаил.— Нам первенство надо вырвать в этом квартале, хоть умри. Тогда я бригадиром стану. Уже заметано.

— Не вытянешь Гошку — позор тебе будет на весь завод,— сказал Виталий,— во сне только бригадиром станешь.

— Ну, ладно уж, ладно,— примирительно ответил Михаил.— И откуда ты только свалился на мою голову?

— И помни, я узнаю о вашем сегодняшнем разговоре. Если Гошка поведение изменить не захочет, значит, не от души ты с ним поговорил, не поверил он тебе. А он должен поверить, понял? Он должен испугаться, должен обрадоваться твоей помощи, начать отход. Начать — вот что главное. Понял ты?

— Понял, понял.

— Гляди, Михаил. От этого и твоя блестящая биография будет зависеть. Уж я постараюсь.

— Сам вижу,— тоскливо произнес Михаил.— Все. Решено и подписано. Если уж я слово даю, то будь спок.

Они расстались, и при этом оба испытали немалое облегчение.

Эдик Албанян оказался на месте, как обещал еще утром. Это был поразительной точности человек. Но главное, что он был мастером в своем деле — а дело это нитруднейшее, ибо работал Эдик в службе БХСС. Однажды, между прочим, ему предложили неслыханную взятку. Подкупить его пытались не

раз, но эта взятка отличалась просто небывалыми размерами. Он ее принял с такой искренней жадностью, что на крючок попались жулики редкого масштаба и опыта. С тех пор его имя приобрело жутковатую популярность среди потенциальных «клиентов». Но во всех остальных отношениях Эдик был веселым и общительным человеком, верным другом и душой всех дружеских застолий.

Через три минуты после телефонного звонка Эдик появился в комнате Виталия и с порога объявил:

— У меня ровно сорок минут. Излагай, чего у тебя там.

— Излагаю,— так же деловито ответил Виталий.— В парке есть некие заграничные аттракционы, ты их видел?

— Это, дорогой, не криминогенные объекты,— небрежно махнул рукой Эдик.

— А вот ты послушай.

Виталий сумел все рассказать, как отметил Эдик, за какие-нибудь восемь минут, и на обсуждение, таким образом, осталось целых полчаса.

— Следили, значит? — с интересом переспросил Эдик.— И за Петром и за тобой? Так, так, так... Помнится, года два назад было дело тоже с аттракционами, в другом, правда, парке. Там крутили «вертушку».

— Это что такое?

— Элементарная вещь. Передавали использованные билеты обратно в кассу. И снова их продавали. В конце смены образовывались излишки денег.

— Возможно, и тут так.

— Надо посмотреть.

— Не дают посмотреть.

— Ну-ну. Что значит «не дают»? Надо, дорогой, уметь смотреть. А вы же не смотрели, вы просто «лупили зенки»,— покровительственным тоном произнес Эдик.

— Что ж, маэстро, посмотрите сами.

— Обязательно. Даже любопытно.— Эдик взглянул на часы.— Сейчас семнадцать двадцать пять...— Он что-то подсчитал про себя и объявил: — В девятнадцать успею туда. Они вечером работают?

— Они, кажется, до ночи работают.

— Еще бы. Впрочем, поглядим, поглядим,— тоном профессора, которого приглашают на важную консультацию, произнес Эдик.

— Будем бесконечно признательны,— в тон ему ответил Виталий.— Ждем с нетерпением ваше заключение.

На следующее утро Виталий приехал на работу, как всегда, к десяти, несмотря на субботний день. И, несмотря на этот день, застал на работе следователя, который принял к производству дело Витки Короткова. Следователем этим был Володя Фролов, давний приятель Виталия.

Когда Виталий зашел в кабинет, Володя уже сидел за столом, заваленным бумагами. На спинке кресла, за его спиной, висел милицкий китель с капитанскими погонами и университетским «поплавком». Володя даже снял галстук и расстегнул ворот форменной сизовой рубашки. И все-таки нестерпимый зной терзал его в этом залитом солнцем кабинете. Лицо покраснелось, по щекам стекали струйки пота. Володя сидел в темных очках и что-то сосредоточенно писал. При звуке раскрывшейся двери он поднял голову, узнал Виталия и, улыбаясь, приподнялся, чтобы пожать приятелю руку, потом снова опустился в кресло и, сняв очки, довольным тоном произнес:

— А еще говорят, нет телепатии. Я тебя только что мысленно призывал.

— Совершенно явственно уловил,— согласился Виталий.— Что же тебе от меня надо?

Фролов устало вздохнул.

— Поручение хочу тебе дать. Допроси-ка еще раз этого стервеца Короткова. Ни с кем другим он разговаривать не желает. Как пень, понимаешь, молчит. Час молчит, два. Я уговариваю, я доказываю, я нервы расходую. А ему, видите ли, подавай Лосева. Такой, видите ли, незаменимый, исключительный Лосев объявился.

— Ну и подай ему Лосева, что тебе стоит.

— Вот я и подаю.

— С одним условием. Сначала к нему придет его бывший тренер. Разрешит свидание.

— Какой еще тренер, откуда ты его выкопал?

— Это уже отдельная история. Ты пока разреши. Он скоро придет.

— Нельзя пока свидания, ты же знаешь.

— Это тот случай, когда свидание необходимо. Для дела. Веришь мне?

— Верю, конечно. Но...

— Слушай, Фролов,— сердито сказал Виталий.— Я ведь все равно добышу. Только лишнее время отберу у тебя, у себя, у начальства. И всем нервы попорчу. Лучше уж сам разреши.

— Черт с тобой, разрешаю. Когда допрос проведешь?

— Сразу после свидания. Для допроса и вызову.

— Ну-ну. Даже интересно, как этот пень заговорит человеческим голосом.

— Это, милый мой, не пень,— невольно подражая интонации Кузьмича, возразил Виталий.— Это еще недавно был вполне хороший парень и футболист, между прочим.

— Ага, вполне хороший парень был, конечно,— саркастически передразнил Фролов.— Если бы на месте Шухмина кто еще оказался, то вполне возможно, что этот хороший парень стал бы убийцей.

— Я же говорю «недавно был». А потом случилась трагедия, Володя. Обычная человеческая трагедия.

— А для чего тебе тренер понадобился?

— Он, понимаешь, обещал мне свою ошибку исправить. Серьезную педагогическую ошибку. Мы уже договорились.

— Поздно он спохватился,— сердито заметил Фролов.

— Такие ошибки исправлять никогда не поздно. Трудно, это да. Но не поздно. Пока человек дышит, думает, чувствует.

Фролов внимательно посмотрел на Виталия.

— Ты мне потом все подробно расскажешь, ладно?

— Конечно, расскажу.

Виталий поспешил к себе. Вскоре пришел Соколов, сосредоточенный и задумчивый. Он поздоровался с Виталием и, опустившись на стул, нетерпеливо спросил:

— Где Коротков?

— Виктор здесь,— ответил Виталий.— Сейчас я велю его привести и оставляю вас одних.— Он повернулся к телефону и, набрав короткий номер, отдал распоряжение.

— На допрос? — переспросил Соколов.— Почему на допрос?

— Я проведу допрос сразу после вашего свидания с Виктором,— пояснил Виталий.— И очень на вас надеюсь, Василий Павлович. Виктор должен поверить, что не все для него пропало, что и сейчас еще многое зависит от него самого. Надо веру вселить в него, силу для борьбы. Хоть каплю веры и силы.

— Да, да. Я это сделаю,— кивнул Соколов, нерв-

но потирая руки.— Вы очень правильно сказали. Признаться, я даже не ожидал тут, в этих стенах... Ну да, прекрасно, прекрасно. И я ваш союзник. Да, да. Будьте уверены.

Через несколько минут в дверь постучали, и на пороге в сопровождении милиционера милиционера появился Витька. Лосев не видел его три дня. За это время парень разительно изменился. Темные круги под запавшими глазами, тоскливый, затравленный взгляд, щетина на осунувшемся лице, серая куртка измята, волосы на голове торчат в разные стороны.

— Здравствуй, Витя,— сказал Виталий.— Садись.

— Здравствуй, Виктор,— как эхо, повторил за ним Соколов.

Но ошеломленный Витька продолжал стоять на пороге, все еще заложив руки за спину, уголки рта его нервно подергивались. Он смотрел на Соколова.

— А вы-то чего тут? — грубо спросил он.— На тренировку звать пришли? Теперь они вон меня тренируют,— и кивнул на Виталия.

— Мне надо с тобой поговорить, Коротков,— деловито и сухо сказал Соколов.— И побыстрее садись, пожалуйста.

Виталий про себя порадовался: кажется, Соколов нашел верный тон. Очевидно, этот тон был привычен для его подопечных. Потому что Витька смолчал и послушно опустился на стул возле письменного стола Откаленко, за которым сейчас сидел Соколов.

— Я вас оставляю,— сказал Виталий, поднимаясь.— На полчаса, Василий Павлович, больше не могу.

— Нам хватит,— коротко ответил Соколов.

Лосев вышел, плотно прикрыв за собой дверь.

Полчаса он бродил по коридорам, заходил в чужие кабинеты, нервничал и не мог собраться с мыслями, когда его о чем-нибудь спрашивали. Потом он забрел в буфет и машинально выпил там бутылку кефира.

Ровно через полчаса он вернулся в свою комнату. На морщинистом лице Соколова он прочел усталость и раздражение, на лице Витьки — злое упорство. Видимо, разговор не получился. Расчет Лосева обернулся просчетом. И Лосев почувствовал вдруг тоже усталость.

— Все,— как можно спокойнее сказал он.— Спасибо, Василий Павлович.

Тот молча поднялся со своего места, дал Лосеву пропуск для подписи и напоследок обратился к Витьке:

— До свидания, Коротков. На суд я приду.

«Ага,— подумал Виталий.— Возможно, все не так уж плохо». Когда Соколов вышел, он сказал:

— А теперь, Витя, проведем официальный допрос по поручению следователя.

— Валий, если надо.

— Будешь говорить?

— Это смотря чего.

— Все, о чем спрошу.

— Во всем только богу исповедуются. А его нет, говорят.

— Вот я на его месте и буду.

— А он еще и грехи отпускает. И ты тоже? — Витька криво усмехнулся.

— Отпустить не могу. Могу только помочь замолить.

— Я ваши молитвы знаю. Признавайся во всем, и точка.

— А зачем нам твои признания, как думаешь?

— Ну, как зачем? Чтобы дело раскрыть.

— Какое дело! Больше того, что уже раскрыто, за тобой ничего нет. А в том, что раскрыто, признаний твоих не требуется, сам понимаешь. Сейчас дело в другом, Витя. Сейчас надо думать, как наказание твоё, справедливое наказание, смягчить. И не только в том смысле, чтобы уменьшить. А еще и в

том, чтобы легче тебе его перенести. А переносить его будет тем легче, чем спокойнее, увереннее будет у тебя на душе.

— Ты за мою душу не волнуйся,— хмуро ответил Витька и, в свою очередь, спросил: — Это ты Василий Павлович сюда зазвал?

— Ну я.

— А зачем?

— Он мне интересную вещь про тебя сказал. Сот я и попросил, чтобы он тебе ее повторил. А то ты мне не поверишь.

— А сму, думасшь, поверю? Да если мне только, скажем, два года просидеть,— при этом голос Витьки невольно дрогнул,— то и тогда из меня потом такой же игрок, как из мартышки. Что, я не знаю?

— Это как сказать,— возразил Виталий.— Если человек без обеих ног мог летчиком-асом стать, если спортсмен, переломав в аварии руки и ноги, смог — тоже, кстати, через два года — новые рекорды ставить, то чего ты-то скулишь? Сейчас, Витя, не скулишь, сейчас четко понять надо, что следует делать.

— Ну и что делать?

— Я сказал: уменьшать срок и достойно его вынести. А для этого надо не просто о свободе мечтать. Волк, когда его поймают, тоже о свободе мечтает. А тебе надо иметь реальную и светлую цель. Вот так я считаю.

— Нет у меня такой цели, брось крутить,— отрезал Витька и даже отвернулся.

— Нет? — переспросил Виталий.— Давай поглядим. Только для начала условимся: что есть главная цель для каждого человека вообще? Если он, конечно, человек, а не тряпка половая, о которую все ноги вытирают. Вроде, скажем, Володьки-Дачника.

— Ты откуда его...

— Знаю его, знаю. Я теперь много чего знаю. Увидишь.

— Не все ты знаешь. Володька-Дачник, чтоб ты еще знал,— запальчиво произнес Витька,— тоже человек, хоть и алкаш.

Лосев вздохнул.

— Далеко он от человека ушел, Витя. У него уже нет главной цели. А главная цель у человека — счастье. И у тебя она может быть.

— Это слово только в газетах пишут, а я их не читаю,— насмешливо возразил Витька.— И потому слова этого не знаю.

— А вот я тебя счастливым видел.

— Где ж это, интересно?

— На фотографии. Где вся команда, с кубком.

— Ты что,— нахмурился Витька,— дома у меня был?

— Был.

— И мать видел?

— Видел, конечно. А ты ту фотографию помнишь?

— Ясное дело, помню.

— Вот что такое счастье, Витя. И заметь, если бы вам этот кубок просто с неба упал — ну подарил кто-нибудь, — а не взяли бы вы его в трудной борьбе, никакого счастья, никакой особой радости не было бы. Ну, упал с неба и упал. Хорошо, что не разбился. Матери можно отдать, чтоб цветы туда ставила. А вот борьба и победа дали счастье. Верно я говорю или нет?

— Похоже. А еще ты кого дома видел?

— Ляльку.

— Про меня спрашивала?

— Конечно. Но я ей сказал, что не знаю, где ты.

— Как она там?

— Ты лучше меня знаешь это. При мне она твоё варенье лопала. Так мне и доложила: «Это Витька мне купил». Да, Витя, о ней тоже подумать надо.

— Что же я отсюда сделать могу? — сквозь зубы процедил Витька.

— А ты что-нибудь раньше сделал? Ты ведь и не задумывался раньше над Лялькиной жизнью. А за Ляльку бороться надо побольше, чем за кубок. И победа тут тоже для тебя радостью будет. Разве нет? Если не чужие люди, а ты сам Лялькину судьбу устроишь. Вот тебе и еще счастье.

Незаметно Лосев втянул Витьку в разговор, который тому сейчас больше всего был нужен, на который тот внутренне был уже настроен после дней, проведенных в неволе, первых, отчаянных, страшных дней, когда все, кажется, с грохотом рушится для тебя, все-все вокруг, и неизвестно, зачем дальше жить. В этот час разговор, в котором мелькает надежда, пусть самая маленькая, самая далекая, — такой разговор в этот тяжкий час необходим человеку.

— Мозги-то у тебя неплохие, их только проветрить надо, — сказал Виталий. — Вот ты говоришь, Володка-Дачник не окончательно пропащий человек. Если ты о нем так говоришь, что же тогда о тебе самом сказать?

— Это уж тебе виднее, — усмехнулся Витька, внешне чрезвычайно небрежно.

— И Гошка, по-твоему, не пропащий?

— От этого одна вонь. Стрелять таких надо.

— Стрелять никого не надо, Витя. Никого. Чтобы другим пример не давать и чтобы себя самого в конце концов не изуродовать. Это тебе не война и не защита Родины.

— А я говорю, стрелять его, — со злостью повторил Витька.

— Да что ты против него такого имеешь? — удивился Виталий. — Неужели только за то, что он ударил, когда тебя взяли?

— Мало, да?

— Мало для такой злости, как у тебя. Ты ему лучше спасибо скажи. Может, останься он, и не взяли бы тебя. И разговора у нас с тобой такого не было бы. А главное, не задумался бы ты над своей жизнью и над чужой тоже.

— Ну, ты даешь, — даже присвистнул Витька.

— Помнишь, я тебе сказал, что больше того, что уже раскрыто, за тобой ничего нет? Так вот, больше нет, а меньше есть, Витя. Но это уже и других касается, не одного тебя. И я считаю, что во всем должна быть справедливость. Так вот, по справедливости Борода, допустим, должен тоже свое получить. За «станок». Верно?

— Это ты все откуда же выкопал? — изумился Витька, на миг теряя свою напускную сдержанность и даже по-мальчишески приоткрыв рот.

— На набережной в парке копал, — улыбнулся Виталий. — Ох, богатые там залежи, я тебе скажу. Не поверишь даже.

— Это я-то не поверю? — снисходительно усмехнулся Витька.

— Ты из себя большого деятеля не строй. Ты шестеркой был, а они козырные тузы в той игре, что Борода, что Вадим Александрович.

— Ну ты даешь, — удивленно и растерянно повторил Витька.

— Ошибаюсь?

— Допустим, что нет.

— То-то. За мной, между прочим, тоже от аттракционов пошли, когда я там «зенки паялил». Гошка опять пошел и еще один. Тут мы и познакомились. Вот тогда мне Гошка и показал Бороду, Вадима Александровича и еще третьего, как его?

— Гороха?

— Во-во, Бориса Егоровича. Они за своим столиком в тот вечер сидели.

— Да ни хрена Гошка не знает, — пренебрежительно махнул рукой Витька. — Что велят, то и де-

лает. Ну и свое получает, ясное дело. В охране он. Контрнаблюдение, как Горох говорит.

— И ты там числился?

— И я. А как станок печатает, это мы не знаем.

— А кто же знает?

— Кто придумал.

— Борода?

— Ну.

— А за что ты его сволочью назвал там, на фотографии?

— За дело.

— И все его так?

— Ага.

— И Гошка?

— Этот больше всех. — Витька недобро усмехнулся.

— Почему?

— Гошка за дочкой Бороды ухлестнуть хотел. А она его с лестницы спустила. И Борода с работы прогнать грозил. Гошка, понятно, кое-чего против него задумал.

— Что же?

— Не знаю. Но при случае продаст он Бороду, точно тебе говорю.

— Так сам же говоришь, он ничего не знает. Чем же торговать?

— Для такого случая узнает.

— А ты не считаешь, что Борода свое получить должен?

— С меня ему получать нечего.

— Плохо, если так думаешь. Выходит, если он тебе хрусты давал, то уже купил тебя со всеми потрохами, так, что ли?

— А больше он мне ничего не делал.

— А другим? Ведь на каком-то обмане его «станок» работает, верно?

— Кто его знает.

— Кто же еще в курсе, кроме тех троих?

— Кто? — Витька посмотрел на потолок. — Ты у Майки спроси, кассирши.

— А кто она такая, чтобы знать?

— Майка-то? — усмехнулся Витька. — Да ты на нее посмотри сначала. Борода ее недавно Вадику, говорят, отдал. В карты проиграл.

— Да ты что?

— У них так, — широко улыбнулся Витька. — Феодализм. И потом, — многозначительно добавил он, — через нее все деньги идут. Касса. Понимать надо.

— Что уж они там все, как один, друг за друга? И не задумываются, что когда-нибудь отвечать придется? Вот Горохов, к примеру?

— Ему Нинка задуматься не даст.

— Это кто такая?

— Жинка его. Он ее тоже в кассирши определил. Ну зверюга, я тебе скажу, — убежденно потрянул головой Витька. — Вообще-то бабы вроде потише мужиков, это факт. Но уж ежели какая из них звереет или бесстыжей становится, то любого мужика перешибет. Нинку даже Борода боится.

— И Вадик?

— И он.

— Может, она и имеет больше них?

— Не. Дело в их руках.

— Что же все-таки за дело, а, Витя?

Вопрос этот вырвался у Лосева невольно.

— Кто его знает, — тотчас замкнувшись, ответил Витька. — Меня не касается.

— Ну ладно. Хватит, пожалуй, на сегодня, — объявил Лосев и, вздохнув, добавил: — Эх, Витя, ничего ты мне под протокол не сообщил. Ну хотя бы обещаю мне одно: не молчи, как пень, когда тебя следователь Фролов допрашивать будет. Не порть себе картину.

— Что тебе сказал, ему не скажу, — упрямо набычившись, заявил Витька.

— Да ты про себя про одного говори. Какис тут секреты?

— Секреты не секреты, а выворачиваться не желаю.

— И не выворачивайся. Только по фактам говори.

— Ладно, — снисходительно кивнул Витька. — Для тебя уж, так и быть.

Виталий сухо возразил:

— Ты одолжений не делай. Тебе это нужнее всех, запомни.

— Ладно, ладно, — примирительно повторил Витька.

На том они и расстались. Конвой увел арестованного.

Виталий задумчиво прошелся по комнате, разминаясь, на ходу с силой покрутил руками и даже сделал несколько резких прыжков. Часа три проговорили они с Коротковым, не меньше. Но не зря, совсем не зря: Витька задумался. Безусловно, задумался. Кое-что все-таки удалось впопыхах нащупать, за что-то удалось ухватиться в этой пропащей, казалось бы, душе. Не упустить бы только. Вдруг, взглянув на часы, он торопливо подошел к телефону и набрал длинный городской номер.

— Светка?.. Это я. Слава звонил?.. Ну я скоро приеду. Обедать будем. Когда?.. — Он снова взглянул на часы. — К трем, скажем, идет?.. Да, и он тоже... Потом опять придется уехать. — Голос Виталия стал виноватым и расстроенным. — Да, на весь вечер... Ну пока.

«Черт возьми, ну что за проклятая работа», — досадливо думал Лосев, снсва принимаясь шагать по комнате. Ведь вот как у других? Суббота, воскресенье — делай, что хочешь, и поезжай, куда хочешь. В другие дни свои восемь часов отработали — все, домой до завтра. И спокойная ночь впереди. А тут? Хоть и ничего не случается, все равно спишь вполуха, в любой час тебя могут вызвать, если что. И срываешься, как сумасшедший, только бы пистолет не забыть. И никто же на аркане сюда не тянул, сам пошел, дурацких книжек начался, эдаким романтиком был... А мог бы после института вполне солидно распределиться. Ну допустим... И Виталий принялся перебирать в памяти все спокойные, достойные места, куда бы он мог устроиться, куда его даже звали. В конце концов Виталий домсчитался до того, что самому стало противно. Устал он, здорово устал, вот и все.

Он подсел к столу и позвонил Володе Фролову. Но трубку никто не поднял. Володя, очевидно, уже ушел. И правильно, все-таки суббота как-никак. Виталий собрал со стола бумаги, аккуратно спрятал в сейф, запер его, привычно опсчитал, затем еще раз оглядел пустой стол. Вечером предстояла встреча с Гошкой. Предстояло нелегкое единоборство, ведь следовало заставить Гошку сказать то, что он говорить ни в коем случае не хотел. Надо будет как-то сбить его, ошеломить, переубедить. Это Гошку-то, с которым еще никто не пытался, да и не смог бы сладить. А вот он, Виталий, попытается. Интересно, что получится. Вдруг да одним подлечом в результате станет меньше, вдруг да добавится, не сразу, конечно, но в конце концов один хороший человек? А ведь от каждого такого случая круги идут, далеко идут...

Виталий усмехнулся и потер лоб. Размечтался он, и черт-те куда его занесло. Вот и Кузьмич его, между прочим, фантазером считает и Игорь тоже, кстати.

...Обед прошел как-то неожиданно празднично в эту рядовую субботу. Вероятно, присутствие Славки



придало ему некую приятную необычность. А бутылка сухого вина, торжественно водруженная Светкой, завершила это впечатление.

— У нас с таким видом,— ехидно заметил вполне освоившийся Славка,— на свадьбу ведро водки ставят.

— А у нас тоже почти свадьба,— лукаво ответила Светка, взглянув на Виталия.— Даже две, если хотите. Во-первых, некая годовщина...

— Завтра! — возразил Виталий запальчиво.— А какая вторая свадьба?

— Скажи, Слава,— обернулась Светка к гостю.

— А! — скрывая улыбку, сказал тот.— Помирились.

— И завтра оба придут на мой пирог,— с воодушевлением добавила Светка.

После обеда Виталий ушел, вздыхая и всячески стараясь угодить надувшейся Светке. Впрочем, в последнюю минуту она все же оттаяла.

...Парк уже изрядно надоел Виталию со всеми своими фонтанами, аттракционами, танцплощадками и толпами гуляющих. Отовсюду доносилась музыка, казалось, ею был перенасыщен весь парк. Кругом слышались оживленные возгласы, смех, чей-то свист. В толпе снова стали мальчишек.

Виталий прошел знакомым путем на набережную. На площадке перед аттракционами толпа уже поредела. По радио объявили, что продажа билетов заканчивается. Миновав пестрые ограды аттракционов и не заметив при этом ни одного знакомого лица, Виталий подошел к каменному парапету и присел на него. За его спиной, на реке, застыла сверкающая махина ресторана, оттуда через открытые окна и иллюминаторы тоже неслась музыка. Мимо Виталия проходили незнакомые люди, не обращая на него решительно никакого внимания. Но ему все время чудились чьи-то настороженные, враждебные взгляды. Само место наводило его на эту неприятную мысль.

Наконец у парапета возник Гошка и возбужденно спросил, бегая глазами по сторонам:

— Ну что, двинули?

— Слышь,— сказал Виталий.— Хороша тут одна девка у вас.

— Майка-то? — безошибочно определил Гошка.— Хошь познакомиться?

— А удобно?

— Ха! С ней чего хошь удобно. Она за мной, знаешь, как бегала? Ну, потом мне надоело, сколько можно? Борода отдал. А он ее в карты проиграл, понял? Ха-ха-ха!

Виталия всего передернуло от его самодовольного, наглого смеха.

— Так познакомиться? — спросил Гошка.

— Ну давай,— согласился Виталий.

Гошка огляделся. Кассы уже закрылись, возле них никого не было.

— Айн момент,— бросил Гошка и направился к одному из аттракционов.

Вернулся он быстро. Рядом с ним шла невысокая девушка в легком платье, четко обрисовывавшем ее стройную фигуру. Темные волосы были модно подстрижены, челка наползала на глаза. Тонкое лицо выглядело в полумраке бледным и усталым.

— Познакомься, Майечка,— сказал Гошка,— мой закадычный кореш. Как тебя увидел, так покоя лишился. Познакомь да познакомь. Ну, я что ж... я человек добрый. Для кореша все. Ты уж меня... это самое...

К своему удивлению, Виталий уловил заискивающие нотки в его голосе. Девушка небрежно, снизу вверх оглядела Виталия и пожала плечами.

— Ну длинный. А еще чего?

— Молодой и красивый,— со смешком добавил Гошка.

— Молодые сейчас на одну зарплату живут... Тебя как зовут?

— Виталий. А тебя?

— Уже знаешь. И где ты трубишь?

— В Сокольниках.

— Шустришь, вроде нашего Гошеньки?

— С первой встречи, Майечка, говорить о работе не принято,— ответил Виталий.— Если подружимся, все узнаешь.

— Ну что ж, попробуем подружиться, у меня сейчас некомплект ухаюров. Запиши телефон. А здесь ко мне не подходи.

— Это почему?

— Глаз много. Утром звони, до девяти. Пока я в постельке...— Она коротко рассмеялась.

— Ну, а как сегодня? — на всякий случай выразил нетерпение Виталий.

— Сегодня я занята. Гошка, такси мне сейчас найдешь,— повелительным тоном сказала Майя.

— Айн момент,— обрадованно и по-прежнему заискивающе отозвался Гошка.

— Ну, так пошли, мальчики.

Втроем они направились к выходу из парка. Гошка подогнал такси мгновенно, так что Виталий не успел сказать Майе и двух слов.

Когда девушка уехала, Гошка нетерпеливо спросил:

— Ну, а нам куда?

Они двинулись в сторону большой, залитой огнями площади. У Виталия уже довольно давно появилось в городе два-три надежных места, где он мог спокойно встретиться с кем угодно, где его знали и он мог быть уверен, что встречи его пройдут незаметно для окружающих и будут обставлены, как надо. Одним из таких мест была маленькая «Блинная» возле той самой площади. Оглядев с презрением ее скромный фасад, Гошка насмешливо присвистнул.

— Ну, Длинный, куда это ты меня приволок? Здесь одни мыши крупу жуют.

— Не суди, Гошка, по виду.

Уже через полчаса, сидя в маленьком закутке возле общего зала и жадно уплетая тонкие хрустящие блины с разнообразной закуской, Гошка, отдуваясь, сказал:

— Ну, ты, Длинный, и место же выбрал! Какую Христа за пазухой,— хитро подмигнул Гошка.

— А тебе, Гошка, не приходила мысль поменять работу? — поинтересовался Виталий.— Не жарко тебе на ней стало, не припекает зад-то? — Вопрос этот Виталий задал, когда Гошка достиг того состояния, в котором потребность излить душу становится уже невыносимой.

— Я тебе так, Длинный, скажу. Все бы ничего, но братан в печенку залез. Бросай да бросай. Ко мне на завод иди. А мне его завод нужен...— Гошка сплюнул.— Но вообще-то паленым запахло.

— Это как понять?

— А так. Первое, значит, это братан чего-то, видать, дознался. Тюрягой грозит. Второе, парень у нас один пропал. Хрен его знает, где он.

— У Бороды спроси.

— Да пошел он на хрен, Борода. Я его, жабу, еще и не так подставляю. Вот он у меня где.— Гошка сжал кулак.

— Борода-то знает, где он у тебя? — с иронией осведомился Виталий.

— Раньше времени ему знать про то незначит. Что сделали у него, это так, начало только,— мстительно ухмыльнулся Гошка.— Я его всего закопаю. Погоди.

— Ты зря не свисти,— махнул рукой Виталий.—

Про Бороду надо знать только одно, чтобы его закопать: как он «станок» крутит.

— Кое-что знаем,— обещающе кивнул Гошка, уплетая блины.

— Сам ты, Гоша, что думаешь делать? Всю жизнь шестеркой не пробегаешь.

— А чего мне думать? За меня вон братан думает. У него думалка, знаешь, какая?

— Чужим умом жить — все равно что чужими ногами ходить. Хуже нет.

— Плевать. Мне сейчас во как хорошо, понял?

— Братану за тебя плохо не будет?

— А кто чего про меня знает? — подозрительно спросил Гошка.

Виталий покачал головой.

— Эх, Гоша. Я тебе одно предложение хотел сделать. Но тут надо своей головой работать, вот ведь что. А у тебя, видать, чурка вместо головы.

— Но, ты! Больно длинный. Я тебя покороче сделаю.— Гошка обозлился.— Ишь! Один с одной стороны, другой — с другой. А я не желаю, понял?

— Значит, работой доволен? — усмехнулся Виталий.— И дальше шестерить у Бороды будешь? Ну валяй, валяй. Каждому, конечно, свое. А между прочим, с ними пойдешь, если что. Сам говоришь, дымитς вокруг. Тогда чего ты ждешь, скажи, а?

— Слышь,— помедлив, сказал Гошка, и голубые глаза его стали задумчивыми, он даже есть перестал.— А я убегу. Ей-богу, убегу. Пусть они тут сами свое дерьмо расхлебывают.

— Захлебнутся,— усмехнулся Виталий.

— Это точно. Но у них зараз все повывокыривать надо, голенькими чтобы побегали. У Бороды вот уже поковыряли,— злорадно сказал Гошка.— Но много чего еще осталось. Не хошь ковырнуть? Я адресок дам. У него все сверху выставлено, как в музее. А вот у Вадим Саныча — нет, у него все у матери, в Воронеже. А у Гороха Нинка — казначей. Там ничего не найдешь, у змеи этой.

— А Горох чем у них ведаёт?

— Горох людей ищет. Или убирает, если что.

— А как это он убирает?

— Так и убирает. Другой поглядит-поглядит кругом и жить с нами отказывается.— Гошка пьяно ухмыльнулся.— Хорошо, если сам уйдет. А то ведь иной нас норовит вытурить. Ну тут уж извини-подвинься. Горох ему хлебало заткнет.

— Неужто на нож поставит? — недоверчиво спросил Виталий.

— Как дело пойдет, а то и на нож. Один тут уже бумагу накатал. Прислали его к нам билетером... Но передать не успел. У Гороха нюх собачий. Учужал.

— И что?

— А то. Был Николай, и нет Николая. Такой фокус! — залился пьяным смехом Гошка.

Виталий чуть не смазал по этой гнусной роже. Просто руки зачесались. Но сдержался. Он уже давно привык сдерживаться. Только чуть ошипшим от волнения голосом спросил:

— Выходит, на мокрое Горох пошел, не побоялся?

— Он одну Нинку боится,— осклабилсЯ Гошка.

— И ты около него тереться не боишься?

— А я и вправду убегу,— со злым упрямством произнес Гошка, пристально глядя в маленькое окошко.— Нет моего согласия на такие дела, понял? Да я скорее себя порешу, чем другого кого,— с надрывом произнес Гошка, стукнув себя кулаком в грудь.— Я его морду сейчас видеть не могу, Гороха. Только ты, Длинный...— Гошка помедлил.— Ты гляди... Я тебе одному. Никто больше не знает. И знать не должен. Все думают, Гошка — трепло, Гошка — гад, Гошка — шестерка. А у Гошки тоже душа есть, по-

нял? Гошка — тоже человек и дышать хочет. Убегу...— тоскливо повторил Гошка.

И Виталий вдруг уловил искренность в его голосе, вдруг поверил его тоске. Пожалуй, убежит. Точно убежит. Пакостный этот характер дошел до своей черты, на худшие подлости его уже не хватает. И за Горохом этим Гошка не пойдет. Значит... От той черты еще можно повернуть назад. Можно, если заставить. Как? Страхом? Ненадежно. Тогда что остается?

— Мой тебе совет, Гоша. Убежать успеешь. Отойди пока в сторонку, чтобы не зацепило. За тобой ведь ничего серьезного нет. Подумаешь, контрнаблюдение.

— Чего-чего? — изумился Гошка.

— Не слышал разве про такое?

— Я-то слышал. А вот ты?..

— Что один слышит, то и другой может услышать,— туманно пояснил Виталий.— Так что, отойди, Гоша. А то заденет. И больно.

— Куда отойти? — неуверенно спросил окончательно сбитый с толку Гошка.

— К братану своему пока. Чтобы с завтрашнего дня духа твоего в парке не было. Хочешь, вместе поедем?

— А он примет?

Гошка вдруг потерял всю свою самоуверенность. Он был растерян и неприятно жалок. Но Виталий пересилил себя и сказал:

— Примет. Он, если хочешь знать, даже ждет.

...Домой Виталий вернулся поздно, усталый и издерганный. Ощущения победы не было от разговора с Гошкой, хотя, казалось бы, он добился от этого подлого малого всего, что наметил: тот испугался, побежал к брату и должен теперь оторваться от прежней компании. А главное, Гошка немало полезного рассказал и даже кое-что сделал, если учесть знакомство Виталия с Майкой.

И все же ощущения полной победы не было от разговора с Гошкой: что-то важное Гошка недоговорил, что-то скрыл.

(Продолжение следует.)

**ЕГОР
МИТАСОВ**

☆☆☆

Девчонка эта по весне
Углем рисует на стене
Не журавлей и не друзей
С далекой улицы своей...
Вокруг — развалины, беда,
Но чертит по стене девчонка —
Она рисует города,
Мальчишек подзывает звонко.
И под счастливое «Кому!»
Нам дарит всем по одному.
Я с ней не встречусь никогда,
Но в памяти останется:
Девчонка дарит города,
И мне Москва достанется!

Волки

Мой дед был скотником известным,
Когда мне шел десятый год
И мы на хуторе Залесном
Спасали с ним колхозный скот.

Еще январь крутил метели,
Война гремела за Хопром,
А волки, словно ошалели,
Играли свадьбы под окном.

Падеж скота. Еще и волки
Держали в страхе без конца,
Как будто знали, что двустовка
Давно не нюхала свинца.

Велось дежурство по-простому:
Не спал мой дед, а с ним и я.
И мы ночами жгли солому,
Палили в небо из ружья.

И все же дед нашел спасенье:
Себя и скот чтоб не сгубить,
Пошел со стаей на сближение
И стал ей падаль вывозить
На лошаденке шелудивой.
Она трясется и храпит.
А я в беде такой счастливый
Кричу: «Ну, подходи, бандит!»

☆☆☆

Я — плугарь из тракторной бригады,
Борозды в глазах еще рябят,
Получил от матери награду —
Посмотреть столицу и парад!

Еду я в предпраздничном вагоне.
У груди с харчами узелок...
Как же я в толкучке проворонил
Тощий материнский кошелек!

Со стыдом из этой бочки винной
Я бросаюсь в ночь на полпути
И брожу по местности пустынной,
Не могу никак себя найти.

Ночь прошла. И я унял тревогу.
Пусть парад увидеть я не смог,
Только жаль, что мать дала в дорогу
Свой последний в жизни кошелек.

Признание

Почему я стыжусь, неизвестно,
Вдруг узнает родное село,
Что люблю тебя тихо и честно,
Как бы ни было мне тяжело.

Не страшат ни молва, ни упреки
От моих земляков-куркулей:
«А не сам ли, подавшись в пророки,
Улетел впереди журавлей!»

Но ведь на поле я не лыдарил,
Не нарушил я дедов завет:
И стерег, и косил, и плугарил
С десяти до семнадцати лет.

Да и нужно ли в этом признаньи
О каком-то стыде говорить,
Если знаешь, что в миг расставанья
Еще тише ты будешь любить!

Весна

Уже ворона поспешила
Повиснуть тряпкой на ветле
И, каркнув, снова объявила,
Что нет ей дела на земле!
Сама же будет наблюдать,
Чужие гнезда проверять...
А грустный дол от пятен снега
Еще белеет за рекой.
Уходят сани на покой.
Грохочет с гордостью телега.

☆☆☆

В сердце ворвалась
Весенняя влага.
Древние строки
Впитала бумага.

Что мы получим
От позднего восхода,
Если молчит
Равнодушно природа!

Нам хлебоборбы
Со знанием дела
Скажут: зима
Отступать не хотела.

Вспомним, конечно,
Мы раннюю осень
В сердце с надеждой
На добрую озимь.



ВИКТОР
ВЕРСТАКОВ

БЕЗ ОТМЕТКИ НА КАЛЕНДАРЕ

*Из афганских записок
военного корреспондента*

1. «НЕ ОБЕЩАЙТЕ ДЕВЕ ЮНОЙ...»

В Афганистан лечу не впервые. Был там сразу после декабрьских событий 1979 года, когда по просьбе правительства Демократической Республики Афганистан (ДРА) в страну для оказания интернациональной помощи пришли советские воины. Помню, как много тогда возникло вопросов и как мало было ответов. В предновогоднюю ночь мне, еще в Москве, позвонил знакомый десантник: «Про Леню Хабаровца слышал?.. Не верю, не может такого быть. Ты перепроверь на месте, лады? Ну, с наступающим. Возвращайся!»

Да, вопросов, а следом, как обычно, и слухов было много. Поэтому, наверно, особо памятна последняя перед командировкой ночь, которую провел в непривычно роскошной интуристовской гостинице одного нашего большого южного города. Военно-почтовый самолет улетал на Кабул рано утром, я записался у дежурной по этажу, напился зеленого чая, включил телевизор. По местной программе показывали фильм о декабристах, в котором звучала песня на слова, как позже узнал, Булата Окуджавы: «Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле... Не обещайте деве юной любви вечной на земле». Это успел записать по слуху в блокнот. Получилась первая афганская запись.

Вспоминаю давнюю ночь потому, что она рассказывает не обо мне, а о настроении любого или почти любого человека, который тогда в военной форме выезжал или улетал в Афганистан. Впереди ждала неизвестность, это в какой-то степени интриговало, но и тревожило. В «почтовике» вовсе не оказалось знакомых между собой людей, да и вообще народу было немного.

Мы сидели на откидных жестких скамейках под брезентовыми носилками, под ногами — пачки газет, обернутые жесткой коричневой бумагой. Между собой почти не говорили, а после границы уткнулись в иллюминаторы. Попался один знающий капитан, объяснил, что черточки и ломаные линии вблизу за Амударьей — это дувалы, глиняные ограды покрут полей. Потом начались горы, и стало жутко: до такой степени они были громадны, безжизненны и симметричны.

Теперь я хотя бы знаю название: мы пролетали над центральным нагорьем Афганистана, горной страной Хазареджат (во многих источниках пишут Хазареджат, разницей в написании географических названий, имен, всяческих терминов — едва ли ее «лакмусова бумажка» литературы именно об Афганистане).

И вот через много месяцев, снова по заданию «Правды», — другой полет, абсолютно не похожий на первый...

В просторном салоне реактивного Ил-76 тускло светят с потолка лампы в приплюснутых, молочного цвета плафонах. Всего минуту назад закрылись в корме грузовые створки, а многие спутники, тесно

сидящие на узких, по всю длину салона скамьях, уже задремали.

Вот откинулся на стеганую обшивку борта, прикрыл глаза плечистый, кудрявый сержант-десантник в голубом, сдвинутом к затылку берете. Поблескивает на его груди полная галерея значков: гвардейский, классности, первой ступени военно-спортивного комплекса, сине-белый парашютник с подвеской числа прыжков, знак отличника Советской Армии. Дремлет авиатор в коричневой кожанке с кессыми молниями на карманах. Рядом сидит майор-общевойсковик, читает журнал «Искатель»; у майора черные усы, в зубах — резная трубка с красноглазым чертом без черепа. Даже не дремлют, а крепко спят двое совсем юных лейтенантов, один опустил голову на упертые в колени руки, другой привалился ему на плечо.

У меня тоже хорошие соседи: вертолетчик капитан Валентин Швыдкий и связист старший лейтенант Анатолий Бачурин. Анатолий возвращается из отпуска, переполнен впечатлениями, не спит и лам не дает, рассказывает:

—...Свадьбу сыграли — и я в Афганистан. А люди разные. Начали шептать жене: «Любил бы — не уехал». Спасибо, Смирнов, мой здешний командир, разрешил отпуск. В Москве на Казанском биле нет, хватаю такси, отдаю половину денег, какие с собой были. Приезжаю вечером, жена и смеется и плачет. «Прости, — говорит, — ты устал, но давай сразу поедом к родственникам: пусть знают, что ты меня не бросил». Я тут сам чуть не заплакал, дал таксисту еще денег, он нас повозил по городу: к кому надо — заехали, показали...

Вертолетчик сочувственно кивал, но в очередной раз поднять голову не сумел: тоже уснул.

Даже над Кабулом, когда заходили на посадку, проснулись не все; некоторые насильно разбуженные ветераны поругивались: вполне можно было прихватить еще десяток рулежных минут.

Потом я узнал, что, пока мы летели, в типографии «Литературной газеты» набирали интервью Генерального секретаря ЦК НДПА, Председателя Ревсовета ДРА Бабрака Кармая: «Сейчас дружба между нашими народами стала еще более крепкой, так как сыны Страны Советов плечом к плечу с нашими героическими Вооруженными Силами, с революционными силами Афганистана помогают нам бороться с империалистической агрессией. Мы высоко ценим эту самоотверженность... Необъявленная война, развязанная империализмом против афганского народа, продолжается, и не только продолжается, а приобрела еще большие масштабы».

Так что, пожалуй, не спокойствие, а ставшая привычной необходимость беречь до поры силы усыпляла армейский люд в грохочущем над Хазараджатом реактивном самолете нашей военно-транспортной авиации.

Было бы долгим занятием объяснять, что и почему случилось в Афганистане за последние три года. К тому же не хочется отбирать хлеб у друзей-международников, ведь я журналист военный, пишу об армии. Поэтому из многих сложностей и враждебных сил упомяну только одну, зато вполне конкретную, которую даже можно потрогать, если, конечно, пуля с этой стороны окажется точнее пули со стороны противоположной.

Говорю о душманах, которых иногда в Афганистане зовут мятежниками, а наши солдаты и офицеры вдруг стали с недавних пор звать «бабями» — ко-

печно, по-всерьез и между собой. Душман в переводе означает «враг», и силы этого врага очевидны. Помню, в начале января 1980 года встречался и говорил о Душманах с командиром советского разведподразделения Валерием Егоровым.

— Если кто и думал в первые дни, что они будут действовать стихийно, без четкого плана, централизованного руководства, то доводов «против» получил предостаточно, — сказал тогда Егоров. — Бандиты щедро вооружены, передвигаются на конях, мотоциклах, иногда на джипах. Враг коварный, жестокий, сильный.

...Потом заговорили о тактике контрреволюционеров. Душманы группируются обычно в труднодоступных горных районах, терроризируют население, угоняют скот, вырезают членов партии, учителей, активистов. Главная задача народной власти — поднять население на отпор бандитам, донести до самых дальних уголков страны уверенность в приближении окончательной и полной победы.

Задача эта выполнялась, были успехи, и немалые. Увеличивалась партийная прослойка, рос количественно и качественно афганский комсомол — ДОМА (Демократическое объединение молодежи Афганистана), открывались новые школы, крепили народная милиция и силы охраны общественного порядка. Но поток вооружения и обученных инструкторов из-за границы тоже не ослабевал, борьба против революции продолжалась, становилась более изощренной и жестокой.

Об этом рассказывали мне в беседах партийные и государственные деятели Афганистана. И еще мне запомнился разговор с советским политработником майором Александром Опарным. Он ведет связями с населением в одной из беспокойных провинций на северо-востоке страны, великолепно знает ислам, заочно учится в аспирантуре Ташкентского университета. Тема его диссертации — революционные традиции афганского народа.

Перечислив успехи народной власти, Опарин перешел к «но»:

— ...Но пока афганцам не удастся полностью уничтожить действующие в провинции отряды мятежников, обеспечить постоянство власти в населенных пунктах. К тому же мятежники меняют тактику. В здешней провинции, например, они перестали угрожать учителям и семерым учителям в провинциальном центре, продукты у населения теперь не отнимают, а покупают, прислали даже некое «охранное письмо» на полученный крестьянами от народной власти трактор: дескать, работайте спокойно, хлеб нужен и вам и нам. Но изменения лишь внешние, да и не на главных направлениях: продолжается насильная «мобилизация» в отряды и банды; ужесточается месть родственникам тех, кто предан народной власти; выросли денежные вознаграждения за убийства активистов партии; неграмотных, запуганных бедняков заставляют выносить на дороги и закапывать мины. Используя религию, подлоги, прямой обман, мятежники пытаются вызвать ненависть населения к «шувари» — то есть к нам, советским людям. Иногда, что скрывать, получается...

Да, сложно на северо-востоке, в горах у границы с Китаем. Сложно пока и в центральных провинциях. В провинции Парван мне показали донесение-справку ХАДа (органов государственной безопасности Афганистана) о положении в густонаселенном



Юноши и девушки революционного Афганистана рано знакомятся с оружием.

Пятнадцатилетний член ДОМА (Демократического объединения молодежи Афганистана) Хамидалла Ахмадулла несет охрану молодежного лагеря «Хайбар» в Джелалабаде.

Революция дала им счастливую юность. И пусть впереди еще годы борьбы и испытаний — счастья свободы уже никому не отнять.

Мужественно и беззаветно выполняют интернациональный долг на афганской земле советские воины. Орден Красной Звезды вручается рядовому Минзахиру Миннебаеву.

Фото А. Ефимова.



районе провинции — Чарикарской долине, разрешили сделать некоторые выписки.

«Обстановка в Чарикарской долине продолжает оставаться напряженной. Народная власть носит очаговый характер и, как правило, распространяется на здание или крепость. Выезды органов народной власти из мест расположения затруднены.

Чарикарская долина очень сложна для продвижения войск. Маневр затруднен наличием разветвленной сети арыков, множеством виноградников, дулами и узкими улицами.

Основные группировки мятежников (называю только две самые крупные.— В. В.):

район Баграма — 800 человек, глава Фарук, район Панджшера — 1500 человек, глава Массуди...

На вооружении банд мятежников крупнокалиберные пулеметы, ручные противотанковые гранатометы, автоматическое стрелковое оружие, противотанковые мины.

На территории долины имеются две партийные группировки, принадлежащие к партии Хезби Ислами (лидер Хакматиар Гульбудин) и партии Джамиад (лидер Рабини)... Банды маоистского толка потерпели поражение...

Летний сезон идет к концу и характеризуется спадом активности. Осенне-зимний сезон используется с целью:

- создания запасов оружия и боеприпасов;
- ликвидации разногласий;
- создания единого центра руководства;
- продолжения устройства засад;
- нападения на органы власти;
- террористических актов».

О врагах революции известно многое. Некоторых знают и в лицо. Командир одного из лучших корпусов афганской Народной армии полковник Мухаммад Кабир сразу после завершения очередной операции против бандитов рассказывал на передвижном командном пункте о своем бывшем однокласснике, а ныне главном противнике — Хакматиаре Гульбудине. Родился в семье помещика, окончил Кабульский университет, умный, энергичный. Однажды отряд Гульбудина был окружен, сам главарь ранен, и все же ему удалось уйти от Кабира. Пока удалось.

Пожалуй, излишне подробно говорю о врагах, им и так отводится много места в газетах. Часто публикуются сведения о лагерях контрреволюционеров и наемников, расположенных в Пакистане, Китае, Иране, сообщения о финансовой поддержке, о визитах лидеров контрреволюции в США и Китай, о поставках оружия в Пакистан и переброске его оттуда через афганскую границу...

Просто хотелось напомнить, что враг у афганского народа серьезный, обстановка сложна.

2. ДОЛИНА ИСПЫТАНИЙ

Вот уже два с лишним года стоят в горах и долинах Афганистана палаточные городки советских подразделений, выполняющих за Гиндукушем интернациональный долг. Люди в палатках меняются: офицеры уезжают к новым местам службы, поступают в военные академии, солдаты и сержанты, как положено, раз в полгода увольняются в запас; не со всеми теперь здесь встретишься... А лагерные палатки стоят, как стояли, разве что выгорел и еще больше побелел брезент. Впрочем, внутри палаток уже не кары, а койки, временные псчки

до виртуозности упростились (простота — сестра совершенства), походные неудобства сменились посильным комфортом лагерной жизни.

А все же как хочется домой, как притягивает Родина! И приказывает заместитель командира одного из подразделений майор Вячеслав Жуков, уступая «просьбам трудящихся», наречь походный магазинчик военторга ласковым словом «Березка», а в другом гарнизоне на фанерном заднике ангара рисуется огромное панно: березы, речка, тропинка. Рассказывают, что некий ефрейтор сфотографировался под этими березами, послал карточку домой, невесте, и та в ответе похвалила Афганистан за то, что похож на родную Орловщину.

В лагерях любят петь веселые, а то и шуточные песни, но частенько на вечерних прогулках с особым чувством поют и другое:

Дорога ты для солдата,
родная, русская земля!

...В половине шестого вечера еще заглядывало из-за отрогов в долину кроваво-красное солнце, в шесть на небе осталась только луна — огромная, яркая, словно бы отлитая из серебра. Горы, грунтовая аэродромная полоса, само небо в лунном свете стали пепельно-серыми. Подул ветер, затрепетали мелкой листвою острые тополя за аэродромом. Чуть раньше с кашлем заработал движок, порозовел от электрического света брезент лагерных палаток.

С лунными сумерками лагерь ожил. Задребезжали на скамейках гитары, вышли на линейку патрульные, заторопились с ужином повара. В батальоне ожидалось событие: днем, на приеме у губернатора вийялата (провинции), устроенном в честь мусульманского праздника, Федор Борисович Гладков на смеси английского и пушту договорился с губернатором о взаимобмене фильмами. Афганцам дали видовые документальные о Самарканде и Бухаре, а в батальон привезли коробки с «Седьмой пулей» — советский же фильм, подаренный кинопрокату Афганистана. В лагере его видели лишь дважды, так что надесть еще не успел.

Зрители вынесли из палаток и расставили чурбачки, сколоченные из ящиков табуреты, сели потеснее, чтобы не продувал рвущийся из ущелья ветер, закурили.

На улице было довольно светло, кинемеханик без всякого фонарика вправил ленту, аппарат застрекотал, луч высветил спитый из простыней экран, а заодно и уносимые ветром дымы сигарет. Кureва было мало, и поэтому как-то сама собой определилась норма: сделал три затяжки — передай товарищу.

На экране сразу начали стрелять, без пенушной волокиты присвистывалась и любовная линия: восточная девушка косилась красного командира, а ее басмач. Одним словом, фильм увлекательный.

Исполняющий обязанности комбата капитан Николай Демидов — художатый, есмлогоговосный, негромкий — на фильм опоздал, замполит капитан Сергей Музычин, придвинув ему сколоченную из трех досок скамеечку, спросил буднично:

— Дополнительные ставил?

Последнюю неделю лагерь пытались обстреливать с гор, особенно из пещер в километре левее взлетно-посадочной полосы. Вот и сходил Демидов в охранения, приказал наблюдать внимательнее. К финальной части прибежал запылавшийся Маджид Абдураулов — переводчик Гладкова, весь вечер предававший в соседнем афганском батальоне.

После фильма и ужина поехали с Музычиним проверять охранения: Ехать было недалеко, во долго: лагерь раскинут в котловине, вокруг двух невысоких холмов. Без малого два года назад, в такой же ночной час я приехал в охранение, которым командовал замполит роты старший лейтенант Музычин. Теперь уже замполит батальона, капитан Музычин сам проверяет охрану лагеря.

Фары «уазика» не выключаем: во-первых, лишний свет здесь ни к чему, во-вторых, неплохо работает луна, а в-третьих, водитель знает вокруг лагеря каждую ямку. Все-таки поневоле едем медленно, объезжая валуны, мелкие окопы стрельбища, горки пустых снарядных гильз.

Музычин приказал остановить машину у очередного поста. Пошли по ходу сообщения, втиснулись в блиндажик, откуда сквозь обложенную камнями амбразуру вели наблюдение двое солдат. В сон их, по их же словам, не тянуло, а вот покурить бы не прочь...

Что может в такой ситуации замполит? Может объяснить, что завтра прилетят вертолеты, и еще, пожалуй, может отдать последние свои сигареты. Музычин так и поступил, мы выбрались из блиндажика и поехали дальше.

Пенельно, безжизненно высятся горы с оспинами лещей, чернеет рошица пад близким оврагом, блестят разломами камни, сложенные на обочине взлетно-посадочной полосы, приподняла спаренные стволы зенитная установка на центральной высоте лагеря...

Через час возвращаемся в штабную палатку. На круглой печке рядом с торчащей трубой сидит сбросить крышку закипающий чайник. В плетеном самодельном кресле сидит зубной врач Вера Ивановна — она вчера прилетела попутным вертолетом, успела осмотреть личный состав и сейчас жалуется своему «братнику», как шуточно зовет его еще с давних пор, Сергею Музычину:

— Пятерым солдатам зубы лечить надо, а они говорят: «Отсюда не полетим, здесь лечите». Ну, как я могу здесь? Ни инструмента, ни кресла...

— Клещи прикажу выдать, а кресло забирай, на котором сидишь.

— Братик, я серьезно. Прикажи им...

Гладков — он вообще-то живет по соседству, сейчас просто зашел на огонек — безмолвно смотрит на лист фольги, по которому бегают багровые змейки — отблески огня из круглой железной печки.

Это изобретение жизнелюба Музычина: повесил фольгу напротив печной дверцы, говорит, что получил камин. Никакого, конечно, камина, а все равно интересно...

Демидов сидит на кровати, положил на колени фланерку, пишет письмо жене. Эпистолярное вдохновение посещает его не часто, и друзья поглядывают на Демидова с удивлением.

— Да я и сам удивляюсь, никогда со мной такого не бывало, пятую страницу добиваю, — заметив особое к себе внимание, говорит Николай. — Меня супруга растрогала. Послушайте, как жалуется на дочку, она в первый класс пошла: «После продленки ворончик на одной нитке болтается, куртку за рукав по земле тащит, в портфеле ни карандашей, ни ручек, тетради разорваны. Рыдаю, ругаю, стираю, глажу, ищу. Садимся за уроки, в десять часов ложимся спать, обе измученные».

Зампотех батальона — кудрявый, с выдвинутыми вперед мощными плечами, такой же молодой, если не сказать, юный, как Музычин и Демидов, — капитан Владимир Маковей читает газету.

— Нет, я таких фотографий не понимаю: «молодой механизатор». Во-первых, он не молодой, а старый, у меня дед моложе выглядит. Во-вторых, это вообще не механизатор, а жертва озимого поля. ...Зря ржете, товарищи, я знаю, что говорю: сам на целине родился, в семье первоцелинников. Отец там тридцать два года отработал, вместе с дедом первый урожай убрали. Это же красивые люди!.. А вот нормально: на ЧТЗ реконструкция, так держать.

— Володя, может, ты и в Челябинске тоже родился? — заулыбалась Вера Ивановна.

— В Челябинске я, товарищ доктор, делал первый шаг к академии: в политехническом институте учился.

— А с академией у тебя, зампотех, какие дела? — пожевывая, спрашивает Музычин.

— Дела такие, что я нынче интеграл от дифференциала не отличу, но запросто натаскаюсь, лишь бы приказ был и на экзамены отпустили. А вообще-то устал я, братцы. Вот провисит зима — сразу в очередной отпуск иду. Борисычу хорошо: через пару месяцев гоголем будет по Арбату гулять.

Гладков не отвечает на иронию, не простившись, уходит. Маковей удивленно пожимает плечами:

— Борода сегодня смурной что-то. А я только-только хотел его повеселить, рассказать, как в прошлом отпуске в Москве побывал. Путевку мне на отпуск дали, семейную. На юг не просил — хватит с меня и здесь юга, поехали к столице поближе, в санаторий «Подмосковье». А в самой Москве я ни разу по-настоящему не бывал, только проездом. Сели с женой в электричку, Красную площадь легко разыскали. Надолго запомнилась мне эта поездка. Хорошо в Москве, но столько ходил по улицам, устал...

Федор Борисович вернулся минут через пять, принес Демидову сверток — брал накануне кроссовки, когда с афганцами в волейбол играли.

— Зачем, Борисыч? Завтра бы и отдал. Нет, вижу, что надо мне утром с тобой лететь, рацию мощнее возьму — лады?

— Ты за комбата, тебе и решать, — уходя, буркнул Гладков.

Ушла и Вера Ивановна, взяв с «братика» и Демидова обещание отправить все же солдат на лечение. Легли, потушили свет. Печка в тишине загудела словно бы громче, быстрее и тревожнее заплесали красные блики по фольге.

Музычин ошупью взял с кресла фонарик, осветил фотографию своего двухмесячного ребенка:

— Вернись — дите на колени, жеву под плечико. Буду наслаждаться семейной жизнью.

Видимо, это было продолжением какого-то неоконченного разговора, потому что Маковей неожиданно взорвался:

— Нет, Сергей, нам теперь чувство справедливости жить спокойно не даст! Ради чего мы здесь? Ради твоего будущего спокойствия? Я после Афганистана за всех отвечаю. Понял? За всех!

Музычин выдержал долгую паузу, ответил буднично:

— А вот со мной в отпуске был случай. Иду по родному городу, совершенно, понимаешь, спокойный. А тут на автобусной остановке двое типов к девчужке пристают, руки уже выламывают. Мужики здоровенные рядом стоят, отворачиваются, будто не видят. Ну, я подошел, коротко так с этими двумя побеседовал. Девочку в автобус посадил, отправил. Правильно я поступил?

— Неправильно, — попытался сгладить ситуацию Демидов. — Если девушка ничего себе, надо было познакомиться, проводить до дому.

— Я тоже думаю, что неправильно, — серьезно подытожил Музычин. — Кулаками гикских проблем не решишь...

— Ты все-таки хорошо с этими типами поговоришь? — задумчиво спросил Маковей.

— Умеренно.

— Это потому, что ты зарядку перед отпуском не делал, я помню. Завтра в шесть утра подниму, тренировать буду.

В шестом часу нас разбудил не Маковей, а гул вертолетных двигателей. Пока оделись, добежали до полосы, лопасти двух «ми-восьмых» уже остановились, экипажи вышли перекурить. Мне тоже разрешили лететь, торопливо записываю в блокнот фамилии первого экипажа: командир — капитан Виктор Мокрецов, летчик-штурман — лейтенант Касым Давлеталин, борттехник — старший лейтенант Петр Боровков.

Сверили по картам маршрут, поднялись по откидной лесенке в машину. Уже запустили движки, когда Гладков, спросив что-то у Демидова, прокричал в мою сторону:

— Переиди во второй, не будем скучиваться!

Экипаж ведомого вертолета записывал в полете. Едва успел это сделать: километрах в пятнадцати от лагеря, над сужением долины, вертолеты изменили курс. Пошли было вверх, но долина высокогорная, движки не тянули. Вдруг ведущий резко скользнул вниз, потерялся из виду. Через несколько секунд прервалась связь. (Командир нашего вертолета капитан Василий Степанов позже сказал, что последней фразой в захрипевшем эфире было «пытаюсь сесть», но ни летчик-штурман Владимир Чередник, ни борттехник Виктор Томилов ее не слышали.)

На третьем круге, когда летели метрах в двухстах над землей, сжалось болью сердце: пятнисто-зеленая, красновоздушная тушка родного вертолета лежала на правом боку в глубоком, кривом и узком ущелье, сплошь усыпанном огромными валунами. Сесть рядом было невозможно.

Больше часа, пока не замигала тревожная лампочка топлива, а главное, пока не пристроилась в хвост пара свежих, вызванных с базы вертолетов, водил над ущельем свою машину капитан Степанов, затем повернул к лагерю. В салон с разбегу загрузились десантники, десять человек. Старший десятки Сергей Музычин отчаянно кричит, преодолевая рев двигателей:

— Они живы? Живы или нет?!

Вертолет снова взлетает. Да, в ущелье сесть невозможно, а над ущельем крутые холмы, но надо выбросить группу Музычина ближе, как можно ближе к упавшему вертолету. Командир ведет машину прямо на склон ближайшего холма, резко гасит скорость. Это не посадка, это удар, падение. Вертолет катится по склону вниз, все ближе к земле опускаются лопасти. Борттехник Виктор Томилов выбрасывается из двери, хватая огромный валун, успевает подтащить его под колесо. Вертолет наклоняется, разворачивается, останавливается. Лопасти вспарывают воздух в двадцати сантиметрах от грунта.

Музычин выпрыгивает первым, за ним — радист, за радистом — Маджид Абдурасулов.

На последних литрах топлива вертолет Степанова возвращается в лагерь. Здесь над палатками, ка

холме уже стоит раскладной стол с картой, возле стола сгорбился радист, сидят на табуретках из ящиков офицеры, ходит, часто смотрит в небо, пытаясь сдержать слезы, Вера Ивановна.

Пока Степанов высаживал десантников, Демидов из упавшего вертолета сумел пробиться по своей радиации в эфир, но почти сразу связь снова прервалась: горы, проклятые горы! Несколько секунд слышен доклад Музычина: группа продвигается к ущелью, скоро начнет спуск...

Владимир Маковей мечется от радиации к короткой колонне машин, выстроившихся на лагерной дороге. Нет, техника гаптяник по единственной горной тропе не пройдет, вся надежда на группу Музычина. Загудел в небе еще один вертолет, вышел в эфир Демидов: группы соединились, начинают подъем из ущелья, в упавшем вертолете погиб Гладков...

...Федор Борисович, мы мечтали с тобой, как встретимся зимой в твоём Лаврушинском переулке, как поднимем стаканы за тех, кто в Афганистане. Федор Борисович, я же верю, и все мы, твои друзья, мы не верим. Смотри, как плачет в ночном лагере весельчак Сережка Музычин — он дважды терял сознание в нечеловеческом спуске в твоё ущелье, он был впереди, вместе с Маджидом. Смотри, как шатается, не может снять с плеч радиацию Коля Демидов, как ткнулся лицом в борт боевой машины Володя Маковей — он делал все, что мог, но не все пока может техника...

И снова вечер, снова над лагерными палатками, над затерянной в афганских горах долиной повисла тяжелая, дымчатая луна. Утром взойдет солнце, и как же хочется, чтобы оно светило над спокойной, мирной страной! Ради этого здесь служил и погиб Гладков, ради этого здесь остаются служить наши прекрасные ребята.



**НИКИТА
ВОРОНОВ,**

доктор искусствоведения

ЯЗЫКОМ КЕРАМИКИ

Валерий Малолетков — известный художник-керамист — обладает удивительным разнообразием творческих интересов. Возможно, это объясняется тем, что он объединил в себе скульптора, живописца и графика. Поэтому он вполне свободно владеет объемом, цветом, линией. А помогло проявиться всем этим его талантам два обстоятельства. Во-первых, то, что он занялся керамикой, а во-вторых, то, что сейчас в искусстве происходят весьма любопытные процессы, которые стимулируют именно богатую разнонаправленность творчества.

Начну со второго. Тот, кто часто бывает на выставках, наверное, заметил, что теперь все труднее выделить, так сказать, «в чистом виде» портрет, пейзаж. Портретируемый человек теперь изображается не просто на темном или светлом нейтральном фоне, а среди той обстановки, в которой он живет и работает, причем обычно в момент деятельности — у станка, за письменным столом, у пульта, в лаборатории, а если это хлебороб или животновод, — то и на фоне пейзажа, рядом с животными. Портрет как бы срастается с картиной, с натюрмортом, с пейзажем. Более того — мы нередко и в скульптуре видим рядом с людьми изображения вещей, конструкций, деталей машин. Таким образом, пейзаж, натюрморт входят в скульптуру.

В монументальных произведениях мозаика часто укладывается по рельефу, и получается цветной рельеф, хотя раньше он обычно бывал однотонным. Примеры можно множить и множить, но говорят они об одном: в наше время происходит взаимопроникновение жанров и даже родов искусства.

И вот в этом сложном процессе керамика вновь оказывается на видном месте благодаря своим природным возможностям, благодаря своей скульптурной пластичности и живописной восприимчивости к цвету, благодаря недостижимой другими материалами возможности создавать новые формы и обогащать их удивительным цветовым разнообразием поливов, глазурей и эмалей.

Процесс взаимопроникновения, о котором только что говорилось, идет и между различными видами искусств — между утилитарными, обслуживающими наш быт, и станковыми. Между пространственными, такими, как архитектура, скульптура, живопись, и временными, постепенно разворачивающими свое богатство во времени (музыка, театр, кино). И как и в науке — наверное, это вообще одна из особенностей нашей эпохи, — на стыковых направлениях рождаются наиболее интересные, перспективные, новаторские достижения.

И вот к такому стыковому направлению, к многопрофильному, разностороннему творчеству принадлежит и искусство Валерия Малолеткова. Своей одинаковой одаренностью в скульптуре, живописи и графике он привлекает многих ценителей такого искусства. Несмотря на то, что и раньше многие скульпторы прекрасно рисовали, а живописцы — лепили, именно сегодня сложились оптимальные условия для одновременной и как бы синтетичной реализации в одном произведении всех их разнообразных возможностей. И в произведениях Валерия, с одной стороны, происходит сращивание скульпп-

туры с графикой и живописью, а с другой — художественных форм, идущих от утилитарных вещей, от посуды, — со скульптурными. И даже — соединение приемов временных искусств с пространственными. Это выражается в его сериях, требующих последовательного, постепенного, «покадрового» рассматривания и, стало быть, определенного времени для восприятия. А таких серий у него немало — спортивная, студенческая, архитектурная, восточная, индийская и другие. Или, например, серия цветных рельефов с фарфоровой чашкой — то наполненной чистой влагой, то чем-то мутным и опасным, то, наконец, перевернутой и выливающей своё содержимое на землю. И эти рельефы словно говорят нам: что вы возвращаете земле? Подумайте, как она будет на это реагировать? Дадут ли вам ручьи, реки и дожди вновь чистую воду?

Так неожиданно и в то же время экономно, доходчиво, наглядно воплощается тема охраны природы...

Частое обращение Валерия к изображению скрипок, труб органа, виолончелей — само по себе музыкально, ритмично. В его творчестве происходит еще один знаменательный слав — объединение формальных исканий с глубоким ассоциативным содержанием. Почти в каждой его вещи видишь решение формальной или технической задачи: передать в плоском рельефе впечатление пространства и глубины, сочетать тонкий фарфор с грубым шмотом, поработать с фаянсом в условиях высоких, почти фарфоровых температур, попробовать создать скульптурные вещи из электроизоляционного фарфора и т. д. Новая форма углубляет содержание, вскрывает его философский подтекст, обогащает новые грани явления и часто превращает его в символ, помогает достичь концентрированного выражения идеи. Это особенно впечатляюще проявилось в таких, например, вещах, как «Вечный быт».

...На архитектурной цилиндрической форме, как бы на колонне, изображен матовыми керамическими красителями тоже архитектурный сюжет. Но не реальный, а словно бы обобщенно-символический, в котором мы угадываем мотивы итальянского и восточного зодчества. Это архитектура какая-то одухотворенная, синими силуэтами встающая под ясным лунным небом. И вот на этой колонне с маяющей, лиричной росписью утверждён — тоже керамический — уют. Утверждён как символ, как знак даящего быта, способного и смеющего поцарить всю тонкость, весь полет и устремленность этого зодчества, рожденного человеческим гением.

У Валерия выработалось свое отношение к предмету. Не как к полезной вещи, утилитарной форме, и не как к пластическому достижению, отшлифованному поколениями людей. Любой предмет он воспринимает как символ и знак определенного явления или даже целого явления. Уют, мясорубка — как символы быта. Амфора — знак античности. Куб — символ тяжести и безликости. И, оперируя так изображениями предметов, художник в явлении видит его скрытую суть и раскрывает ее своим искусством. Он изображает не «продавца птиц», возникающего из птичьей клетки, а «продавца природы» — причем многорукого, хищного, алчного. Хватающего все этими руками, готовыми всю природу распродать, разменять на монеты, слитки, автомобили, бомбы...

Суть вещей и явлений... Художник нередко выражает свой познание, проникая внутрь формы. Не разрушая ее, но как бы вскрывая, разрезая, ведя нас в глубину. И отсюда, как мне представляется, — его приверженность не только к круглой форме сосуда

или скульптуры, а к рельефу. Рельеф — это классическая форма соединения скульптуры и графики. Рельеф дает возможность показать пластику и глубину внутри какого-то объема, внутри некоторого органического контура, по которому обычно скользит наш взгляд, принимая вещи.

Валерий Малолетков — очень чуткий художник. Чуткий в отношении к явлениям окружающей нас жизни.

И он чуток к тому, что происходит сегодня в искусстве — не только в искусстве керамики, но в искусстве вообще, включая литературу, кино, живопись, в Искусстве с большой буквы. Ведь Искусство — не только «отражает». Оно еще и предвидит, предупреждает, восстает против бездуховности, моральной опустошенности и душевной глухоты. Искусство в каждый исторический период ищет и находит свой особый язык, свое отношение к истории, к традициям, к явлениям культуры. Вот, например, античность. Мы воспринимали ее почти как идеал, как норму и образец. Сегодня же — в том числе и в работах Малолеткова — античность переосмысливается. Выявляется в своем контрасте с антигуманными, антигаримоничными явлениями в нашей собственной жизни. Она воспринимается не только как красота и добро, но и как протест против безобразия и зла. Она становится не только образцом, но и оружием.

Размыwanie границ жанров, о котором говорилось выше, стремление показать художественные возможности материала и вместе с тем продемонстрировать его сопротивляемость, инертную, дремучую силу противостояния человеческой воле и таланту — все это тоже есть в произведениях Валерия.

Но, отражая и выражая коллизии жизни и сложные процессы искусства, Малолетков идет своим путем. Он своеобразен и главное — искренен. Он работает с открытым сердцем, от души, не лукавя, не подделываясь под «современный стиль», а участвуя в его создании своими произведениями. И, стало быть, он обладает тем прекрасным даром, о котором говорила еще великий наш скульптор Вера Мухомова, умением выразить «общее — по-своему», выразить все это как свое, как свою боль, как свою любовь, как свою заботу. И выраженное так, это общее неизбежно по законам восприятия искусства становится и нашей личной осознанной болью, и нашей любовью, нашим переживанием и заботой. То есть через его художническое «я» мы глубже проникаем в окружающий нас мир, а в конечном счете лучше познаем и самих себя. А познание человека — одна из самых великих целей искусства.



**ТАТЬЯНА
КАЙСАРОВА**

☆☆☆

Жует мороз остатки желтых листьев,
Рассыпанных за ставнями ветвей.
Гуляет ветер, дерзок и неистов,
По съезжившейся улице моей.

Я различаю звонкий окрик окон.
За поворотом, где шуршанье шин,
Ковер шоссе как будто наспех соткан
Скользящей многоцветностью машин.

Но я уже отсчитываю версты
В тот край, куда уходят облака.
Мне смотрит день в лицо светло и просто
С живой неприхотливостью цветка.

☆☆☆

Деревья качают листву над собою,
Колышется невольский простор,
И высится белая ночь над Невойю,
Как Смольнинский белый собор.
Светло, даже тень не легла за ограды,
Где сонные бродят цветы.
Качнулись мостов утомленных громады,
Отпрянули ввысь от воды...
И ожили вдруг, и пошли вдоль причала
Суда, не спугнув тишины,
И ночь потеряла конец и начало,
Напрасно ей чайка о чем-то кричала,
Тревожно касаясь волны.

☆☆☆

Затянут снегом до бровей
Мой узкий двор. И переулок,
Что лишь полдня назад был гулок,
Пугает тишиной своей.

Зову тебя сквозь вязкий снег.
В упругой тишине — ни звука.
Разлуки трудная наука
Наверно, не по силам мне.

За тонким инеем стекла
Немеет снег под фонарями.
Так много намело меж нами,
И так недалеко до тепла.

☆☆☆

Я давным-давно люблю все это:
Влажность тротуаров поутру,
Новизну садов полураздетых,
Пестрые осенние букеты,
В окнах света странную игру,

Легкий шорох листьев невесомых,
Солнце, разучившееся греть,
И березы — те, что возле дома,
В одночасье вздумали сгореть.

☆☆☆

Уже спешит рассвет. Но холодна
Еще трава под инеем белесым,
И девочка босая — тишина
Обходит робко берега и плесы,
И бредит воздух именем ее,
И смотрит онемевшая дорога,
Как горизонт на цыпочки встает.
Еще чуть-чуть, еще совсем немного...
И он уже натянут, как струна,
Сверкающая белой полосой,
Но за реку уходит тишина
Обиженной девчонкою босою.

☆☆☆

Разве это зима! Не зима.
Только падает снег, только тает.
Только жмутся, озябнув, дома,
Только птиц потревоженных стая
Силным гомоном сводит с ума.

Может, это весна! Не весна.
Только льдинки на лужах дробятся,
В помутневшие стекла окна
Неуклюжие тучи глядятся.
То пойдет обездоленный снег,
Голубой и похожий на иней,
Померещится, словно во сне,
Покружит над домами и сгинет.

Но на сером горят купола,
Да чернеют и мокнут бульвары,
И полоска на небе светла,
И всего в двух шагах от тепла
К горизонту спешат тротуары.

☆☆☆

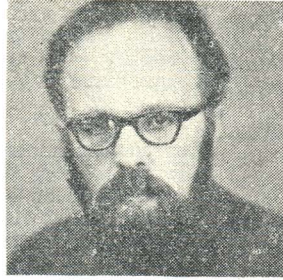
Оранжевым огромным апельсином
Луна упала на ладони вод,
И тонкий светлый след ее плывет
У берега, где сгрудились осины.

А вдоль озер прохладно и светло,
И виден всплеск, и слышен шорох каждый,
Лишь только тень прозрачной лентой вяжет
К березняку припавшее село.

Недавняя вечерняя усталость
В траве росой всплакнула перед сном,
И лодки перевернуты вверх дном,
И чья-то тень туманом расплескалась,
И вязы, словно лошади в ночном.

☆☆☆

В твой последний соколиный вылет,
Осень, и тебе пора — лети!
Мы давно о лете позабыли,
Зарядили серые дожди.
И деревья выхода не ищут —
Видно, этот дождь непроходящ:
Мокнут кроны, стынют корневища,
Из листвы непрочен пестрый плащ.
Все же быть среди дождя пустого
Одному, но солнечному дню,
Пронестись, как белому коню,
Меж других коней унылой масти.
Осень, подари денек на счастье,
Все вокруг принять его готово!



**НИКОЛАЙ
КАРПОВ**

Глубокая осень

Я радуюсь всякой погоде:
Дождю и огню синевы.
Всегда обращаюсь к природе
С глубоким почтением, на «Вы»,
И выгляжу вовсе нелепым,
Когда, ожидая зарю,
С едва рассветающим небом,
Как с близкой душой, говорю.
Сегодня на улицу вышел:
— Спасибо, Вы очень добры! —
В хрустальном сиянии крыши,
Деревья, поляны, дворы.
И тающим, свежим, невинным
Все мягко укрыла метель.
И даже холодный суглинок —
Последнюю нашу постель...

Жасмин

Когда брожу под небом вечным
И наблюдаю звездопад,
Со дна души всплывает нечто,
Похожее на Китеж-град.
Сперва идут четыре дерева,
Затем кирпичная труба,
И три окна,
И в том, что слева, —
Моя начальная судьба.
И мальчик, светлый и губастый,
Неповоротливый, смешной,
Мне успевает крикнуть:
— Здравствуй!
И покрывается волной.
И я опять в полночном поле
Гуляю медленно один,
И звезды в небе поневоле
Напоминают мне жасмин.
Посажен добрыми руками,
Взросший в сумрачную высь,
Он светит белыми цветками
На всю оставшуюся жизнь...

☆☆☆

После ночи бессонной,
Голубую зимой,
Проводить до вагона,
До разлуки самой.

Мучась думою главной
В неугасшей душе:
— Этой женщины славной
Не увижу уже.
И шептать виновато,
О грядущем скорбя:
— Как же я без тебя-то,
Как же я без тебя!
Городить обещанья
Несуразные впрок,
И дарить на прощанье
Неизменный платок.
Чтоб в такие ж морозы,
В одинокие дни,
Тайно вытерла слезы,
Если будут они...

☆☆☆

С каким-то упорством и злостью,
Собой застилая закат,
Лихой непогоды охвостья
По небу летят и летят...

В боренье ветра поостыли,
И бой превратился в игру,
И тучи, как ведра пустые,
Гремят и гремят на ветру.

А было, как перст с небосклона,
Как черной напасти крыло —
Предвестье большого циклона
С багрового запада шло.

И зреет невольно сравненье:
Не так ли и в нашей судьбе —
Чем мельче в натуре явление,
Тем громче кричит о себе!

☆☆☆

Я удачу не кличу.
По знакомым местам
Ухожу на добычу,
Будто знаю, что там, —
На подзоле суровом,
Средь лесов и болот,
Людям нужное слово
Одиноко растет.

Предзимье

Повернулась скрипучая ось.
Краснощек, синеглаз и немолод,
Некто сдвинул ее на авось —
Повертелась и встала на «холод».

По утрам замерзает вода,
Половик серебрится у двери.
Холода, холода, холода
Залегли, как бесплотные звери.

Незаметно коснулись всего,
Что в тепле миновавшем ослабло.
Вон из школы идет существо,
Посинело оно и озябло.

Я встречаю его у дверей,
Я уже истомился в разлуке.
И о душу мою «всробей»
Согревает сердечко и руки.



АЛЕКСАНДР
РАДОВ

ДЕНЬ В ДИРЕКТОРСКОМ КРЕСЛЕ

Сегодня мы предлагаем вам провести рабочий день в директорском кресле. Предложение не шуточное и обращено как к нашему умудренному читателю, так и к молодым, сидящим за школьной партой или в студенческой аудитории. Могут возразить: «Студент куда ни шло, ему вроде и можно примериться к креслу управляющего, ну, а школьник — не рановато ли?»

Самое время! В Отчетном докладе XXVI съезду партии подчеркивалось, что в предстоящие годы будет закладываться и формироваться народнохозяйственная структура, с которой страна вступит в XXI век.

В эти годы — годы одиннадцатой пятилетки — будет формироваться и человек, который в XXI веке встанет у руля управления народным хозяйством. А это и сегодняшний студент, и сегодняшний школьник...

ЗАЧИН. Утром 16 ноября, в понедельник, я вошел, сам себя подбадривая, в «свой» директорский кабинет и прежде всего огляделся. Ну что ж — все всадурно, просто тип-топ, как говорят эстонцы. И кресло — не кресло: трон!.. Это из него мне управлять делами и судьбами! Смогу ли?.. В ответ засосало под ложечкой...

Ах, мне бы самоуверенность философа Диогена, жившего, заметьте, в четвертом веке до нашей эры и бывшего, так полагаю, первым в истории подлинным профессионалом управления... Напомню: волей судеб он оказался на невольничьем рынке, причем в качестве товара, и на вопрос глашатая о том, что умеет, он ничтоже сумняшеся отвечал: властвовать людьми. Больше того, посоветовал продать его тому, кто сам нуждается в хозяине. И что самое-то удивительное — такой нашелся: он доверил Диогену не только свое обширное хозяйство, но и воспитание сыновей, и не ошибся... А вот меня, честно признаюсь, в «собственном» руководящем кабинете брала оторопь...

— Если вы не смелый человек, — вспомнилось тут предостережение заместителя министра, — то не садитесь в директорское кресло — нерешительность быстро превратит вас в бюрократа!..

«Ну уж нет, — взыграло во мне чувство противоречия, — бюрокрatom не стану!..»

Вдруг звонок, да не телефона, а селектора. А как его включать? Нажал одну кнопку, другую — без толку...

— Рина! — призвал я на помощь секретаршу. Она мгновенно оказалась рядом и спасла «шефа» от конфуза, ничем при этом не задев моего самолюбия. Умница! А когда одно дело было сделано, Рина сказала:

— К вам — работница... — Она назвала имя и фамилию, а я не разобрал. Слух вроде бы неплохой, да не привычный к эстонской фонетике. И пришлось Рине диктовать имя по буквам: Малле Таммик, шведистка из девятого цеха.

Ступив на порог кабинета, Малле сразу отпрянула. Ну как же — вовсе не Антс Капрал сидел на директорском месте. «Да нет, — принялся я объяснять, — любимого на «Марате» директора никто не снимал. Просто он доверил мне на день свое кресло, а значит — директорский штурвал». А Малле не верила: как это можно? И велосипед-то чужому доверять нельзя, а тут целое объединение, да так хорошо налаженное. И опять спасла меня Рина. Объяснила: и министр разрешил, и сам директор просил отнестись чутко. «Ну раз так!» — протянула Малле, давая понять, что говорить со мной будет из чистого снисхождения...

СОМНЕНИЯ. «Это блажь, — сказал приятель, — завод не будильник, в нем за день не разберешься!» Впрочем, и за год, но я полагал — в любом новом месте, как и в чужой стране, видишь лишь то, что принесешь с собой. А на «Марат» я прихватил с собой то понимание производства, которое сложилось за годы, когда на разных заводах работал фрезеровщиком, потом инженером, затем социологом... Да и не в производстве когда-то намеревался я разбираться, а в самом себе, то есть в новых для себя ощущениях, которые рождает роль директора. Зачем?

Уверен, не только для меня есть в директорстве загадка, тайна. К нему, как и к писательству, очень подходит мысль Салтыкова-Щедрина, высказанная сыну: «Или лучшее из призваний, или худшее из ремесел». Много может отвратить от директорской роли, если нет к ней влечения, которое не объяснишь понятиями «выгодно — не выгодно»! Судите сами: десяти — двенадцатичасовой рабочий день, всегда «черные», то есть рабочие, субботы, а то и воскресенья, большая физическая усталость от трудов, но еще большая — психологическая: от свинцово-гои ответственности, от непрерывных ожиданий каких-либо чепе.

И многие, что там греха таить, не выдерживают — уходят сами или по настоятельной рекомендации врачей. А другие — те просто слышать не хотят про эту должность, хотя при ней — не забудем — есть немало персональных привилегий. Знакомый кадровик из министерства недавно мне рассказал, что на предложение стать директором откликается лишь каждый двадцатый из тех, к кому с ним обращаются. Почему? Мой знакомый пояснил: «Не синекура!» Но ведь и слава богу, значит, меньше будет среди директоров тех, кого интересует не дело, а, так сказать, резоны. Мне доводилось разговаривать с людьми, которые отказались от директорского кресла. Это были главные инженеры — из них в основном приходит директорское пополнение. «Жить еще не надоело» — сказал один. В самом деле — директорская круговороть быстро изнашивает здоровье и укорачивает век. «А что зависит от директора?» — сказал другой, и этот был по-своему прав: сегодня любой наш хозяйственник сильно блокирован в работе и мелочными инструкциями и многочисленными инстанциями, которые дружно контролируют предприятие, но помочь ему не могут или не хотят... «Мой поезд ушел», — признался третий, — вот если бы лет десять назад предложили! Тогда меня не заметили». А четвертый объяснил так: «Биография неподходящая: на своем веку исполнял главным образом конструкторскую работу. Директору же этого мало: ему надо и с экономикой быть «на ты», и производство знать изнутри, и с людьми уметь ладить...»

Но это не вся правда! Многие знакомые мне директора вовсе не мученики. Больше того — другой работы и жизни для себя не мыслят. Почему? Вот в этом и есть главная для меня загадка. Ее я пытался разгадать обычным способом: ходил за директорами тенью, вел с ними исповедальные разговоры... Но нет, не возникало уверенности — все, расшифровал! А без этого не расскажешь толком, особенно людям молодым, о директорстве — увлекательнейшем занятии, под которое ей-же-ей стоит себя чистить с самых младых лет! Вот тут и пришло мне в голову — попытаться понять директорскую роль изнутри!..

ОПЫТЫ. Через час я уже в меру освоился в своем директорском кресле: разговаривал с людьми без робости, а иногда и тон повышал. Тут заметил в себе — непроизвольно пытаюсь копировать директоров, которых видел на экране, а поскольку они были чаще всего из породы «сильных личностей», то и у меня прорывался командный стиль...

Но на «Марате» делать этого не следовало. Одна из собеседниц в ответ на мой командный тон вдруг замерла удивленно, а другая осмелилась произнести: «Директор Капрал так с нами не разговаривает!» И я понял: еще чуть-чуть — и будет мне бойкот... Вот что оказалось — моему «сменщику», директору Капралу, удалось наладить здесь чувство «мы», и в этом был, пожалуй, главный секрет его достижения... Демократ и по натуре и по биографии, Кап-

рал не чванился, заносчивости никогда не выказывал, искренно почитал рабочих людей, принимая жаждущих в любое время. И общественное мнение, с которым и сам директор считался и от других того же требовал, приобрело на «Марате» роль регулятора: рискованно было делать что-то такое, что может быть осуждено общественностью.

Правильно сказано: короля играет окружение!.. Мое на «Марате» окружение так меня, директора, «играло», что распясалось, впасть в административный раж, а тем более начать хамить — нет, такое ни за что бы не получилось! И я теперь понял, почему на климовской фабрике игрушек, о которой доводилось мне писать, директор Царьков смог задраться — в рабочее время пить, и материться, и по-барски бросать людям: «Не нравится — уходи!» Это ему позволили не только сверху, откуда трудно порой разглядеть истинное лицо администратора, а снизу — его подчиненные... Кроме сверхчеловеческого смирения — питательнейшей среды застоя, — там, на игрушечной фабрике, каждый был сам по себе, а потому директор Царьков не слышал и слышать не хотел голоса коллектива. Теперь он, слава богу, не директор, пришел другой человек — более демократичный, но воинствующее — когда надо — общественное мнение там пока не возникло, ибо процесс этот мучительный и зависит не только от директора, но в значительной степени от экономики: если она «разобщающая», что бывает чаще всего при индивидуальной сделке, то завязь коллективности может и вовсе не возникнуть.

С легкой руки директора Антса Капрала на «Марате» многое строится на доверии. А ведь это не повсеместно. Встречались мне предприятия, где с трибуны говорят об уважении к людям, а система управления, да и все прочие порядки построены там на предположении, что все люди плохи: работать не хотят — так и норовят, дескать, побездельничать; верить им нельзя — только и думают о своей выгоде, главным образом материальной; предпочитают ни за что не отвечать... И учиняется там над людьми мелочный, унизительный контроль и пригляд. Окружаются работники густым частоколом запретов и ограничений... А на «Марате» существует немало установлений, которые просто нелепы там, где людям не доверяют.

Вот пример — кафе-бар, которое работает всю рабочую смену. Захотелось тебе — пойдешь выпей в рабочее время чашечку кофе: больше десяти минут это не займет, зато снимет с тебя напряжение и позволит работать после этого интенсивнее. Польза и тебе и производству!

КОНФЛИКТЫ. Оказалось, что мне повезло с объединением. Марка «Марата» в Эстонии котируется, работать на «Марате» престижно, да и приятно. Тут, как объяснили мне социологи, «развитая социально-бытовая инфраструктура». Говоря проще — много благ. Свой магазин, где всякий работник может купить своего собственного производства, в общем-то, дефицитные изделия. А то ведь как часто бывает на предприятиях: чистая безделица и стоит недорого, а купить своим не разрешают. И приходится кто-то простой выход из положения — сует в карман — и за проходную...

А еще тут и собственный продовольственный магазин, своя же сберкасса, парикмахерская и химчистка, междугородный телефон-автомат и юридическая консультация... Кого теперь подобными вещами удивишь? Но вот что видел часто — вводят где-то какое-то для всех благо, а проходит год-два, и следов его не сыскать — выродилось... А тут, на «Марате», все год от года исправно, без перебоев...

Но даже на таком, почти образцовом предприятии директор «не заскучает», ибо проблема тут на проблеме...

Разбираюсь с кадрами, и выясняется — текучесть-то мизерная, да вст беда — молодых людей мало. Многих сократили, когда внедряли щекинский метод. И потому основной состав — предпенсионный. Наступит срок, и уйдут сразу многие сотни работников. Кем заменить? Если бы мог директор — взял молодых людей впрок да начал бы загодя их обучать и обстреливать. Но разве есть для этого свободные места?

Разговариваю о кадрах и слышу признание: «Да над нами весь город смеется — до чего вас, дескать, довел щекинский метод?» Выясняется: в свое время был «Марат» среди предприятий Эстонии застрельщиком знаменитого щекинского метода, идея которого проста — не числом брать, а умением, высокой производительностью. И «Марат» — было это еще до Капрала — слегка схитрил: поднял производительность труда не столько с помощью сокращения работников, сколько фиктивно — применяя дорогостоящие материалы. Тем самым частично спас себя от конфуза, ибо очень страдают сегодня предприятия, ставившие честно применить у себя щекинский метод. «Этот метод отличный, — говорит мне Антс Капрал, — но внедрять его надо железной рукой и сразу по всей стране!..»

Я заметил: мой «сменщик» Капрал — сторонник принципиального подхода к руководству. Его страшно возмущает практика залатывания дыр, и он тут не промолчит. Не так давно его вместе с директорами других крупных предприятий пригласили в горисполком и сообщили: с ремонтом зданий в городе плохо, сами ремонтники не справляются, единственная надежда — на предприятия... Тут замечу, что «последней надеждой» заводы и фабрики оказываются у нас и при строительстве дорог, и уборке улиц от снега и мусора, и при переборке овощей... И Капрал возмущался: «Почему вы никогда не пригласите нас к себе как депутатов, чтобы мы все вместе задумались, как решить проблему от начала до конца?»

А какой разговор о проблемах предприятия не упирается в снабжение? Еще с утра мне, директору, доложили — на исходе шерстяная пряжа, поставляют ее из Кривого Рога. «Что предприняли?» — спросил я начальника отдела снабжения. «Послали человека» — таков был ответ. «Как? Толкача?» — вскричал я с негодованием. (Как же, пушила мне наша пресса, что толкач — это чистое безобразие, толку от него никакого, а одни только расходы.) «А что же делать?» — был ко мне встречный вопрос. «Посылать телеграммы, звонить, грозить штрафами!..» «Было, — ответили мне, — а толку — чуть!»... «А толкач, думаете, поможет?» — вопрошал я. «Конечно!..» «Да что ж она сделает — эта ваша посланница?» — полюбопытствовал я. «Поговорит!»... «Но ведь можно было по телефону?» — недоумевал я. «Э-э, нет — по телефону не то!..» «Так что она — подарочки повезла?» — заподозрил я. «Да что вы — как можно!.. Просто попросит по-человечески!..»

Я решительно не мог понять, почему по телефону нельзя попросить по-человечески. Да и вообще — зачем просить? Ведь есть договор, а в нем обозначено, когда и сколько пряжи должны мне поставить! Но, увы, тут был порядок, к которому надо было приделывать ноги, ибо сам по себе он не действовал. А причина этого открылась мне на самом «Марате».

Случилось так, что при мне полсмены простоял шейный цех. Требую объяснений, и мне докладывают: «Нет шерсти!» Как нет? Есть — я-то знаю!

Оказалось, это версия заготовительного цеха. Получилось так: заболел наладчик, и некому было починить неисправную раскройную машину. Прокавились, а потом собственную вину свалили на снабженцев... Интересно: часто ли бывают истории, когда простой вовсе не из-за снабжения? Выясняется, что нередко. От этого страдают шейники и отделочники, а сами заготовители почти никогда — всегда с планом да с премиями. Парадокс? И такой привычный! Нет у нас экономической зависимости между предыдущим и последующим звеньями технологической цепи, между нижним и верхним уровнями управления, между производителями и потребителями... Точнее сказать, такая зависимость предусмотрена, но она либо слабая, либо вовсе не действует. И мои коллеги — директора пытаются отсутствующие экономические рычаги заменить когда уговорами, а когда страстными словами и театральными жестами.

ИСТОКИ. Что может директор? Теперь-то я знаю — грандиозно много! Вот хотя бы свидетельство экономиста, профессора И. М. Сыроежина: от качества решений, принимаемых лично директором и двумя его ближайшими помощниками, зависит, будет или нет пятая часть продукции предприятия... И если этот прибыль или, напротив, ущерб переможить на всю страну, то получится гигантская сумма в десятки миллиардов рублей!..

А что сегодня с качеством директорских решений? Тут, прямо скажем, плоховато... Хотя многие знали, что на «Марате» в этот день не настоящий директор, телефон и селектор звонили не переставая. Кому только нет дела до директора! По данным социологов, знаю: наш «средний» директор решает за день 150—200 самых разномастных вопросов. Тут есть, конечно же, простенькие, но есть и такие, что определяют потом всю судьбу предприятия. А на них выпадает порой пять — семь минут. Вот главная беда — наспех!.. Вычитал недавно в сибирском журнале «ЭКО»: работая в полтора раза больше положенного, директора успевают сделать лишь две трети дел, которые без них не сдвинутся с места. Получилось так, что работа директора стала «бутылочным горлышком» системы управления: здесь застревает и ценнейшая информация и сотни не терпящих отлагательства вопросов.

В чем тут дело?.. Мало кто из наших директоров понимает, что их главная забота — не поспевать везде, не решать и думать за всех, а создавать систему работы, порядок. Как угодно назови, суть одна: все, что можно, заранее предусмотреть, спланировать, просчитать, расписать, усвоить... И если впоследствии выяснит какая-нибудь неожиданность, и тут ясно будет — кому и как с ней совладать...

Такого порядка на «Марате» не было, и потому многие вопросы, часто копейные, решались на самом высшем уровне и то не до конца. Зачем, вы думаете, приходила к директору работница Малле Таммик? Рассказать, что в цехе очень плохо работает вентиляция: в одном конце пролета люди жалуются, что холодно, а в другом — парятся... Я уточнил: «Сколько лет это продолжается?» «Двадцать пять!» — ответила Малле. К вентиляции подступались много раз, да всегда что-нибудь упускали или недоделывали...

Лишь один раз мне повезло встретить директора, который работал иначе. Я писал о нем. Представляю — Герой Социалистического Труда, генеральный директор объединения «Ждановтяжмаш» Владимир Федорович Карпов. Помню, как меня удивило, что целые дни он проводит в кабинете, очень мало при-

нимает посетителей, еще реже говорит по телефону, очень мало издает приказов, а сводки о положении дел на заводе требует лишь раз в пять дней... И по всем другим признакам ведет себя так, словно он руководитель не гигантом, не производством, у которого весьма бойкий нрав, а тихой, сонной конторой. Я высказал ему это суждение, а он в ответ: «Мое дело — как у капитана корабля. Ему доложили: «Пробойна!» Он skoмандовал: «Заделать пробойну...» А сам не отрываясь смотрит вперед».

Владимир Федорович руководит стратегически, а потому не разбрасывает время, как он говорит, «на мелкие макароны». И своих молодых руководителей учит: «Не бейся ты как муха о стекло, а догадайся отлететь, чтоб увидеть форточку. Весь твой рабочий день, я заметил, сплошное мельтешение. А ты знаешь, что на фронте командиру батальона давалось перед наступлением три часа светлого времени? И у нас с тобой, руководителей, главная задача — подготовка новых наступлений. Поэтому все наше время должно быть светлым. То есть свободным от текучки и рутины. Время для размысла, для умственного маневра. Так что кончай ногами работать, давай-ка головой!..»

Но чтобы все это было осуществимо, Карпов предпринял очень многое. Прежде всего добился, чтобы каждый стал «сам себе паровоз» — исправно нес свой чемоданчик, не пытаясь обременять своей ношей или своего начальника, или подчиненного. Иначе сказать, пришлось создать четкую систему организации и добиться, чтобы она тянула всех за собой, не давая никому прохладяться, сбавлять темп, переставать рваться ввысь...

И у моего «сменщика» Капрала и у многих других директоров есть убедительный аргумент: кто нас учил управлять? Учила в основном жизнь, а ее уроки не всегда самые экономные. Смотрите: до тридцати трех лет Антс Капрал был главным инженером, и вопросы управления не были для него самыми главными. Да и не готовил он себя в директора. Это получилось как-то нечаянно. А если б готовил?

Там, в директорском кресле «Марата», мне пришлось в голову, что все победы и поражения директора тянутся издалека — от начала деловой карьеры. А может, даже от рождения! Ведь кто-то из ученых всерьез уверял, что организаторскими способностями, без которых руководителю, прямо скажем, плоховато, обладает лишь каждый пятидесятый молодец. Цифру эту оспаривать не стану — как ее проверить? — но в главном согласен: сей природный талант редок. И раз он так же золотonosен для общества, как и таланты музыкантов, математиков, то не следует ли и его тоже распознавать с молодых ногтей, а обнаружив, давать ему утвердиться и развиваться? Самое тут сложное, чтобы одаренный в этом смысле человек встал на стезю организатора, поверил в себя, захотел готовиться к высшему предназначению — к той должности, в которой сможет принести наибольшую пользу обществу. А мы, понимая это, ему бы помогли...

На моих глазах проходил как-то подобный эксперимент: директор завода увидел в молодом специалисте главного инженера своего громадного предприятия и сам занялся его бережливым, но не всегда мягким выращиванием. Предложил начать своему подшефному с рабочих должностей, потом провел чуть не по всем цеховым ступенькам. Затем — конструкторский отдел. Спустя год — технологический. Потом определил человека главным механиком, еще через год — главным контролером. Далее

отправил на стажировку в отраслевой институт и уж после возвращения сделал главным инженером. Поясню: ни в одной должности иждивенцем или просто курсантом наш молодой управляющий не был. Всегда с лихвой распахивался за особое к нему внимание. Теперь этот человек — заместитель министра, работает с блеском, имеет почти энциклопедическую подготовку, а главное — еще молод, здоров и поражает всех своей словно бы неиссякаемой энергией.

ЗАВИСИМОСТЬ. «Вот вы ратуете, — пишет читатель из Альметьевска Валерий Чехов, — за большую самостоятельность предприятий, а значит, и директоров. А к чему приводит у нас увеличение самостоятельности? К тому, что директора жуютничают, ловчат, всеми правдами и неправдами рвут из бюджета про запас!..» Но давайте посмотрим, зачем директора «накапливают запасы»? Да чтобы не оказаться в проигрыше — в условиях, когда планируют предприятия все еще «от Достигнутого» (практика осужденная, но, увы, живучая). Возможен ли иной порядок вещей, чтобы выгодно было хозяйствовать экономно? Конечно! В этом убеждает и бригадный подряд, когда он на полном хозяйственном расчете.

Но Валерий Чехов убежден, что и институт единоначалия устарел — он сковывает инициативу коллектива. Резоны и тут есть! Уже и теперь видно, что коллективные формы руководства — вовсе не роскошь...

У каждого эстонского директора в качестве настольной книги лежит какой-нибудь из учебников по управлению профессора Раула Юксваара. На русский язык они, к сожалению, пока не переведены, но одно из его высказываний мне оказалось доступным. «На сегодняшний день руководство (и это особенно касается руководителей высшего звена) не забег на 100 метров и даже на 4×100 метров. Управление скорее можно сравнить с командной гонкой велосипедистов, где гонщики, принимая по очереди роль лидера, временно облегчают этим деятельность других. Только так можно добиться высоких конечных результатов».

Итак, современное управление — дело командное. Но факт ли это, или пока только пожелание? Тут кстати будет рассказать о том, как начинал в свое время Капрал. Его назначили директором в тридцать три года. Был, следовательно, молод, в чем-то неопытен и, главное, как сам мне признался, тугодум. Поразительно, но из этого недостатка выросли многие достоинства. Дело в том, что предшественник Капрала был человек остро и быстро мыслящий, с прекрасной памятью и отличным знанием дела. Он щелкал вопросы как орешки и не чувствовал особенной нужды с кем-то советоваться, привлекать коллективный разум... А Капрал так не мог. Ему нужны были и помощники и советчики. И он поневоле задумался о собственной команде, то есть группе единомышленников, совместно с которыми предполагал решать все существенные вопросы.

Вот ведь как бывает — один директор видит нужду в коллегиальности, а другой нет. И над этим последним никакой дамоклов меч не висит, хотя прекрасно сегодня видно, что рано или поздно директор, который ни с кем не считается и делится властью ни с кем не собирается, непременно дело губит. Так почему мы таких терпим? И почему терпит коллектив? Но очень часто такие руководители от своего коллектива почти не зависят, а все их внимание — вверх, то есть на тех, кто его назначал, кто может освободить или, напротив, вознести еще выше. И появляется у такого, не подконтрольного снизу администратора, великий искус! А если к этому добавляется внутренняя безответственность?

Антс Капрал интуитивно ввел у себя командный принцип руководства. А другой знаменитый в Таллине директор — Кальё Йоханссо — сделал это по рекомендации ученых. Он тоже из поколения сорокалетних. Его обобщенное объединение «Коммунар» славит тем, что многое там по науке. На качество продукции это лишь чуть-чуть повлияло, ибо много тут привходящих, от объединения не зависящих обстоятельств, а вот по экономическим показателям «Коммунар» вышел на третье место в отрасли, хотя еще пять лет назад был среди отстающих (кстати, мой «Марат» — на втором месте!).

Вводя командное управление, а точнее, управление командами, Йоханссо плясал тут вот от какой печки: чтобы добиться в объединении какого-то нового качества (работы или изделия, не суть важно), надо его вначале организовать, а уж потом обеспечить на деле. Но начать надо с цели, да так ее сформулировать, чтобы и точна была и всем понятна. Совет тут не тривиальный. Многие предприятия работают по инерции, не задумываясь, для чего. И получается, что по привычке делается множество дел, которые когда-то были полезны, а теперь нужды в них нет. На «Коммунаре» решили провести полную «инвентаризацию», то есть переоценку ценностей. И в результате назвали всего только двенадцать целей, причем постарались каждую из них выразить количественно и привязать к конкретным срокам. И сразу же отвалилось много лишнего, а вся деятельность предприятия стала гораздо целеобразнее. Это и есть всем доступная, подающаяся публичной проверке стратегия, или политика, объединения.

Итак, для достижения двенадцати главных целей объединения директор Йоханссо создал у себя двенадцать команд по 7—10 человек. Каждый в команде знает общую задачу и свою особенную. Так и собираются тут на совещание — командами. И каждый вышедший на предприятии руководитель заботится в первую голову, чтобы как следует «играла» и побеждала его команда. А для этого она должна быть «сыгранной», все в ней должны сотрудничать и никто не должен выбиваться из общего тона... А сотрудничеству следует учиться! Может быть, потому до этого именно здесь додумались, что на «Коммунаре» есть нечто необычайное: на руководящих должностях — шесть профессиональных психологов с университетским образованием. И проводятся на «Коммунаре» ежемесячные «Дни сотрудничества». И приглашаются ученые-психологи, чтобы организовать для управленческих команд так называемую «ансамблевую учебу».

Авторитет командной работы на «Коммунаре» столь высок, что сам Йоханссо рассуждает так: «Если моя команда анонимно выскажется против меня, то я, не задумываясь, подам заявление об уходе». У него, как видим, хватает благородства, чтобы поставить себя в зависимость от своих подчиненных. А если у кого-то не хватает? Тут как быть?

Такая, как на «Коммунаре», постановка управления требует и от директора и от его ближайших помощников несколько иных, чем прежде, качеств, а больше всего — «умения иметь дело с другими людьми», то есть социальной чувствительности, навыков правильного человеческого общения. И как хорошо, что тут же, в Таллине, есть психологи, которые чутко улавливают новые требования производства и сразу же стараются их удовлетворить.

ТРЕНИНГ. «Руководитель должен знать, — учил меня директорству Капрал, — что в своем большинстве люди любят порядок и всегда принимают справедливое требование. Каких учителей мы до сих

пор вспоминаем? Разве тех добреньких, кто нам всячески потакал, терпя все наши шалости? Нет, как правило, строгих, но справедливых».

Легко сказать — «будь строгим и справедливым!» Но именно в Таллине этому учат. Причем не только руководителей, а и представителей всех профессий, чья деятельность связана с интенсивным общением с людьми. А занимается этим со своими коллегами, и в том числе с женой Галиной, доцент педагогического института Хэн Миккин. Разговаривая с директором Йоханссо, я случайно узнал, что и на «Коммунаре» Хэн проводил не раз свой «видеотренинг». И я зажегся. Захотел не только себя испытать, но и посоревноваться тут с двумя настоящими, причем отменными директорами — Капралом и Йоханссо. Долго уговаривать их не пришлось — то ли любопытство разобрало, то ли чувствовали нужду в психологическом обучении.

И случилось все на «Коммунаре», где была у психологов уже обученная группа начальников цехов, которые должны были нам «подыгрывать». Для нашего «директорского» эксперимента мы остановились на такой ситуации: начальник цеха — женщина — подает заявление об увольнении, и надо так с ней удачно поговорить, чтобы она от заявления отказалась, то есть согласилась остаться.

Каждый из нас совершил массу психологических ошибок: один не встал из кресла, другой пытался давить на собеседницу настолько, что она оцепенела, третий выбрал тактику уступок, которой могла воспользоваться собеседница, оказавшись она недобросовестным человеком... Но это, как потом выяснилось, были мелочи.

Разговаривая с ценным для производства человеком, мы, во-первых, невольно исходили из представления, что он в чем-то да плох, что верить ему до конца нельзя, что есть у него какой-то собственный расчет... А во-вторых, мы целиком исходили из интересов коллектива, цеха, объединения и даже не попытались войти в ее личные интересы, понять ее человеческую ситуацию... Выиграл из нас тот, кто просто поинтересовался: а, может быть, вы устали, может, кое-где отдохнете, а уж потом подумаем?.. И перед этим, таким простым, вовсе ни для директора, ни для производства не обременительным шагом начальник цеха не устояла, ибо увидела здесь человеческое к ней расположение.

Не знаю, как мои «коллеги», а для меня многое стало в себе понятно, как только я увидел свою беседу на экране видеомонитора. А уж когда психолог Миккин ее разобрал по зернышку, то я обнаружил, что и в журналистской работе этот урок ой как пригодится...

КОНСУЛЬТАНТ. Раскручивая на «Марате» запутанные ситуации и задавая всем подряд десятки «почему?», я невольно выступал в роли не директора, а скорее консультанта по управлению. Замечу, что управленческое консультирование — дело в Эстонии привычное. Вот и «Марат» постоянно консультирует кандидат наук Юло Вооглайд.

Главной своей задачей он считает попытку внушить руководителям, что им следует учиться, совершенствоваться. Мысль не тривиальная, ибо у благополучных хозяйственников порой встречается убеждение, что раз все удастся, план выполняется, то и учиться незачем. А руководители плохих предприятий неудачи объясняют чаще не собственными недостатками, а привходящими обстоятельствами — невыполненным планом, ненадежным снабжением и прочим.

Что еще делает консультант? Он собирает разрозненные мнения, складывает их в общее. Или, услы-

шав чье-либо высказанное наедине предложение, его обнародует. Здесь он не более чем посредник. Но без этого посредничества порой не обойтись, ибо сказано: нет пророка в собственном отечестве, и то самое предложение, которое директор вполуха выслушал от начальника цеха, приобретает совсем иной вес, иное звучание, когда исходит из уст внешнего авторитета.

Взгляд со стороны бывает совершенно незаменим еще в одном важном деле — при поиске причины причин... Сколько раз мне приходилось мучиться от того, что на предприятии передовом, заведомо образцовом не могут объяснить толком: в чем секрет успеха, где собака зарыта? На Запорожском титано-магнито-комбинате мне пришлось учинить целое расследование, устраивать чуть ли не очные ставки, и все для того, чтобы докопаться, отчего — в силу каких совокупных причин — комбинат такой замечательный!

Мне, в общем-то, нравятся заводы, которые не догадываются, почему они такие хорошие. Ведь и красивые девушки обладают счастливым характером, когда не задумываются о собственной красоте. «Кто не слишком мнит о себе, тот лучше, чем он сам думает» — так сказал Гёте. И все же всем нам хуже оттого, что наши образцовые предприятия сами про себя многого не поняли и потому других научить толком не могут. А больше всего бывает здесь виновата эта растреклятая заводская текучка, которая захлестывает, губит очень многие благие пожелания, и особенно стремление задуматься о перспективе, преодолеть грядущие проблемы, чтобы к ним толком подготовиться. «Ты знаешь, — делился со мной как-то директор Бутров, — впервые себя как директора осознал в больнице, когда два месяца был вне этой чертовой круговерти». Обратите внимание — у нас на заводах нет в передсмотрящих, чья главная забота — заглядывать в завтрашний день. Все, даже главные инженеры — рабы текущих обстоятельств. И потому все случается неожиданно, порождая частенько шоковые ситуации...

МОТИВЫ. Ради чего, попав на эту хлопотную должность, директор работает? «Ради карьеры!» — скажет кто-то, и я соглашусь, что такие есть и таких, наверное, немало. И ничего позорного я не вижу в их устремлениях, ибо завязтым карьеристом — карьеристом со знаком минус — человек становится тогда, когда карьера для него — самоцель, заслоняющая интересы дела. Таких обнаружить легко. На заводах их распознают мгновенно, ибо жесткие испытания, которые предлагает людям современное производство, враз показывают, «кто есть кто». Но поделяюсь наблюдением: поборники карьеры ради карьеры стали обходить производство стороной — уж больно там хлопотно!

Зато знаю немало директоров, наотрез отказавшихся от высоких должностей в министерстве, предпочитающих директорствовать, покуда есть здоровье и силы. Даже после грозных предупреждений врачей многие директора отваживаются все же оставаться на своем месте...

В чем тут дело? Тут надо учесть, что человек, привыкший к бурным страстям и к острым, всегда берущим за душу разладам на производстве, потом — в тихом, спокойном месте — работать часто не может, ему чего-то не хватает, уже нет ощущения полноты жизни, которое приносит жизнь завода, фабрики... Сколько знаю случаев, когда производственники уходили на повышение куда-нибудь в институт или в контору, но очень скоро возвращались, потому что не переносили иной жизни, которая казалась после завода какой-то ненастоящей... После

директорства любая другая работа кажется узкой, однообразной, даже скучной. У директора действительно «семь я».

— Мне кажется, что директор — это целое чудо! — так говорила мне в присутствии нескольких директоров сотрудница министерства, а они все сразу от этих слов рассиялись. — Пальцев не хватит перечислить, что требуется от директора. Но обязательно — артистизм и такая его грань, как чувство юмора! Иначе говоря — в одном лице должен быть целый оркестр...

— Вместе с дирижером! — добавил кто-то из директоров.

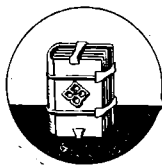
— И композитором! Ведь музыку для своего оркестра директор сам сочиняет!..

— И претворяет «музыку» в жизнь, да так, чтобы людям нравилось!

Конечно: директор — это целый мир! И потому у человека, который принимает на себя эту роль, возникает масса ощущений и приятностей, которые и пересказать-то трудно. Даже я, всего-то за день, испытал такие моменты, которые за всю жизнь не доводилось испытывать. А самое удивительное из ощущений — когда что-то меняется по твоей инициативе прямо у тебя на глазах! Чувство пьянящее. Здесь я сообразил, почему многие директора, хоть и понимают головой, что нельзя подменять подчиненных, заниматься конкретикой, а никак не могут отказать себе в удовольствии сделать именно конкретное — из того, что можно пощупать...

Спору нет: происходит на наших глазах изменение директорской роли. Тут причиной и коренные изменения самого производства, и реалии НТР, и социальные перемены... От директора теперь уже обязательно требуется иметь дело с компьютером, постоянно взаимодействовать с учеными, быть подлинным профессионалом управления, уметь работать в команде, обладать способностью быстро переучиться или перестроиться под влиянием новых требований, обладать острым чувством нового, быть прирожденным психологом, уметь создавать системы работы и на них опираться... Да сколько еще надо тут перечислить!.. Но самое главное — не останавливаться, не почивать на лаврах, не вообразить себя истинной в последней инстанции...

«А тщеславие?» — спросит кто-нибудь. Конечно! Но у лучших директоров тщеславие особого рода. Кстати сказать, и мой «смеширик» Капрал признался мне, что рост вверх по служебной лестнице не для него. Может, кокетничает? Тут не разобаться! Но вот в каком тщеславии он мне признался: стать лучшим директором лучшего в мире объединения.



МИХАИЛ
ЧЕРНОУСОВ



ЧТО ЗА ФИРМЕННОЙ УЛЫБКОЙ?

Витрина должна привлекать. И если «Диснейленд», знаменитый парк развлечений, — одна из витрин Америки, то его служащие обязаны быть привлекательными: голубоглазые блондинки и аккуратные парни, по инструкции, «должны иметь счастливую улыбку». Улыбайтесь, даже если совсем не хочется, улыбайтесь, ведь вы выставлены в витрине. Улыбались, пока не забастовали, потребовав улучшения условий труда и повышения зарплаты...

Юрий Малов, автор книги «У тебя должна быть счастливая улыбка» («Молодая гвардия», 1981), рассказывает о витринах Америки, о «массовой культуре» со знанием дела, используя личные наблюдения — автор в течение ряда лет работал в США. Он пишет о роли и значении «массовой культуры», о функциях, которые она выполняет в капиталистическом обществе.

Предприятия «массовой культуры» превращают в товары ширпотреб достижения искусства, музыки, спорта, организацию отдыха, развлечений. В поле зрения автора — «короли рока», «звезды кантри», котлеты «Макдональда», звезды спорта, суператтракционы «Диснейленда», сверхзвезды коммерческой телерекламы, голубые джинсы Л. Страуса и созданная им джинсовая империя. Ю. Малов рассматривает все эти «супер» и «экстра», все эти королевства и империи и ненавязчиво, логично сводит их к одному знаменателю: бизнес. Разрекламированные на весь мир неотъемлемые черты «американского образа жизни» есть в конечном счете не что иное, как сферы деятельности частного капиталистического предпринимательства, рассчитанные на производство определенных товаров и продажу их массовому потребителю. Основная цель — выгодно продать покупателю, продать хоккейную команду и котлету, песню и джинсы.

«Ни фирменные улыбки вымущрованного персонала, — пишет автор, — ни блеск унитазов в закулочных «Макдональда», ни расфасованная фантазия коммерческих предприятий У. Диснея, как и многие другие специфические особенности «американского

образа жизни», не должны вводить нас в заблуждение, скрадывать от нас самое главное: перед нами прежде всего разновидности современных капиталистических предпринимательств, функционирующих по общим законам и логике капитализма...»

Публицистические очерки Ю. Малова, в которых особое внимание уделено проблемам американской молодежи, увлекательны и ярки. Умело сопоставляя факты, анализируя их с четких классовых и нравственных позиций, автор предлагает читателю взглянуть на социальный срез американской действительности. Он показывает без прикрас черты «американского образа жизни», где духовное покупается и потребляется точно так же, как любая престижная вещь. Где манипуляция сознанием человека, общественным мнением не имеет предела, где обожание граждан возведено в ранг политики.

Всегда ли мы видим подлинную причинность явлений в капиталистическом обществе? При столкновении с ними кое-кто просто не замечает некоторых проблем, на другие обращает слишком много внимания, а третьи идеализирует, размечтавшись: мол, у нас бы так. Между тем надо подходить к этим явлениям с четких классовых позиций. Это важно и потому, что американский империализм делает особый упор на экспорт в социалистические страны своей идеологии, прикрытой внешне аполитичной оболочкой продукции «массовой культуры», рекламируя «потребительские возможности Запада», пропагандируя «ценности» своего общества. Надо помнить: все, к чему прикасается капитализм, превращается в товар, в предмет торговли, в объект купли и продажи. И это касается не только рабочей силы, но и духовных ценностей. «От рождения до самой смерти, — справедливо замечает Ю. Малов, — американец находится в цепких лапах капиталиста, который следит и приучает его к тому, что он должен есть и пить, как одеваться, каким образом отдыхать, что читать, какие фильмы смотреть, какую музыку слушать и, наконец, как думать, как жить, к чему стремиться». Последнее представляется особенно важным. Здесь не только бизнес, здесь идеология. Одна из главных задач капиталистических хозяев Америки — свести жизненные устремления человека к единому стандарту, к обладанию набором определенных вещей.

Актуальность книги Ю. Малова, думается, в том, что она разоблачает культ вещей, ценности «общества потребления», раскрывает процесс превращения людей в послушных роботов. Книга как бы предупреждает: это не частное дело Америки, пропаганда «американизма» активно используется в идеологических диверсиях против социалистических стран. На первый взгляд безобидные и порой даже привлекательные детали «американского образа жизни» служат набором отмычек, с помощью которых пытаются вломиться в чужой дом, размягчить социализм изнутри.

Вот что в конечном счете стоит за «счастливой улыбкой» в американских «витринах», о которых интересно и убедительно рассказал в своей книге Юрий Малов.

АННА
ПУГАЧ

ХУТА
ГАГУА
*Прозрачные
крылья*

«КАК СЛАВНО ЖИТЬ!»

Грузинский поэт Хута Гагуа уже известен общесоюзному читателю. Недавно вышло еще два сборника — «Прозрачные крылья» в издательстве «Мерани» и «Гнезда звезд» в «Советском писателе». Состав сборников тщательно продуман — поэту важно все выверить, прийти к читателю со своими искренними и весомыми словами.

Он пока еще идет,
То крута, а то отлога,
Все вперед, вперед, вперед
Продвигается дорога.

(Перевод В. Казанцева).

В его стихах есть пленительная свежесть, некое детское, незамутненное жизненной суетой видение мира.

Думаю, что именно это ощущение первозданной свежести открытия мира в сочетании с энергией, динамичностью стиха привлекло к книге Х. Гагуа таких разных по своей художественной манере поэтов-переводчиков, как Юнна Мориц, Юрий Рышенцев, Олег Чухонцев, Петр Вегин, Василий Казанцев.

Я вспомнил! Я очнулся! Хлещет дождь!
Мальчишка, он откроет дверь ногами!
И, руки вскинув, как индейский вождь,
Я с криками навстречу выбегаю, —

это в переводе Юнны Мориц, а в переводе Юрия Рышенцева мы находим такие строки:

Какое утро! Что за чудный свет!
Как виден сад, его живые связи,
И соловей открыто, как поэт,
Поет, поет, закрыв глаза в экстазе.

Каждый из поэтов-переводчиков нашел в творчестве Гагуа свою, наиболее близкую и интересную тему. Это особенно заметно в оригинально составленном и оформленном художником В. Медведевым сборнике «Прозрачные крылья», где стихи собраны не по времени их написания, а таким образом, что каждый переводчик под общей обложкой имеет как бы свою маленькую книжку. Такое решение дает возможность оценить и работу переводчиков и единство поэтического письма Хути Гагуа. А особенность его поэзии заключается в солнечном, ярком цветовом рисунке. Читая его стихи, попадаешь в особый поэтический мир, блестящий красками, наполненный музыкой и светом.

Поэт может «зримо» нарисовать все: горный воздух, шум Куры, «западающее» солнце и лесную каплю.

Обостренное чувство времени, понимание невозможности остановить его рождает у поэта стремле-

ние наполнить атмосферой доброты, душевной щедрости, открытости каждый миг своего бытия.

Пока февраль не вздумал увядать,
Я так хочу отдать тепла глоток,
От всей души кому-нибудь отдать,
Как белого дыхания цветок!

(Перевод Ю. Мориц).

Лирический герой Хути Гагуа обладает всеми свойствами грузинского характера: отвагой, лукавством, иронией и мужественностью. С одной стороны, — твердый непреклонный нрав — «не дрогнет порога моя», с другой — особая тонкость, отзывчивость души. Вот он встретил женщину на набережной — и «каменное что-то растаяло во мне от теплоты».

В творчестве Гагуа ощущается и приверженность к традициям русской классики, что выражается в конкретности, четкости графического рисунка, особым психологизмом, но он поэт, влюбленный в свою «малую родину», в свой народ: «О, горы родины, привыкнуть я не смог, к иным дорогам, плоским, без подъема». Он связан со своей землей духовными узами, его рассказ о доблести предков, о древних грузинских храмах, о своей родине, воспетой Шота Руставели и Тицианом Табидзе.

Умение ценить жизнь идет не только от жизнерадостного характера поэта, выросшего под южным солнцем, но и от раннего взросления, связанного с горьким военным детством. Шестилетним мальчиком увидел он опустевшие грузинские села и солдатские могилы в горах — детство кончилось рано, а война нет, она вернулась в дом вместе с раненым отцом — «за ним, затворяя калитку, одногового ступает Война».

Метафорический мир поэта наделен привычными ему с детства образами — не случайно у него «земля цветет, как алыча», а после дождя луна «шлепается» об асфальт, как «маленький кувшинчик простокваши». И не случайно в зимние московские сумерки ему видится, как «красным цветом персики цветут» и голубеет небо Тбилиси.

Сам поэт воспринимает природу как единство всего живого, ощущая слитность природы и человека: «Вот небо, вот горы, вот я, связавший все это в одно».

Радость обладания миром, постижение его живых связей — в этом источник силы стихов поэта, отсюда основной мотив обеих книг: «как славно жить!»

Жить! Бесконечно жить! Какой восторг!
Дышать! Какая дрожь в ветвях росистых.
Как будто корни ощущают ток
Живительных лучей на красных листьях.

(Перевод О. Чухонцева).

«На поезд жизнь моя похожа», — пишет Хута Гагуа в другом стихотворении и продолжает: «Остановка мне опасна, она смертельна для меня», — его курьерский мчится на полной скорости: быстрее, быстрее — все успеть, увидеть, пережить.

Он глядит порой назад,
И в прощальном долгом взгляде
Торжество и грусть сквозят —
Как у солнца на закате.
Вот и скоро снег падет...
В чаще голос раздастся:
— Он сюда
Еще вернется.
Он пока
Еще идет.

(Перевод В. Казанцева).



**АЛЕКСАНДР
РЕКЕМЧУК**



МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Жаль, что нельзя здесь воспроизвести один памятный мне старый снимок. Помню, на первом плане снимка, за пультом микшерной, сидит звукооператор, или, как тогда предпочитали называть эту профессию, тонмейстер; двойное стекло смотрового окна отделяет микшерную от большого студийного зала, где расположился симфонический оркестр, перед ним дирижер со вскинутой палочкой, а несколько сбоку — поющий дуэт, Сергей Яковлевич Лемешев и Татьяна Николаевна Лаврова, тут уж и второй и третий планы, масштаб совсем крохотный...

Вероятно, моя задача сейчас такова. Я должен поменять точки зрения, выстроить их наоборот: на первом плане — поющий Лемешев; далее, поменьше, — оркестр и дирижер; где-то в глубине студии — окно микшерной, в нем смутно виднеется оседланная наушниками голова тонмейстера; а еще глубже — некая посторонняя личность, тоже в наушниках, а эти наушники делают его почти неузнаваемым, поди докажи... Но тут уж вы просто поверьте мне — это я, честное слово!

И хотя такого обратного снимка, конечно, нету, я попытаюсь воссоздать его всеми доступными средствами.

Ранней весной 1954 года меня вызвали в редакцию молодежного журнала «Смена» и дали срочное задание: написать репортаж ко Дню радио.

Признаться, меня это не удивило, поскольку журналиста не должно удивлять никакое, даже самое неожиданное задание. А я уже считал себя профессиональным журналистом.

На фото:
С. Я. Лемешев
в фильме
«Музыкальная
история».

Полтора годами раньше окончил Литературный институт имени Горького. Поступил туда на отделение поэзии по рекомендации таких видных метров, какими были Владимир Александрович Луговской и Павел Григорьевич Антокольский — они благословили мои первые поэтические опыты, — но уже к исходу первого курса у меня появились признаки «ломки голоса». Я еще писал и даже печатал стихи, но шли они теперь с усилием, с нажимом, с хрипотцой. Уехал на Крайний Север в надежде, что необычный и свежий жизненный материал даст мне новое дыхание, но там, на Севере, поэтическая муза окончательно покинула меня. Работал в редакции местной газеты, писал очерки, фельетоны, репортажи, но о художественной прозе даже не помышлял. Пробовал заняться драматургией — неудачно. Наконец пришел к здравому убеждению, что журналистика — вполне завидный удел, стоящее и важное дело. Возвратившись в Москву, с грехом пополам защитил диплом в Литинституте и пошел по столичным редакциям, предлагая свои услуги. «А что ты знаешь?» — спрашивали меня. — «Север», — отвечал я, — и еще немного — музыку...» При этом я имел в виду прерванные войной занятия музыкой, которой был увлечен настолько, что даже пробовал сочинять. Как ни странно, мое знакомство с суровыми стихиями Севера вызвало гораздо меньший интерес, чем упоминание о музыке. Как оказалось, среди журналистской братии, охочей до любых тем, не столь уж много охотников писать о музыке, о музыкантах — во всяком случае, так обстояло дело в ту пору. И мне тотчас дали несколько заданий.

«Московский комсомолец» поручил написать очерк о каком-нибудь начинающем композиторе, студенте консерватории. «Только совсем неизвестном, — конкретизировали задание. — С первого или второго курса, чтобы никто о нем ничего не знал...» В комитете комсомола консерватории, куда я обратился, долго соображали и взвешивали, пока, наконец, не остановились на кандидатуре героя будущего очерка: «Отличник, активно участвует в общественной жизни, аккуратно платит взносы...» «Да, это прекрасно, — сказал я, — но какой он композитор?» «Ну, что ты, — развели руками ребята, — разве сейчас можно угадать, что из него получится...» Созволившись, я поехал по указанному адресу в 1-й Красносельский переулок. Меня встретил долговязый и тщий, бледный, слегка веснушчатый, очень застенчивый юноша. Он сыграл мне фрагменты из кантаты, над которой работал («Двадцать восемь» — с гвардейцах-панфиловцах) и несколько фортепьянных пьес, которые мне понравились. Рассказал о том, что учился в Свешниковском хоровом училище, пел в знаменитом хоре мальчиков, потом была мутация, голос пропал, терзался, мучился, пока вдруг не услышал музыку в себе... Вне сомнений, это ложилось в сюжет, тем более что мучительный процесс «ломки голоса» был мне тоже понятен, хотя я потерял не певческий, а поэтический голос. Вернувшись домой, я быстро написал очерк, снабдив его броским и пышным заглавием, уж не помню, каким. К очерку в редакции отнеслись благосклонно, но заглавие вызвало возражения: «К чему эти красоты? Нужно прямо обозначить предмет...» И 12 февраля 1953 года в газете «Московский комсомолец» появилась мой очерк, называвшийся «Студент-композитор Родион Щедрина», снабженный рисунком, где долговязый юноша сидел за роялем.

Первый успех окрылил меня. Я вспомнил, что несколько лет назад в новогодней компании познакомился с одним славным парнем, тоже учившимся на композиторском факультете, но был он чуть

старше, успел хлебнуть фронта, вероятно, уже заканчивал консерваторию. Раздобыл домашний адрес и поехал на Большую Бронную. Однако приезд мой был явно нестати: славный парень оказался в чрезвычайно расстроенных чувствах, что-то не складывалось в личных делах. «Ничего обо мне писать не надо, — категорически заявил он. — Музыку бросаю, консерваторию бросаю, все к черту!» «А куда же?» — посочувствовал я. «Поступлю в авиационное училище, это решено...» Большого труда мне стоило усадить его за рояль и упротить сыграть что-нибудь свое напоследок. Мрачный, он сыграл рапсодию, эскизы к опере, тему фортепианного концерта. Был он чрезвычайно красив — светлой и одухотворенной юношеской красотой, — и я успел подумать, что форма летчика, наверное, пойдет ему (еще одна несбывшаяся моя мечта!). Но как жалко, что пропадет такой несомненный талант — ведь музыка, которую я слушал, была хороша...

Очерк о нем я все-таки написал. Журнал «Смена» опубликовал его под названием «Родные напевы». Более того, мой очерк даже был замечен музыкальной прессой: его похода яггнули в какой-то очень сварливой статье. А герой очерка, увы, так и не пополнил ряды асов нашей авиации, он, к счастью, остался музыкантом. Это был Андрей Эшпай.

И вот новое задание «Смены». Вместе с фотокорреспондентом Виктором Эрнстовичем Тюккелем мы отправились в путь.

Теперь, просматривая репортаж «Говорит Москва...» («Смена» № 9, 1954 г.), я замечаю, что в нем соблюдены вызубренные еще в школе классические единства: времени, места, действия. Все происходит в Доме звукозаписи на улице Качалова в один и тот же день. Но, как теперь припоминаю, это на самом деле потребовало нескольких дней отчаянной борьбы по коридорам и лестницам, настойчивости и терпения. Зато старания наши не пропали даром.

«Маленькая, усталая комната с задрапированными стенами — одна из студий, — читаю я в репортаже. — Над столом вспыхивает световой сигнал: «Все готово. Микрофон включен». Диктор Юрий Левитан начинает передачу: «Передаем «Последние известия»...» Здесь же фотоснимок: Юрий Борисович Левитан у микрофона. Чего бы стоил наш репортаж без Левитана, если даже теперь, спустя почти четыре десятилетия после Великой Отечественной войны, голос знаменитого диктора является необходимым компонентом любого фильма, любого спектакля о войне, претендующего на достоверность!

Мы запечатлели также передачу «Пионерской зорьки», урок гимнастики, который вел Николай Леонтьевич Гордеев. Побеседовали со спецкорами Всесоюзного радио, только что вернувшимися с обувной фабрики имени Капранова. Подстерегли у подъезда автомобиль, на котором прославленный спортивный комментатор Вадим Синявский отправлялся на стадион «Динамо»...

Да, конечно, в один день мы с Тюккелем просто не могли бы управиться со всеми этими сюжетами, не говоря уже о том, что репортерское счастье редко само плывет в руки таким плотным косяком — за счастьем надо охотиться, а охота требует времени и сноровки.

И мы еще не знали, что главная наша удача впереди.

Просто нам был нужен сюжет, связанный с музыкой (какое же радио без музыки?), нам обязательно нужна была «музыкальная история» для репортажа.

В рабочем расписании, вывешенном в вестибюле Дома звукозаписи, значилась: «Студия № 1. Чайковский, «Ромео и Джульетта». Это наверняка годилось.

В микшерной мы предъявляли свои удостоверения тонмейстеру Марии Сергеевне Светухиной.

За широким смотровым окном уже настраивал инструменты симфонический оркестр, дирижер Самуил Абрамович Самосуд листал партитуру, сосредоточенно и неброско — для себя, а не для оркестра, — размахивая палочкой.

Дверь микшерной отворилась снова.

— Здра-австуйте!..

Я вздрогнул. Помню, что смотрел куда-то в сторону и сначала услышал лишь голос. Но этого было достаточно. Потому что голос был столь неповторимым и особенным, таким знакомым и дорогим слуху, что уже одно «здра-австуйте» приводило в трепет.

Это был Сергей Яковлевич Лемешев. Приветливо и ясно улыбаясь, он поздоровался с тонмейстером, с музыкальным редактором, подошел ко мне и Тюккелю, протянул руку для рукопожатия с изысканной вежливостью, даже не спросив, кто мы такие и что здесь делаем.

С ним вместе вошла миловидная женщина, которую он называл Танечкой, — это была известная ленинградская певица Татьяна Николаевна Лаврова. Появилась в микшерной и Самосуд, который, не трогая даром драгоценного времени, отведенного на запись, сказал:

— Итак, мы берем за основу вчерашнюю третью репетицию. Нет возражений?

Возражений не последовало. Я поспешил сделать запись в блокноте: оказывается, работа началась вчера и уже состоялись три репетиции, деталь интересная для репортажа, важная и поучительная.

Виктор Эрнстович Тюккель, который был много старше меня и куда опытней в репортерском деле, по-видимому, сообразил, что самое время предстать и, главное, сделать то дело, ради которого мы сюда явились, иначе начнется запись, и тогда нас просто не пустят в студию.

— Сергей Яковлевич, вас приветствует комсомольский журнал «Смена», — обратился он к певцу. — Мы готовим репортаж ко Дню радио. Позвольте сделать снимок, который украсит репортаж, будет, так сказать, гвоздем... Разрешите?

— Да, конечно, — согласился Лемешев. — Вместе с Татьяной Николаевной, Самуилом Абрамовичем, оркестром — пожалуйста...

— Спасибо. — Тюккель, творчески оживившись, начал расстегивать кожаный кофр с аппаратурой.

Брови Сергея Яковлевича сдвинулись у переносицы.

— Что, сейчас?.. Нет-нет, ни в коем случае! Это сразу събьет настроение, отвлечет, расходит и нас и оркестр... Нет-нет! Только в перерыве.

И, быстро повернувшись, направился к двери, галантно распахнул дверь перед своей партнершей.

Ничего не поделаешь. Мы с Тюккелем уселись в кресла по обе стороны пульта тонмейстера. Впрочем, меня это нисколько не обескуражило, наоборот, я понял, что это редкий подарок судьбы: я буду не только видеть и слышать момент записи пения великого артиста, но мне еще и предстоит написать об этом — пусть несколько строк репортажа, но все же!

Сквозь смотровое окно я наблюдал за Лемешевым, стараясь не упустить ни малейшего его движения. Он поздоровался с оркестром. Подошел к пюпитру вместе с Танечкой и здесь вдруг начал ей что-то объяснять, церемонно кланяясь и поднося руки к груди извиняющимся жестом. Танечка кивнула. Тогда Лемешев снял пиджак, повесил его на спинку стула, развязал узел галстука, стянул его с шеи, тоже повесил, расстегнул верхние пуговицы белой рубашки, дав свободу горлу.

Дирижер, оглянувшись — все ли готово? — поднял палочку.

Скрипачи, прильнув подбородками к декам, повели смычки. Виолончелисты, расставив колени и склонив головы, тоже начали играть. Пальцы арфисток коснулись струн. Шло оркестровое вступление...

Но я ничего не слышал. Музыка не проникла сквозь толщу смотрового стекла. На голове тонмейстера были наушники — она-то все слышала, — и руки ее колдовскими пассажами блуждали по шкале, трогая кнопки, катушки, ползунки. Я, перегнувшись через пульт, заглянул ей в лицо и состроил самую умоляющую мнуну, на какую только был способен. Мария Сергеевна, сжалась, подключила в гнездо еще пару наушников и протянула их мне.

Спустя мгновение, я уже слышал музыку. Слышал пение:

О миг блаженный,
Остановись,
А ты, ночь любви, скрой
И приюти под сень твою...

Я слышал голос, тенор, подобного которому не знал, не знает и не будет знать мир, — в этом я был абсолютно убежден тогда, как убежден и сейчас, и знаю, что при всей исключительности и категоричности подобного суждения его разделяли и разделяют многие тысячи, даже миллионы людей.

Действительно, при всем своем могуществе, нескрещаемой способности к чудесам природы не способен повторить человека во всех его ипостасях, а тем более повторить такое чудо, каким был Сергей Яковлевич Лемешев, каким был его голос.

Мое детство прошло в Харькове, и я даже не знаю; случались ли там гастролы Сергея Яковлевича Лемешева. Но радиоприемник СИ-235, который мы, подватуясь, купили (о, каким событием это было в семье!), вскоре сделал Лемешева частым и желанным гостем в нашем доме. «В вашем доме, в вашем доме...» — подтверждал он это ощущение интонацией совершенной искренности и доброты.

Осенью 1940 года на экраны вышел кинофильм «Музыкальная история», я, как и все, смотрел его бесцельно.

Вобщем, значение этого фильма, пожалуй, выходит за рамки очередной удачи советского кинематографа в жанре музыкальной комедии. Ведь были несомненные удачи и до этого и после этого: фильмы режиссеров Г. Александрова, И. Пырьева, композиторов И. Дунаевского, Т. Хренникова, братьев Покрасс. Однако следовавшие одна за другой работы киностудии «Ленфильм», сценаристов Е. Петрова и Г. Мунблита, режиссера А. Ивановского «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится» дали новое качество: ничем не уступая в «завлекательности» для самого широкого круга зрителей, полные традиционной комедийности, разве что отличающейся особым изяществом и благородством юмора, они приблизили, смело возвели фильмовую музыку на ступени высокой и подлинной музыкальной классики. Речь идет не только о том, что в этих картинах, естественно живя в сюжете, зазвучали оперные партии Чайковского, Римского-Корсакова, Бизе, Гуно, органные и фортепианные произведения Баха, Генделя, Бетховена. Я имею в виду и оригинальную музыку. Так, например, сочиненные Д. Кабалевским для фильма «Антон Иванович сердится» эстрадные номера, точнее, фрагменты некоей оперетты молодого композитора Мухина (фокстрот, вальс) до сих пор поражают необычностью, изысканностью, прелестью

мелодического рисунка, сочностью и вкусом аранжировки, богатством вокальных возможностей — они и сейчас иногда звучат в концертном исполнении, но я все горюю о том, что Кабалевский не использовал музыки этого фильма для создания самостоятельной оперетты.

Недавно киноартист Павел Кадочников, предвзято вступительным словом показ по телевидению фильма «Антон Иванович сердится», где он сыграл роль Мухина, раскрыл секрет: оказывается, и в «Музыкальной истории» роль главного героя, шофера такси Пети Говоркова, ставшего солистом оперного театра, должен был по первоначальным наметкам играть он, Кадочников. Значит, предполагалось переозвучение вокального ряда картины другим артистом, профессиональным певцом? Но кем? Лемешевым?.. Прямого ответа на этот вопрос не дали ни Павел Петрович Кадочников, ни Сергей Яковлевич Лемешев в его мемуарной книге «Путь к искусству». Но так или иначе, а роль Пети сыграл именно Лемешев.

До сих пор Лемешева только слышали — я опять-таки имею в виду ту подавляющую массу людей, которым до поры до времени либо вообще никогда в жизни не довелось присутствовать на спектаклях и в концертах с его участием и которые знали лемешевский голос лишь по радио и в грамзаписи. Теперь эти люди благодаря кино увидели Лемешева.

Вообще-то все, кто лично встречался с Сергеем Яковлевичем, не могли не отметить некоторый присущий ему светский дендизм, даже аристократизм. И, скажем, появившись до «Музыкальной истории» другой фильм — «Киноконцерт 1941 года», где Лемешев исполнял балладу и песенку Герцога из «Ритолетто» Верди, — он, вполне вероятно, запечатлелся бы в зрительской памяти первоначально именно герцогом Мантуанским в роскошных одеждах и с кубком вина, молодым, легкомысленным и жестоким деспотом. Но в том-то и дело, что это первоначальное знакомство было иным: с шофером Петей Говорковым, в косоворотке и лихо сдвинутой набок кепке, с бесхитростной и мягкой улыбкой, распеваящим по утрам за бритьем в ванной комнате многонаселенной квартиры «Вдоль по улице метелица метет...». В этом парне безошибочно угадывалась судьба подлинного Лемешева: сына безземельных крестьян, кормильца семьи с отроческих лет, подмастерья в сапожной, курсанта-кавалериста, участника художественной самодеятельности. Именно таким его увидели миллионы зрителей и тотчас навсегда определили: с в о й.

Здесь надо воздать должное вкусу и такту авторов фильма: они учли, что эта типичность судьбы главного героя, демократизм всей окружающей его среды и обстановки могут войти в кричащий диссонанс, если избрать для дебютов молодого певца репертуар, где будут декорации замков и дворцов, пышные наряды, превратности жизни королей, герцогов и графов... Оперные спектакли в «Музыкальной истории» тоже подчеркнуты демократичны: это «Майская ночь» с лихим парубком Левко, это «Евгений Онегин», который еще совсем недавно для той поры уничтожительно именовался «оперой, где варят варенье», с провинциальным и наивным восемнадцатилетним баричем Владимиром Ленским.

Ошеломляющий успех «Музыкальной истории» в предвоенном году получил, если можно так выразиться, проверку огнем и стальную закалку уже в военные годы. Доказательство тому — множество фильмов-аналогов, снятых именно в ту суровую пору.

Я помню одухотворенные, в слезах радости, смеяющиеся искренним смехом, лица зрителей «Музы-

кальной истории» в осажденном Сталинграде летом 1942 года. Помню госпитальные залы Барнаула, куда занесла меня эвакуация: свет проектора, отражаясь от киноэкрана, ложился на сплошную белизну бинтов и гипса раненых воинов, застывших, кто сидя, кто лежа на койках, завороченно и счастливо внимающих голосу Лемешева, музыке...

Пятнадцатилетним пареньком я поступил в 4-ю Московскую артиллерийскую специальную школу и вместе с нею, в порядке эвакуации, в 1944 году приехал из Сибири в столицу, впервые оказался в Москве. Может быть, и грешно признаваться в этом, но никогда, ни раньше, ни позже, я не был столь усердным театралом и посетителем концертов, как тогда. Пользовался каждым увольнением в город (а иногда, признаюсь и в этом, обходился и без увольнительной записки), чтобы побывать в Большом театре — в любом распадшемся ряду и ярусе, на самой что ни на есть галерке, но непременно попасть на спектакль, где поет Сергей Яковлевич Лемешев. А еще Колонный зал Дома союзов, зал имени Чайковского, Большой зал консерватории. И тут уж совсем близко, так, что слышно его дыхание, — Лемешев... Вновь Ленский и Левко, Дубровский и Альмавива, Вертер и Берендей, Фауст и вновь Герцог, романсы, народные песни... Пожалуй, в ту пору мне выпало счастье услышать весь или почти весь репертуар любимого певца.

Но вплоть до этого весеннего дня 1954 года я еще никогда не слышал Лемешева, поющего партию Ромео в дуэте Петра Ильича Чайковского. А сейчас слышу — в наушниках. И вижу за смотровым окном в главной студии Дома звукозаписи: пылкий и нежный Ромео, с разметавшимися прядями волос, в белой рубашке с распахнутым воротом, он то протягивает руки к своей ненаглядной Джульетте, не в силах расстаться с нею, то кладет их на грудь, вразумляя ее и себя:

Пора, одно мгновение
Мне будет стоять жизни...

Свидание близится к концу. И запись идет к концу.

Прости, прости-и...

Замирает последний звук.

Виктор Эристович Тюккель, дремавший в своем кресле, мгновенно оживает, вскакивает, расстегивает футляр драгоценной фотокамеры.

— Пошли! — тихо, но решительно командует он и направляется из микшерной в студию. По дороге он посвящает меня в свой творческий замысел: — Мы возьмем его вот таким, как он сейчас... тепленьким, с пылу, с жару... это будет кадр!

Мы подходим к Сергею Яковлевичу.

— Теперь вы позволите?

— Что?.. — не сразу понимает наш вопрос еще полностью погруженный в атмосферу музыки и пения артист. — Ах, да... да, пожалуйста...

И тянется к висящему на спинке стула пиджаку.

— Сергей Яковлевич, — исходит стоном Тюккель, — ради бога, не надо...

— Чего не надо?

— Пиджака не надо. Я хочу запечатлеть рабочий момент — пусть будет все, как только что было... без пиджака, в рубашке...

— Вот как? — изламывает бровь Лемешев, и в лосе его появляется металл. — А может быть, еще и подтяжки надеть?

Чтобы лучше понять суть этой сцены, нужно взглянуть на опубликованные в различных изданиях фотоснимки Сергея Яковлевича Лемешева в домашней обстановке: вот он, сидя на табуретке, разбирает

сваленные на пол кипы нот, журналов — но при этом на нем рубашка с безупречно повязанным галстуком, щегольская куртка и остроносые блестящие штиблеты с надежными поверх когда-то очень модными гамашами; вот он у домашнего пианино — и опять галстук, джемпер изысканной вязки...

Лемешев протягивает руку за галстуком и начинает повязывать его со всей возможной тщательностью.

— Ну, хотя бы без галстука! — умоляет Виктор Эрнстович.

— А может быть, еще и подтяжки надеть?

Лемешев оглядывается на дирижера, на оркестр, подзывает Татьяну Лаврову и, деликатно обняв ее талию, присанивается, вскидывает подбородок, излучает глазами мечтательность, надежду и счастье любви.

Помрачневший и обиженный Тюккель начинает щелкать затвором, меняя экспозиции, точки съемки, ракурсы. Лампа-вспышка ежесекундно озаряет студию. Щелк, щелк, щелк — издается полная катушка пленки.

— Спасибо, до свидания, — суховаго благодарит фотокорреспондент и, взметнув на плечо репортерский кофр, покидает студию.

Я иду по коридору следом за ним.

— Виктор Эрнстович, вы не возражаете, если я останусь? Хочу посмотреть, как будут прослушивать запись — наверное, это интересно.

— Оставайтесь, конечно. А я побегу — нужно оставлять, печатать. Счастливо.

Я бегом возвращаюсь в микшерную. Поспеваю в самый раз: Самосуд, Лемешев, Лаврова уже сидят в креслах. Тонмейстер Светухина нажимает кнопку, пошла бобина.

Спустя полтора десятка лет я так попытаюсь воспроизвести дальнейшее в повести «Мальчики», в главе, где мой юный герой, солист хора мальчиков Женья Прохоров, только что спевший для грамзаписи «Песню-пеленг», оказывается случайным свидетелем работы над фонограммой «Ромео и Джульетты»:

«Оркестр. Вступление.

А ведь и я немного устал. Изрядно наволновался, покуда меня самого записывали. Потом это неожиданное появление знаменитого артиста. И музыка Чайковского, которую невозможно слушать равнодушно, не отзываясь на нее всем сердцем...

Пусть будет так,

Умру я,

Но сладко мне

И умереть по твоему желанию...

— Нет-нет, остановите. Стоп!

Лемешев, вскочив со стула, протестующе размахивал руками.

— Это не годится, ни-ку-да не годится!

— Ну что вы, Сергей Яковлевич? — Дирижер, в свсю очередь, широко развел руки.

— Сергей Яковлевич... — прижала руки к груди Танечка.

— Мгм, — глухо кашлянул звукооператор и, отогнув рукав белого халата, посмотрел на часы. Наверное, ему пора было обедать.

— Не годится! Сначала! Все сначала!..

И, не дожидаясь своих коллег, Лемешев решительно направился к двери.

Танечка и дирижер, обменявшись вздохами, покорно двинулись следом. Через несколько секунд я уже увидел их снова за широким двойным окном, в студии. И Лемешев снова пристраивал свой пиджак на спинку стула».

Герой моей повести на этом покидает студию. Я же остался и снова водрузил на голову наушники. Разу-

меется, в тот момент я еще не мог помышлять ни о будущей повести, ни вообще о том, что через несколько лет стану писателем-прозаиком. Но было захватывающее ощущение того, что я присутствую при неповторимом и значительном событии в искусстве, что мне отчаянно повезло.

А ведь я никак не мог догадываться, чем была эта запись для самого Лемешева. И вполне вероятно, что не только для меня это было тайной. Теперь можно строить лишь предположения, сводить логические прямые, опираясь на факты творческой биографии и свидетельства самого артиста.

Николай Александрович Квашини, основатель деревенской ремесленной школы, первым открывший недюжинный талант юного Лемешева, преподавший ему азы нотной грамоты, наставлял его и впоследствии. Одним из этих наставлений было: «Сережа, пой Ромео, пока еще молод...»

Да, Лемешев был буквально создан для этого шекспировского образа. Но где, в каком спектакле он мог петь Ромео? Естественно, в опере «Ромео и Джульетта» Шарля Гуно. И он мечтал об этой партии, долго готовился к ней. Пусть его страшали трудностями вокала, «неудобного» для его голоса, пусть певцу далеко не все нравилось в музыке оперы и тем паче в ее переводном тексте — он решил во что бы то ни стало спеть Ромео и спел его.

Спектакль рождался трудно: его начинал дирижер Самосуд, потом, разуверясь, вдруг, передал Мелик-Пашаеву; постановку осуществлял молодой, недостаточно опытный режиссер... Эти обстоятельства преодолевались трудом и вдохновением, но нечто роковое сопровождало рождение этого спектакля. Его премьера состоялась в филиале Большого театра вечером 22 июня 1941 года. В антрактах исполнители бросались к репродукторам слушать оперативные сводки с фронтов, они были неутешительными...

После двух-трех представлений спектакль пришлось свернуть, он был возобновлен лишь в 1945 году.

В книге воспоминаний Сергея Яковлевича Лемешева мы находим примечательные строки: «Сценический образ Ромео, как хорошо известно, требует большого обаяния юности со всей прямотой ее дерзкой непосредственности, пылкости, страсти — без оглядки, без самоанализа. Конечно, мой Ромео мало походил на молодого итальянца эпохи Возрождения... мой Ромео, конечно, был еще очень русский...»

Итак, очень русский и.

Но ведь в русской музыке существовал свой русский Ромео! Петра Ильича Чайковского. Правда, «Ромео и Джульетта» Чайковского — не опера. Сначала великий композитор написал увертюру-фантазию под этим названием, имевшую несколько редакций. Затем им был написан вокальный дуэт «Ромео и Джульетта» для сопрано и тенора, заверченный С. Танеевым. Не опера, а всего лишь дуэт. Но какой! Будто бы споря с финальной шекспировской строкой «Нет повести печальнее на свете...», Чайковский выводит за рамки своей музыкальной версии все обстоятельства вражды Монтекки и Капулетти, пролитую в этой вражде кровь, даже трагическую гибель Ромео и Джульетты, как бы подразумевая: вы знаете, что их ждет, чем это кончится, но ведь главное не смерть во имя любви, а счастье любви... Единственное в своем роде прочтение «Ромео и Джульетты», где любовь подтверждается не смертью, а самой любовью!

И, конечно же, Сергей Яковлевич Лемешев, наш «очень русский» Ромео, не мог в своей творческой жизни пройти мимо этого произведения. Оно пред-

назначено для концертного исполнения, и, насколько мне известно, Лемешев пел эту партию трижды: в 1940 году, на юбилейном вечере в Большом театре, посвященном столетию со дня рождения П. И. Чайковского, с Джульеттой — Валерией Владимировной Барсовой; после войны, в Ленинграде, с Верой Николаевной Кудрявцевой; и, наконец, весной 1954 года он записывает этот дуэт с Татьяной Николаевной Лавровой в Доме звукозаписи.

«Сережа, пой Ромео, пока еще молод...» — наставлял Квашнин. В 1954 году Сергею Яковлевичу было пятьдесят два года, и хотя внешне он выглядел очень молодо и был по-прежнему неотразимо красив, а голос звучал великолепно, в полной силе и богатстве тембра, и артистическая трактовка была исключительно выразительна, вероятно, Лемешев создавал, что он поет Ромео в последний раз, что эта фонограмма будет итоговой. Вот почему он был так одухотворен и взволнован, так неистов и беспощадно требователен к качеству исполнения и записи.

Мне выпало редкое счастье: присутствовать при этой работе. Никогда впоследствии это счастье не повторилось, у меня больше не было личных встреч с Сергеем Яковлевичем. И, вероятно, здесь самое место поставить точку в этом моем воспоминании, на которое я стежился после долгих колебаний и сомнений.

Да я никогда б и не отважился, если бы у этой «музыкальной истории» не оказалось совершенно неожиданного продолжения. Одного из тех, которые способна изобретать только сама жизнь и, добавлю, которыми бывает одарена именно жизнь в искусстве — за все каторжные муки, которыми она, увы, полна.

Осенью того же 1954 года я вновь уехал на Крайний Север, в Коми АССР. Работал собственным корреспондентом республиканской газеты «Красное знамя» в Ухтинском и Троицко-Печорском районах. Отдыхавший на северных чистых ветрах, занялся прозой. Вслед за циклом печорских рассказов вышли повести «Все впереди», «Время летних отпусков», «Молодо-зелено».

Однако, роясь недавно в бумагах, я обнаружил начальные страницы повести «Мальчики», о которых совсем позабыл. Наверняка я ощутил нехватку материала для повести о питомцах хорового училища, о поющем мальчике, безвозвратно утратившем голос, а ехать «в Москву за песнями» было очень далеко, да и не входило это в круг моих служебных обязанностей... Пришлось отложить этот замысел на многие годы.

Но из провинциальной глуши я с изумлением следил за тем, как все выше и выше на небосводе современной музыки восходит звезда героя газетного очерка, композитора Родиона Щедрина: опера «Не только любовь», балет «Конек-горбунук», первая симфония, первый фортепианный концерт, блестящие и дерзкие инструментальные песни, и чувствовалось, что этот разбег обещает еще большее.

В 1959 году «Мосфильм» взялся за экранизацию моей повести «Время летних отпусков». Музыку к фильму писал давний знакомый, герой очерка в «Смене» Андрей Эшпай. Я приехал в Москву, и мы вновь встретились. Был он в расцвете славы: в одной из комнат квартиры сидел у мольберта художник, прибывший с родины композитора, писал маслом его портрет для музея. Я напел Андрею что-то из его ранних вещей, он снисходительно рассмеялся, но, тотчас помрачнев, сообщил, что вчера сжег партитуру новой симфонии...

Север, северная тема возвращали меня в мир другого пристрастия — музыки.

В конце шестидесятых годов, уже снова живя в Москве, я решил все-таки написать «Мальчиков». Стал бывать в хоровом училище на Большой Грузинской, сидел на уроках и спелках, беседовал с учениками и преподавателями. Пожилая учительница, пригласив меня в пустой класс, включила электрофон, завела пластинку: редкой красоты мальчишеский голос пел «Былину о Добрыне Никитиче»... «Где этот мальчик?» — спросил я. «Убежал». «Как так?» «Не вынес потери голоса, убежал куда-то на Дальний Восток, работает теперь в зверосовхозе...»

Я вспомнил, что в дни моего пионерского детства звонкоголосый мальчик Коля Кутузов часто пел по радио песню «Улетают герои-пилоты...». Куда подевался впоследствии Коля Кутузов? Уже после войны радио разносило по всей стране замечательную песню Д. Шостаковича и Е. Долматовского «Родина слышит, родина знает...», которую пел Женя Таланов (кстати, в повести «Мальчики» эта песня и явилась прообразом «Песни-пеленга»). Где Женя Таланов? Неужели их взрослой судьбой оказалась та же безвестность, что досталась в удел итальянскому мальчику Робертино Лоретти, на краткий срок ставшему предметом всеобщих восторгов и даже поклонения?..

Но первые же наведенные справки не только утешили, но и обрадовали. Николай Кутузов руководил академической хоровой капеллой. Евгений Таланов работал хормейстером в Волгограде, затем преподавал в Гнесинском институте. Из стен хорового училища вышли такие известные ныне композиторы, как Владислав Агафонников, Эдуард Артемьев, Ростислав Бойко, Александр Флярковский, многие другие видные музыканты.

И вновь, как когда-то, с блокнотом в руках я беседовал с Родионом Константиновичем Щедриным. Выспрашивал долго и дотошно. На прощание он подарил мне пластинку с надписью: «...моему первопечатнику».

Пожалуй, наиболее сложной в работе над повестью оказалась именно проблема прототипов. Конечно же, мой Женя Прохоров вовсе не тождествен Родиону Щедрина: далеко отстоящие даты их рождения уже предполагают совершенно различные поколенческие характеристики, один — сирота, выросший в детском доме, другой рос в интеллигентной московской семье, все очень разное... Но, на всякий случай, чтобы еще дальше «развести» книжного героя и его изначальный прототип, я написал повесть от первого лица («Я, Женя Прохоров...»), а это всегда предполагает и влечет особо исповедальную и личностную интонацию.

Директора хорового училища я надежно законспирировал в повести под именем Владимира Константиновича Наместникова. Композитора, написавшего «Песню-пеленг», оставил вообще безымянным, лишь набросав портрет: худощавое, бледное лицо, тонкие губы, волосы, ниспадающие на лоб, круглые очки — правда, в повести было сказано, что Женя сразу узнал в нем не просто композитора, но великого композитора, живого классика.

Лишь с одним прототипом я не мог поделаться буквально ничего! В крайне важном эпизоде, где Женя Прохоров в Доме звукозаписи прослушивает фонограмму «Песни-пеленга», дверь микшерной вдруг открывается, кто-то входит, говорит «Здра-авствуйте!», и Женя вздрагивает, услышав этот голос, — тут я, сколько ни тщился, не мог подставить другое имя, другую фамилию, попытаться «изменить голос». Этот голос — единственный в своем роде — нельзя было изменить, а главное, я чувствовал, что этого не

нужно и нельзя делать. Как нельзя было пакладывать чужие черты на этот облик либо скрадывать его собственные... Одолея страх, сознавая всю степень риска, я написал: «Сергей Яковлевич Лемешев». И будь что будет...

Повесть «Мальчики» была опубликована в 1970 году в журнале «Юность», выпущена отдельной книгой издательством «Молодая гвардия».

Вот тут-то мне и представилась возможность оценить в полной мере степень искушенности советских читателей, особенно юных, и меру их пытливого интереса к проблеме прототипов.

Письма приходили пачками. В них содержались ликующие озарения и догадки: «Наместников — это Свешников, да?..», «...а композитор, имя которого не названо, вероятно, Дмитрий Дмитриевич Шостакович?», «...у вас описана девушка, «пичуга, от земли не видно», которая поступает на композиторский факультет консерватории. Не Пахмутову ли вы имели в виду?»

Но позже это дело приняло еще более серьезный оборот. На киностудии «Мосфильм» приступили к экранизации повести. Руководители съемочной группы, как и должно, явились за творческой консультацией к руководителю хора мальчиков, ректору Московской государственной консерватории, патриарху стечественного хорового искусства Александру Васильевичу Свешникову. С патриаршей прямоотой он осведомился: «Кто будет играть меня?»

Оставалось утешаться тем, что в читательских письмах не проскальзывало даже мало-мальского сомнения в том, что повесть «Мальчики» насквозь автобиографична, что прототип Жени Прохорова — я сам, и опять-таки следовали вопросы, сокрушающие свсей категоричностью: «Где можно достать пластинку «Песня-пеленг», напетую вами?», «Почему из вас не получился композитор, а только писатель?»

Но не тут-то было. В коридоре Министерства культуры мне повстречался Родион Щедрин, он шел в окружении своих коллег, что, однако, не помещало ему обнять меня и провозгласить: «Саша, спасибо! Тогда ты прославил меня на всю Москву, а теперь — на весь мир...» Я пристально вглядывался в его глаза, пытаясь уловить в них иронию либо дружескую издевку, однако там не было ничего, кроме всепрощающей доброты.

А что же единственный из персонажей повести, названный в ней своим собственным именем? Прочел ли он эту публикацию, книгу?

По-видимому, да. Был телефонный звонок. Мягкий женский голос сказал: «Сергей Яковлевич Лемешев хотел бы иметь в своем личном архиве страницу повести, где описана встреча с ним, желательнее — рукописную страницу... Это не затруднит вас?»

Мне бы в тот же самый момент выхватить из папки эту страницу, сочинить на титульном листе книги какую-нибудь восторженную дарственную надпись, заскочить на Центральный рынок, купить там охапку цветов и помчаться на всех парах к дому, где живет Лемешев...

Но мною по-прежнему владел священный трепет перед божеством. Я послушно запечатал в конверт страницу рукописи и послал ее по названному адресу.

Роль Жени Прохорова в «Мальчиках» сыграл Антоша Табаков, сын известного актера театра и кино, режиссера, одного из основателей «Современника» Олега Павловича Табакова. Несомненно, папа смотрел кинематографу и порадовался дебюту сына, угадал в фильме опытным и зорким глазом его прос-

четы. Вскоре он, позвонив мне, испросил авторского разрешения на создание трехсерийного радиоспектакля «Мальчики». Я, разумеется, согласился. Мы были давно знакомы с Олегом Табаковым, сыгравшим главную роль в экранизации моей повести «Молодо-зелено». Я всецело доверял самостоятельности его творческих решений, а он, надо воздать ему должное, не сильно обременял меня в дальнейшем вопросами. Лишь снова позвонил спустя полгода и сообщил: «Слушай радиоспектакль такого-то во столько-то по такой-то программе...» При этом мне почудилось, что на лице его в данный момент расплывается знаменитая табаковская улыбка, неизменно предвещающая сюрприз либо каверзу.

Радиоспектакль я слушал с интересом. Во второй серии настал черед сцены в Доме звукозаписи.

Вот скрипнула дверь.

— Здра-авствуйте!..

И я опять, как когда-то, много лет назад, непроизвольно вздрогнул, заслышав этот голос. Еще несколько фраз. Потом потекла музыка «Ромео и Джульетты» Чайковского, зазвучало пенке: Лемешев и Лаврова.

Я лихорадочно соображал: что же это такое?.. Ну, вот сейчас ясно: это идет фонограмма 1954 года, на записи которой мне выпало счастье присутствовать, драгоценная фонограмма, сбереженная в фондах, — вполне естественно, что именно ее использовали в радиоспектакле. Но кто произнес это певучее «Здра-авствуйте!», кто дальше говорил этим неповторимым голосом?.. Неужели удалось найти актера, который сумел так похоже имитировать лемешевский голос?.. А может быть, это Олег Табаков? Он все умеет, с него станется...

С нетерпением ждал я радиотитры в конце: ведь должны объявить, кто есть кто.

— Роли в спектакле исполняли... — женщина-диктор начала перечислять фамилии актеров.

Затем последовала искусственная пауза, и тот же голос, присбредя некоторую торжественность, объявил:

— Роль Сергея Яковлевича Лемешева в радиоспектакле исполнил народный артист СССР Сергей Яковлевич Лемешев... Ваши отзывы о передаче...

Я сидел потрясенный. Даже внутренне подготовленный к неожиданности, к сюрпризу, я не верил своим ушам, не мог поверить в то, что это действительно так... Потому что при самом необузданном полете писательской фантазии я бы никогда не отважился на такое завершение этой «музыкальной истории», которое случилось только что.

Потом я расспрашивал Олега Табакова:

— Как же это удалось?

— Сначала я даже боялся ему позвонить, — признался Табаков. — Ведь для меня он, понимаешь...

— Понимаю. Как для всех нас.

— Ну, вот. И вдруг он неожиданно легко согласился, мне даже показалось, что обрадовался. Приехал в Дом звукозаписи, был очень оживлен в общении с актерами, увлеченно помогал выстраивать эпизод. Видно, что его очень тянет к молодежи, хотя и мы, ха-ха... И рассказывал, рассказывал нам...

— Что рассказывал?

— Многое. Он очень многое нам рассказывал. Было так интересно его слушать. Но, понимаешь, ведь мы были строго ограничены временем — работа...



ИРИНА
ЖЕЛВАКОВА

СТРАНИЦЫ ОДНОЙ ЛЮБВИ

«...один женский образ
является во всей моей жизни».
А. И. ГЕРЦЕН.



Зимой 1976 года прохожие тихого Сивцева Вражка стали замечать свет в окнах прежде темного особняка в строительных лесах. А там уже давно подспудно кипела напряженная жизнь. Стучали молотки, жужжали пилы...

Старый тучковский дом (купленный некогда отцом Герцена — И. А. Яковлевым у генерала и стихотворца С. А. Тучкова) обжился и оживал на глазах, как когда-то, 130 лет назад, при Герценах.

...В трудную зиму 1920 года, в канун пятидесятилетия со дня смерти Александра Ивановича Герцена (1812—1870), на заседании Совнаркома под председательством В. И. Ленина было принято постановление об увековечении памяти великого русского писателя-демократа. Предусмотрено было и установление памятника и переименование улиц.

Дом по Сивцеву Вражку, тучковский (№ 27), где прошла «самая возмужалая и деятельная полоса» жизни Герцена в Москве (1843—1846), где им написаны и роман «Кто виноват?», и философские «Письма об изучении природы», и повести «Доктор Крупов» и «Сорока-воровка», решено отметить памятным барельефом.

Кто только не перебивал в тучковском доме, кто только не переступил его порога — В. Г. Белинский и Н. П. Огарев, Т. Н. Грановский и М. С. Щепкин, И. С. Тургенев и П. Я. Чаадаев, Н. Х. Кетчер и Е. Ф.

Корш, В. П. Боткин и Н. М. Сатин — литераторы, друзья Герцена.

Сколько раз вдали от России Герцен мысленно возвращался на Сивцев Вражек, перебирал все подробности их удивительного жития, вспоминал друзей, их рассказы, споры, представлял их московские трапезы, где остроты и шутки искрились «как шипучее вино».

В середине 50-х годов, когда Герцена поглотила работа над «Былым и думами», он опять и опять возвращался к той своей московской поре.

«Когда же это мы с вами на старости лет сядем у печки в Старой Конюшенной?..» — спрашивал иногда изгнанник Герцен у друга — Марии Рейхель...

6 апреля 1976 года в день рождения Герцена в Сивцевом Вражке открылся его музей — филиал Государственного литературного музея. Вот теперь-то можно увидеть уникальные книги, портреты, картины...

О новом музее узнали. И, словно магнитом, он стал притягивать новые поступления: из-за границы и разных городов Советского Союза; от правнуков Герцена — москвички Натальи Петровны Герцен и проживающих во Франции и Швейцарии Леонарда Риста и Сержа Герцена... А тут вдруг стало известно, что в новой квартире Антушевых у Речного вокза-

А. И. Герцен с сыном Александром.
Портрет работы неизвестного художника.
1839—1840 годы.

ла лежит целая кипа старых бумаг, оказавшихся неизвестными письмами Герцена, его жены, Натальи Александровны, Н. П. Огарева, Н. А. Тучковой-Огаревой к их ближайшим московским друзьям — Татьяне Алексеевне и Сергею Ивановичу Астраковым (о неожиданной находке огромного архива, где более двухсот писем «вокруг Герцена», уже сообщалось «Литературной газетой» 31 мая 1978 года). Рассматриваем ветхие, прозрачные листки, «невесомый» почерк Натальи Александровны. Это те самые записочки, посланные ею из Сивцева Вражка на Плющиху своей ближайшей подруге. Они чудом уцелели после пожара 1884 года в Девичьепольском доме Астраковой. Каждый такой документ чрезвычайно важен. И пусть он написан не герценовской рукой. Но ведь жизнь великого человека не представляется единым островом, без эпохи, семьи и ближайшего дружеского окружения. Вот почему в готовящиеся новые тома «Литературного наследства» включаются не только тексты Герцена и Огарева, но и материалы Н. А. Герцен. Новые письма, разысканные специалистами в архивах, тоже ждут опубликования. Мы из них приведем небольшие фрагменты, возвращающие к жизни Герценов в Сивцевом Вражке. Этот период, «тучковский», будет нас особенно интересовать. А читателя наверняка заинтересуют портреты Н. А. Герцен и особенно малоизвестный ее портрет работы художника К. Рейхеля 1842 года. Сделан он в Новгороде, в пору, когда жена ссыльного во второй раз испытывает тяготы провинциального бытия того времени (вспомним Владимир, предшествовавший новгородской ссылке). В этом холсте не ощущается того внутреннего сияния, которым провизан ее портрет с первенцем Александром, написанный годом раньше академиком К. Горбуновым. Нет в нем и безнадёжного трагизма портретов последних лет. Но это новый, непривычный нам ее облик. Правда, портрет — пока лишь в хорошей копии. Подлинник еще «живет» в Версале, в доме Л. Риста.

Приятные неожиданности на каждом шагу. Из Пензенской картинной галереи пришло письмо. Сотрудники ее пытаются определить личность неизвестной на портрете П. Орлова 1839 года. Уж не Наталья ли Александровна? Смотрим на присланную фотографию. Портрет неизвестной в сиреневом платье нам, сотрудникам герценовского музея, кажется очень знакомым... Да ведь он многие годы висит в отделе фондов Литературного музея, что на Кропоткинской, и по всем описям и инвентарям значится (что еще нужно доказывать!) изображением жены пушкинского приятеля — С. А. Титовой, работы К. Корсакина (1809—1883), видимо, выполнившего заказную копию. Смотрим на портрет, сравниваем его с горбуновским, рейхелевским, ищем все возможные доказательства. Наталья Александровна? Пока не выходит ни у нас, ни у пензенцев. А так хочется знать все больше о женщине, чье «дивное действие» на Герцена определило необыкновенную, поразительную по своей гармонии и глубине чувств жизнь двух людей.



14 июля 1842 года 30-летний Герцен, все еще обремененный «титолом» «государственного преступника, весьма опасного для общества», въезжал в Москву.

С того июльского утра 1834 года, когда из вольного жителя стал он колодником Пречистенской полицейской части, до этого яркого июльского полдня прошло ни мало ни много 8 лет беспрестанных гонений, сотни тягучих дней тюрьмы и ссылки, уже успешных обрести ворохом воспоминаний. «Периодические

торжественные воспоминания, — напишет Герцен вскоре в одном из писем, — это субъективные праздники — великое дело. Одна прозаическая душа не понимает этого. Жизнь течет, не до воспоминаний; но человек наставил верстовые столбы, дошел и глядит назад, и бывшее оживает».

Герцен часто раздумывал над его «отделами», словно пунктиром намечал план будущего своего автобиографического труда. «От 1812 до 1825 ребячество, бессознательное состояние, зародыши человека; но тут вместе с моею жизнью сопрягается и пожар Москвы, где я валялся шесть месяцев на улицах, и стан Иловайского, где я сосал молоко под выстрелами. Перед 1825 годом начинается вторая эпоха; важнейшее происшествие ее — встреча с Огаревым. Боже, как мы были тогда чисты, поэты, мечтатели! Эта эпоха юности своим девизом будет иметь дружбу. Июль месяц 1834 оковчил учебные годы жизни и начал годы странствования. Здесь начало мрачное, как бы взамен безотчетных наслаждений юности, но вскоре мрак превращается в небесный свет <...> и это — эпоха любви и <...>, эпоха моей Наташи».

В Москве начиналась история его любви, их любви с Наташей. Даты-веи — 20 июля 1834 года, 9 апреля 1835 года, 3 марта и 8 мая 1838 года — на них начиналась вся его жизнь.

Он помнил их встречу на Ваганьковском кладбище, когда, обескураженный, убитый неизвестностью после ареста Огарева, он услышал от нее слова участия и глубокой симпатии, воскресившие его.

(«Мимолетные, юные, весенние увлечения, волновавшие душу, поблдевали, исчезли...», «светлый луч солнца сошел...»)

В его воображении часто являлись все подробности 9 апреля, их тюремного свидания после мрачной разлуки, день, который «переломил» все его существование. Ее внезапное появление в Крутицах, всего лишь на несколько минут, перед самым его отправлением в ссылку, когда все не хотелось и не хотелось расстаться... Счастливейшее из мгновений. Может быть, он был влюблен?! Тогда не договорил, не дописал...

(«Все это писано при жандармах. 10 апреля 1835. 9 часов».

Герцен — Наталье Захарьиной:

«За несколько часов до отъезда, я еще пишу, и пишу к тебе <...> я много теряю в Москве, что у меня только есть. <...> Когда же мы увидимся? Где? Все это темно; во ярко воспоминание твоей дружбы <...>

Может быть... но окончить нельзя, за мною пришли»¹).

Встретились через три года, и опять на мгновение. Долго виделось ему то мартовское, с темными проталинами утро, когда из Владимира, ссыльный, он тайно примчался в Москву. Помнил в сумерки Поварскую, где в мезонине, в ее окне, горела свеча, так «ему горела»; их снова тайное свидание помнил...

(«Она взошла, вся в белом, ослепительно прекрасна. <...> Выражение счастья в ее глазах доходило до страдания. Должно быть, чувство радости, доведенное до высшей степени, смешивается с выражением боли <...>

Я держал ее за руку <...>, и нам нечего было друг другу сказать... Короткие фразы, два-три воспоминания, слова из писем, пустые замечания <...> я встал <...> и она меня не останавливала... такая полнота была в душе. Больше, меньше, короче,

¹ Позднейшая приписка Герцена: «...Люблю, люблю, люблю тебя — на этом листке недоставало этого слова».



Наталья Александровна Герцен с сыном Александром.
Анварель К. Горбунова. 1841 г.

дольше, еще — все это исчезало перед полнотой настоящего...»).

Потом еще долгих два месяца ожиданий, и наступило 8 мая — день их «действительного бракосочетания». Тогда Поварская, Плющиха стали свидетельницами его волнений и тревог (удастся ли похищение невесты из дома тетки Хованской?) и счастливой развязки судьбы («...с 8 числа продолжается один восторг святой, высокий...»).



Герцен как-то сказал, что «случайное содержание писем, их легкая непринужденность, их будничные заботы сближают нас с писавшим». Укрывшись в тишине герценовского кабинета, в мезонине тучковского дома, читаю дневник, перелистываю письма Герцена, бегущие торопливой строкой по следам событий «как было», и понимаю, как это верно. Чувствую смену настроений, чередование светлых и темных полос (хоть жизнь Герценов так давно протекала), и мое настроение колеблется. Я обеспокоена, когда в семействе «тучи», и светло счастлива, когда все спокойно. Да, прав был Белинский — у человека «маленькая возможность счастья и бесконечная — страданий». Вопрос лишь в том, как человек этой возможностью распорядится.

Наталья Александровна, невеста и жена, могла бы почитаться одной из счастливейших женщин своего времени. Ее переписка с Герценом до замужества вызывает в памяти самые высочайшие образцы беспре-

дельной любви и жертвенной преданности друг другу. Значение Натальи Александровны в жизни Герцена исключительно, так же как и значение Герцена в жизни его жены. Их встречей «завязалась» его судьба. Его вятское одиночество осветилось их перепиской, романтическое бракосочетание поставило их на пьедестал исключительности. Он поверил в себя, окреп, стал дважды талантлив, потому что рядом с ним оказалась женщина талантливая и прекрасная, как не все.

В седьмую годовщину смерти жены Герцен писал своему сыну: «Вот я доживаю пятый десяток; но, веришь ли ты, что такой великой женщины я не видал. У нее ум и сердце, изящество форм и душевное благородство были неразрывны. А эта беспредельная любовь к вам... Да, это был высший идеал женщины!»

Все знавшие Наталью Александровну — Огарев, Грановский, Бакунин — почти единодушны. Наталья Александровна — одна из самых «изящных» (читай — прекрасных) женщин, и союз их с Герценом на редкость един и гармоничен. В. Г. Белинский пишет М. В. Орловой (в ту пору его невесте) 15 октября 1843 года: «Это женщина <...>, больная, низкого роста, худая, прекрасная, тихая, кроткая, с тоненьким голоском, но страшно энергическая: скажет тихо — и бык остановится с почтением, упрется рогами в землю перед этим кротким взглядом и тихим голосом... Она вывела бы вас из затруднительного положения и указала бы вашей совести большую дорогу». Почти через два с половиной года под непосредственным впечатлением пребывания в Москве и посещения Герценов в тучковском доме Белинский вновь пишет М. В. Орловой, уже своей жене: «Наталья Александровна (к которой я питаю какое-то немножко восторженно-идеальное чувство) <...> так была мне рада, что я даже почувствовал к себе некоторое уважение. Вот как!»

Но Наталья Александровна почитала мужа не только как женщину и жену, «неразнимчато» связанная с Герценом, разделившая все опасности и невзгоды его кочевой жизни (жизни ссыльного, а затем и вынужденного изгнанника, «государственного преступника» — читай «революционера», — лишенного всех прав российского состояния). Она единомышленница Герцена, одна из ярких представительниц того просвещеннейшего поколения людей 1840-х годов, о котором мы уже имели повод вспомнить.

Воспринявшая идеи Герцена и его друзей, будучи на уровне всех литературных достижений своего времени, она становится равноправной участницей герценовского кружка, собравшего в тучковском доме (ее доме!) лучших людей эпохи.

Женщина в политическом, литературном кружке (рядом с Белинским, Грановским, Щепкиным, Огаревым), находящаяся на их уровне политической, литературной компетентности, — это, несомненно, новация, смелость, может быть, и наглядный пример женской эмансипации, за десятилетия до того, как явление это стало весьма распространенным.

В тучковском доме, когда там только обосновались, Наталье Александровне — 26 лет, Герцену — 31 год, они уже 5 лет женаты, а значит, как говорит Герцен, и «много жито». Страницы герценовского дневника московского периода сохранили свидетельства высочайшего духовного единения двух людей, их возвышающей любви, а вместе с тем нестираемые следы драматических семейных коллизий, разъедающих душу сомнений, разочарований, обид.

«Письма любви, — писал Герцен в 1840-е годы, — достоинство личности — они будто теряют свежесть, попадая в третьи руки» (то же можно бы сказать и

об интимнейших страданиях дневника). Но с годами, зрелостью Герцен приходит к иному убеждению, рассматривая свой эмоциональный, подчас мучительный опыт в русле общественного, социально-исторического познания личности вообще, пример которой всегда безразлично поучителен. Отсюда — «Былое и думы». Отсюда — дневники и письма, свидетели жизни, с ее «ужасным богатством счастья и бедствий».

В Москву после ссылок Наталья Александровна возвращается в тяжелом состоянии духа, можно даже говорить о кризисе, пережитом ею в Новгороде в начале 1840-х годов, когда юношеский романтизм (под которым люди того времени понимали повышенную требовательность к себе и друг другу) «отлетел».

16 января 1843 года Герцен записывает в дневник: «Опять тяжелый разговор с Natalie, точно в прошедшем году после ее болезни; отчасти все эти Grübeleien (раздумья.—нем.) именно следствие болезни; но есть корни и глубже, в ее характере, в ее воспитании. Главная вина моя — что я не умел острожно, нежно вырвать их. Несколько дней я заставлял ее в слезах, с лицом печальным, — сначала я молчал, но не мог скрыть и свою грусть, это удвоило ее печаль, наконец, я не находил более сил, à la lettre (буквально.—франц.), не находил сил вынести этот вид; я от него приходил в какое-то горячее состояние, уходил с какою-то тяжестью в груди, в голове; за что это благородное, высокое создание страдает, уничтожает себя, имея всю возможность счастья, возмущенного только воспоминанием трех гробиков¹, воспоминанием ужасным, но которое одно не могло бы привести к таким следствиям? Я просил, наконец, объяснить, и снова явились решительно ни на чем не основанные Grübeleien <...> Что за причина заставляет мучиться ее? Чрезвычайная нежность и сусеппибельность (восприимчивость.—И. Ж.), чрезвычайная любовь. Но зачем же болезненное выражение такого простого начала? Привычка сосредоточиваться, обиваться около мыслей скорбных. Если я в этом отношении могу себя винить, то это в рассеянье, в возможности предаваться предметам занятий и поглощаться ими. Это понятно: ему как нельзя лучше, и мысли никогда не приходило ей в этом видеть дурное, — но она много остается одна. Беспечность, врожденная мне, кажется, подчас невниманием. И я не умею поправить себя, потому что я живу чрезвычайно просто, поступаю совершенно натурально. Но самое ужасное, самое оскорбительное для меня — это невысказываемое, но понятное обвинение в недостатке любви, — оно оскорбительно по ложности, <...> Моя любовь к Natalie — моя святая святых, высшее, священнейшее отношение к моей частной жизни, становящееся рядом с моим гуманизмом. Я так сросся с моей любовью, что мне страшным, чудовищным кажется всякое сомнение. Ну, не глупость ли, что мы мучим друг друга без всяких достаточных причин?»

Этот отрывок, сконцентрированный на характерах Натальи Александровны и самого Герцена, на истории их отношений в трудные минуты (которые есть в каждой семье), многое объясняет. Герцен, несомненно, прав, обнаруживая «корни», истоки этих сомнений, неудовлетворенности жизнью прежде всего в самом характере и воспитании Натальи Александровны. Душевное состояние ребенка, «сироты», незаконной дочери крепостной, взятой из милости в чужой дом и ежедневно противостоящей домаш-



Портрет неизвестной в сиреновом.
Художник К. Корсалин.

нему деспотизму, передано ею самой в набросках автобиографии, за которую она взялась по просьбе Герцена.

«1. Как в лесу, пойманный зверек. Кругом старое, дурное, холодное, мертвое, ложное. <...> Воспитание началось с того, что меня убедили в стыде моего рождения, моего существования, вследствие этого — отчуждение от всех людей, недоверчивость к их ласкам, отвращение от их участия, углубление в самое себя, требование в сего от самого себя. 2. Ничего от других».

Дисгармония в детстве постепенно затухает жизнью. Побеждает гармония. Встреча с Александром (казалось бы, доказавшая ее возможность), его боготворение («...ведь он источник всего прекрасного, из которого пьет моя душа», — пишет Наталья Александровна Т. А. Астраковой) оборачиваются высочайшими требованиями и к нему и к их семейной жизни. Новгородское увлечение Герцена и его исповедь, поразившая Наталью Александровну так «сильно и глубоко» (мы обращаем читателя к «Былому и думам»), проводит первую черную полосу в их отношениях. Начинается «внутренняя, глубокая работа» (говоря словами Герцена), ломка и перестройка прежних убеждений Натальи Александровны, выводящих ее к новому возрасту жизни.

«Исчезло утреннее, алое освещение, и когда миновали бури и рассеялись мрачные тучи, мы были больше умны и меньше счастливы», — скажет Герцен, а Наталья Александровна позже под-

¹ Трое детей Герценов умерли в младенчестве.

ведет итог: «Все имеет время экзальтации и время разумного сознания».

Этому новому возрасту жизни, тоже счастливому, несмотря ни на что, и был свидетель тучковский дом.

Пожалуй, больше всего сведений об этом «тучковском» периоде в жизни Н. А. Герцен, о характере и личности (помимо писем и герценовского дневника) дает ее переписка с Татьяной Алексеевной Астраковой, а также мемуары последней, известные в небольших фрагментах. «Припоминая жизнь Герценов в Москве, начиная с 1842 по 1847 год <...> и пропуска из нее разные неприятные столкновения и грустные события, — пишет Астракова, — общее составляет такое отрадное, приятное впечатление, что с радостью пережила бы всю эту жизнь, послушала бы умных речей Герцена, побывала бы на лекции милого Грановского, — посидела бы с Наташей и с любовью поглядела бы на ее милое, оживленное личико, послушать ее симпатичного голоса, ее умной, доброй речи, обняла бы ее, расцеловала... Тени лучших людей из ее кружка являются передо мною, как живые».

«Другой такой женщины, какова была она, нет, не было и не будет», — писала Астракова Герцену после смерти Натальи Александровны. «Мне сдается, что я духовно была очень близко связана с ней, что ни с кем и никогда не была она так откровенна, как со мною...» Действительно, у Натальи Александровны ближе друга не было.

Татьяна Алексеевна любила ее благоговейно (и Наталья Александровна отвечала ей взаимностью), была ей фанатически предана еще с тех майских дней 1838 года, когда участвовала в ее похищении. Тогда злая судьба «сироты», так сходная с ее судьбой, глубоко ее задела. Она ведь тоже была «незаконной». Мать — крепостная, отец — белевский купец из вслышоотпущенников. Также жила подневольно, в чужом господском доме, от чего ее избавило замужество. Систематического образования не получила, но была от природы богато одарена, неплохо рисовала (брала уроки у знаменитого Тропинина), а в середине прошлого века прославилась как писательница, поместив на страницах Некрасовского «Современника» автобиографическую повесть «Воспитанница».

Характер Татьяна Алексеевна имела независимый, твердый и прямой, скорее даже прямолинейный, была при этом беспредельно добра, но бескомпромиссна до упрямства. И Наталья Александровна не раз упрекала ее в придирчивой нетерпимости к людям, учила «принимать людей как они есть».

К Герцену Татьяна Алексеевна тоже не всегда была терпима, с ним, что называется, была она «хороша», но особенной дружбы между ними не было, и Наталья Александровна не раз пеняла ей, что она слишком нападает на Александра.

В 1875 году, передавая Тате, старшей дочери Герценов, письма ее матери, Татьяна Алексеевна писала: «...я думаю, что тебе будет смешно читать нашу переписку, подчас очень сентиментальную (как у нас говорит молодежь), подчас романтическую...» Конечно, новому поколению не может быть все понятно в их отношениях. Но «уж нас с нею так печь спекала», — заключает Татьяна Алексеевна.

Перед нами письма (еще неизвестные читателю), на которые нам указала С. В. Житомирская. Многие из них были посланы из Сивцева Вражка и сразу же доставлены по назначению в собственный дом Астраровых на Плющихе. Как водится, постоянные вопросы о здоровье, разговоры о хлопотах, о болезнях детей, просьбы приехать как можно скорее. Но мно-

гое в письмах и сокровенное, затаенное, которое иногда не стоит знать даже Александру.

1843 год, кажется, самое его начало. Письмо не датировано, но, видимо, написано в те дни, когда ведутся их тяжелые разговоры с Герценом. «Спасибо тебе, друг мой, что ты вспомнила меня, спасибо, что написала, и именно теперь душа моя расположена отвечать на твое письмо и, представь, не могу этого сделать... О как бы я полетела к тебе, полетела с тобою. Эти дни я страдаю ужасно. Не говори об этом никому, и никто не понимает меня».

1843 год, сентябрь, только что переехали в тучковский дом. Саша хворает, очень трудно отлучиться, так как надо все время давать лекарства. «Думаю о тебе часто, Таня, очень часто, коли не придется, приходи не дожидаясь моего визита. Помню, люблю тебя и у а ж а ю. Квартира наша прелестна».

1843 год, видимо, ноябрь. Тревоги улеглись. Наталья Александровна уже вполне спокойно философствует: «...да, друг, жизнь, жизнь... Что такое жизнь? Что-то прекрасное, отвратительное, словом, соединение контрастов; гармония, дисгармония. Ну, философствовать некогда!»

Бывают и дни, в которые беспокойно, бывают и такие, в которые Наталья Александровна не знает, что с собой делать, «грустно, смертельно грустно»: «...нелепость, отнявшая у меня троих детей, ужасно пугает меня: я смотрю на Сашу и думаю, почему ей не отнять и его?.. Смотрю на Александра и думаю тоже, или мне кажется, у меня чахотка и думаю, что сама умру скоро... и все это так нелепо, так не свято и так страшно!!! ...Если б мне можно было поплакаться досыта, но этого решительно нельзя. <...> нет, не заботься, я часто весела и вполне наслаждаюсь жизнью. Не отвечай мне на это ни слова, попадется Ал<ександру>...»

Записки от Натальи Александровны часто ревнивые, когда долго нет вестей, записки шуточные, сразу же передающие расстановку сил в доме, где «наши» сражаются с «ненашими», а за Татьяной Алексеевной, как всегда, остается ее исключительное положение: «Сегодня у нас будут наши такие и наши сяки е! Будешь ли ты наша эдакая?»

После рождения Коли и Таты в доме появляется маленькая Лиза, которой суждено прожить всего 11 месяцев. Страдания Натальи Александровны после стольких невосполнимых потерь оставляют в ее душе новые, ноющие рубцы. Все ее усилия теперь направлены на то, чтобы сохранять, воспитать оставшихся. Вечные тревоги и заботы родителей. «Будут ли наши дети счастливые?» Дети вознаграждают уже самим фактом своего существования.

Н. А. Герцен — Кетчеру, 23 марта 1844 года: «Я не вижу, как день проходит, суета, деятельность, полна жизнь, хорошо, пусть они выйдут люди, и не надо мне вечности, о которой я так хлопотала».

Кажется, Наталья Александровна обретает ту «золотую середину», которая и определяет новый возраст их с Герценом отношений. «...Никогда еще жизнь моя не текла так ровно, полно и спокойно, — пишет Наталья Александровна в известном письме 1844 года, — вет судорожного блаженства и судорожного страдания, лучше ли это, не знаю, знаю только то, что мне хорошо. Может быть, это старость, может быть, прозой пахнуло в душу, а может быть, это и величайшая поэзия!..»

Отъезд Герценов из Москвы за границу зимой 1847 года многое изменил в двух женских судьбах. Жизнь Татьяны Алексеевны как-то накренилась, оскудела.

Сосредоточилась она теперь в основном на заботах о близких и далеких да на воспоминаниях и письмах. Уже не летели с Сивцева Вражка записочки от Натальи Александровны — с просьбами прийти обязательно, непременно, сей же час и с искренними заверениями и признаниями, как помнит ее и любит, и как сочувствует ее вдовскому несчастью. («Помню я тебя, Таня, помню, люблю тебя, твое несчастье — нить, крепко вплетенная в мое существование, выдернуть ее значило бы спутать, испортить его»).

Теперь эти легкие листки лежали сложенными в строгую пачку, а их корреспонденток разделяли шлагбаумы и версты.

Татьяна Алексеевна упрямо ждала. Правда, письма по-прежнему адресовались «на Плющиху, при выходе на Девичье Поле», но шли они издали и на конвертах чаще менялись пометки иноземных городов — далеких Рима, Парижа, Лондона... Из этих писем Татьяна Алексеевна узнавала многое, во что не могла и не хотела поверить. В конце ноября 1851 года до Огарева и Н. А. Тучковой уже дошло (через Астракову) известие о гибели в кораблекрушении матери Герцена и его сына Коли. «...Ужасно темно на душе! Что станет с ними со всеми...» — писала Астракова Н. А. Тучкова.

Сказано верно: несчастья не ходят в одиночку. 8 мая 1852 года (трагическая несуровица совпадений, день-то какой!) из Ниццы идет в Россию письмо. Мария Каспаровна Рейхель, присутствующая при последних часах жизни Н. А. Герцен, пишет Астраковой: «Не знаю, как начать, как сказать Вам, милая Татьяна Алексеевна, поразит Вас моя весть — та, которую Вы так любили, которую видеть надеялись, не существует более. Я говорю об Наталье Александровне». Долго она страдала, болезнь ее страшно измучила — ни уход мужа, ни старания доктора не спасли. Вот и я приехала сюда и застала ее <...> еще в памяти — горькое и короткое было это свидание, через три дня после моего приезда она скончалась 2-го мая, в 7 часов утра. Она не знала своего положения — у ней под конец сделалась сильная чахотка; она мне еще говорила: «Это ничего, это пройдет». За день до смерти она не могла уже говорить и почти потеряла сознание. Грустное мое пребывание теперь в Италии, которую я так любила — это теперь несчастье, потом вид моря, которое напоминает каждую минуту другое недавнее страшное — каждая капля его знает больше об Коле, нежели я...». В это же время Астраковым пишет Тучкова, до которой дошло известие о смертельной болезни Натальи Александровны: «...Признаться, <...> не чувствую ни малейшего желания греться на солнце, которое бы не согревало N<atalie>». К письму приписывает Огарев: «Так тяжело, что смерть».

10 июня 1852 года Рейхель вновь отправляет письмо Астраковой, беспокоящейся о судьбе осиротевших детей Герцена: «Тороплюсь отвечать Вам и успокоить насчет оставшихся, дети, т. е. девочки (Та-та и Ольга.— И. Ж.) у меня теперь, — сын с отцом остался. Покамест они не переменили место жительства на время, где его изберут постоянно это еще вопрос. Он — и говорить нечего, поражен страшно. Насчет конца — никакие усилия докторов не могли спасти, организм боролся ужасно долго и показал свою силу, но наконец он был разрушен... Первый удар нанес страшный сюрприз 16-го ноября, а потом болезнь за болезнью, моральная натяжка, всего этого было слишком».

Говоря о «моральной натяжке» в последние годы жизни Н. А. Герцен, Мария Каспаровна явно недоговаривает, и Татьяна Алексеевна, чувствуя это, вновь просит (в письме от 8 октября 1852 года) ска-

зать «все» о Наталье Александровне и передает просьбу Герцену (имя его не названо) прислать «какой-нибудь крошечный лоскутик ее рисования». О Наталье Александровне Татьяна Алексеевна узнает многое, но не «все», так как никогда не прочтет скорбные страницы «Былого и дум» о семейной драме, о «кружении» дорогих сердец, напечатанные уже после ее смерти.

Для работы над «Былым и думами» важно получить оставленные на Плющихе бумаги, и Герцен просит Астракову об их присылке: «А если кто поедет, хотелось бы мне еще письма, писанные до свадьбы».

Образ Н. А. Герцен выступает из новых писем отчетливо и масштабно, потому что адресованы они Астраковой, лучше, чем кто-либо другой понимавшей красоту и незаурядность этой женщины. «Вы правы в одном и безусловно, — пишет Герцен 11 декабря 1860 года, — за это-то я вас всегда считал и теперь считаю в числе ближайших друзей — это в вашем суждении о Наташе. Да, это была великая натура, и вы еще ее не всю знаете. Ей я сколько мог памятник поставил — этот памятник «Былое и думы»...»

Не надо переноситься в те далекие времена, чтобы понять талантливость этой женщины, ее несомненный литературный дар, щедро раскрывшийся в ее письмах и дневниках, эту необычайную ее податливость каждому слову, каждому впечатлению, ее «тревожное, судорожное существование», это ее умение возвысить и наполнить жизнь чужую и собственную, пусть даже в ущерб себе.

☆☆☆

Когда-то Н. А. Герцен хотелось «перешагнуть вперед лет за сто», чтобы увидеть, как человек будущего воспримет и поймет (поймет ли?) повесть их жизни, полную страданий и любви.

Ей хотелось узнать, какая участь на земле ожидает их письма, их портреты: «Останется ли в них сила их, их душа?.. разбудят ли, согреют ли они чье сердце?»

Портрет Герцена (рисунок А. Витберга), подаренный им своей невесте в 1836 году, по-прежнему висит в тучковском доме. А рядом — ее собственные изображения — известные работы Рейхеля, Горбунова. Надеемся, что рано или поздно проявится и тайна «неизвестной в сиреневом». Признаюсь, очень хочется верить, что юный, чистый, прелестный образ, запечатленный на портрете, именно она — Наталья Александровна Герцен.



ДО ФУТБОЛА

ЛЕВ ФИЛАТОВ

Скрывать не хочу: долго не мог представить, как писать эти заметки. Что-то мешало. Выручило письмо, пришедшее в редакцию. О письме — позже, а сначала о том, что мешало.

Тут вот в чем дело. Хотя футбольная тема нам, журналистам, решается в любых жанрах, будь то рецензия о матче, публицистика, реплика, очерк, фельетон, все же не жанровое различие определяет характер нашего труда. Уже давно я усвоил, что существует два рода писаний — «до футбола» и «после футбола», — и именно это деление имеет решающее значение как для пишущего, так, полагаю, и для читающего.

Писать «после футбола», что означает выражать свое мнение об увиденном, — работа точная, ответственная и в лучшем смысле слова рискованная. Нет нужды фантазировать и изобретать, неуместны пространные, далекие отступления по той простой и ясной причине, что человек, взявшийся за чтение, жаждет более всего соотносить собственные впечатления с суждениями журналиста, что-то принять, что-то отвергнуть, в общем, войти с ним в душевный, деловой, активный контакт. И в этих-то взаимоотношениях, быть может, и кроется вся прелесть работы, тут уж нами сочиненным страницам никак не грозит опасность быть отнесенными в разряд тех, о которых давно иронически сказано: «писатель пописывает, читатель почитывает». Здесь все, что угодно — вызов и бой, перекрестие вкусов, пристрастий и версий, поиск доводов и наблюдений, на поверхности не лежащих. И ты наперед знаешь, что придут письма, разные и неожиданные, и что люди из футбольного сословия станут тебя останавливать, чтобы заявить о своем согласии, либо привести возражения. Не каждый раз так бывает, но если состоялось, то ты, журналист, жив и здоров, хотя и не обязательно невредим.

И совсем иного рода занятие писать «до футбола», о событии предстоящем, как, например, в данном случае, об открывающемся в июне на стадионах Испании чемпионате мира, имеющем порядковый номер XII. Да, ты свободен в выборе фактов и слов, к твоим услугам события прошлых одиннадцати чемпионатов, ты волен вспомнить, что заблагорассудится, проводить отважные параллели, короче говоря, фантазии и перу — раздолье. И, кроме того, можно пребывать в благодушной уверенности, что читатели не осудят, простят и самые дерзкие мечтания и опасливую сдержанность, ведь и они сами в преддверии приближающихся событий находятся во власти разноречивых чувств. Но свобода эта далеко неровная тем строгим и потому прекрасным обязанностям, которые накладывает на тебя необходимость отчитаться в дополнительных, свежих впечатлениях. Она иллюзорна, она обречена быть на расстоянии от истины — той, что откроется, когда придет срок.

Правда, в работе «до футбола» могут мелькать и удачи. В 1966 году, в июньском номере «Юности», в заметках подобного свойства накануне VIII чемпионата мира я позволил себе начертать следующее: «Думаю, что чемпионами мира на этот раз станут англичане». Сбылось. Однако провидцем я себя не вообразил и больше с тех пор судьбу не испытывал. Достаточно расческа, так сказать, для пробы, ради остроты ощущений.



Искушения такого рода способны только сбить с толку. Для людей нашей профессии нет ничего опаснее, чем самонадеянно полагать, что расстановка противоборствующих сторон ведома наперед. Футбол, как и многое другое на белом свете, более всего живет теми силами, что накапливаются и вызывают втайне, исподволь и проявляются вдруг, подобно взрыву.

Вспомним, каким животворным оказался в семидесятых годах бунт голландцев, которые из небытия, из провинциальной безвестности прорвались в серебряные призеры двух подряд мировых чемпионатов и оригинальной игрой своей завоевали всеобщие симпатии и надолго задали тон. Или недавний взлет аргентинцев, по мановению тренерского жезла одаренного Менотти в короткий срок преобразившихся до неузнаваемости, из команды традиционно техничной, но медленной, тягучей, сонной в команду яростную, стремительную, неутомимую, зло самолюбивую, в этукую южноамериканскую разновидность голландского футбола.

Я забежал вперед. Пора привести письмо. Оно коллективное, из города Богуслава Киевской области.

«Мы из того поколения болельщиков, которые не видели славных побед нашей сборной, тех, что стали легендами. Видели мы в основном неудачи сборной. Неудачи приучили нас ко всему относиться критически и не переоценивать возможности наших футболистов. Несмотря на это, верим в наш футбол. Хотя мы и болельщики-неудачники, но оцениваем шансы нашей сборной на предстоящем чемпионате мира высоко».

Вот ведь какая штука: читатели-то напористо молеют! Даже последнее выступление нашей сборной в финальной стадии IX чемпионата мира двенадцать лет назад в Мехике для многих нынешних болельщиков, причем наиболее горячих и пытливых, живет в рассказах старших, в газетных подшивках, не всякому доступных, представляется им чем-то туманным, чуть ли не старинной. Выходит, цель этих замесок «до футбола» не в том, чтобы бывалым и всезнающим читателям кое-что ловко напомнить, развлечь их игрой вольного воображения. Нет, просто надо рассказать юному человеку, недавно вошедшему в читательский строй, каковы они, футбольные

чемпионаты мира. И когда письмо мне это подсказало, можно было садиться за машинку.

Сравнимы чемпионаты мира разве что с летними Олимпиадами. По многолюдью и разноплеменности съехавшихся. По глубине проникновения разноязычных, но равно взволнованных людей в городскую жизнь. По обилию облаченной в форму obsługi и охраны. По краскам, по духу праздничности и праздности, что заставляет думать, что календарь свихнулся и выбрасывает одни красные числа. По несметному количеству важничавших, с непроницаемыми лицами служителей прессы, отмеченных особыми значками. По рвущимся из всех окон надрывным голосам телекомментаторов, творящих из каждого углового или штрафного удара мировую сенсацию. Невозможно забыть ночные улицы Мехико и Буэнос-Айреса, гигантских городов, на долгие часы захлестнутые карнавальными толпами, празднующими победу.

А в одном чемпионат не имеет себе равных — в сюжете. Начинаясь и длаясь на разных стадионах, в разных городах, он к концу набирает невиданную силу, приближаясь к тому единственному матчу, к финалу, который увенчивает долгий увлекательный спектакль.

За более чем вековую историю футбола таких матчей сыграно всего-навсего одиннадцать, и все они, без преувеличения, матчи великие, их не забывают. И каждый на особый лад, со своими приключениями, поворотами, неповторимыми мгновениями, со своей прямо-таки басенной моралью, с выводами, годами обсуждаемыми.

Пять финалов — и все они до сих пор перед моими глазами, словно сыграны вчера.

Стокгольм, 1958, Бразилия — Швеция. 5:2. Пиршество футбольной магии. Шведская команда, сильная как никогда, была переиграна бразильцами шутя, с удивительной непринужденностью. Дошло до того, что шведские зрители под конец принялись аплодировать сопровождать атаки на ворота родной команды, настолько они были покорены изяществом и ловкостью желто-зеленых «кобр», которых в ту пору европейские стадионы знали больше понаслышке.

Прошло много лет, и уж какого только футбола не доводилось видеть, а та бразильская сборная хранится в памяти особняком, ничто ее не заслоняет. Мы

все, кому дорог футбол, звездочеты, любим находить и пересчитывать звезды, выделять их по две, по три в той или иной команде. Тогда не было нужды в телескопе, все одиннадцать бразильцев сияли звездами первой величины. Составы других команд — чемпионов мира я, пожалуй, без помощи справочника не назову, могу ошибиться. А тех бразильцев помню всех до одного: вратарь Жильмар, защитники Нильтон Сантос, Беллини, Орландо, Джампа Сантос, полузащитники Диди и Зито, нападающие Гарринча, Вава, Пеле, Загалло. Чудо какое-то, одиннадцать звезд! И не повторилось оно с тех пор.

Лондон, 1966. Англия — ФРГ. 4:2. Суровый, захватывающий матч команд, близких по силам и по прочтению футбола. Игра, расчерченная прямыми линиями: на первом плане состязание в скорости, атлетизме, боевом устремлении. Сборная ФРГ, вроде бы уже проигрывавшая, на последних минутах основного времени случайно сквитала счет — 2:2. Немцы свою удачу пережили резче, чем англичане неудачу. Те сохранили присутствие духа и в дополнительные полчаса остались столь же деловыми и твердыми, а их соперник был заметно размягчен. Английский футбол (а эти два слова и расшифровывать не надо, они как термин) в тот день предстал в своем классическом облике, который сборной этой страны далеко не часто удается сохранять.

Мехико, 1970. Бразилия — Италия. 4:1. Не нашли в себе смелости итальянцы затеять обоюдоострую игру. Как видно, не верили в себя, подавляли их авторитет соперников. Они сопротивлялись, и не больше. Ну, а если бразильцам преподнести в подарок инициативу, то все остальное они разыграют, как по нотам. Так и случилось. Показательно, как на уроке, на глазах у всего мира, был побит, высечен футбол с откровенно оборонительным, практическим уклоном, в то время повсеместно приподнявший голову. Многие друзья игры после этого финала облегченно вздохнули: жив настоящий футбол, тот, который не для душевно хлипких ловчил, норовящих обосновать, что можно выигрывать, не играя.

Мюнхен, 1974. ФРГ — Голландия. 2:1. Уж как приглянулись всем на этом чемпионате голландцы! Что-то прежде невиданное, в чем еще предстояло разобратся, сквозило в их игре. На первый взгляд каждый футболист в оранжевой рубашке по-детски бегал и играл там, где ему нравилось. Однако опровергнуть этот кажущийся беспорядок никому не удалось, а из его нелогичных перестроений то и дело вылетали меткие внезапные стрелы атак. Новинка: тотальный футбол, когда все умеют сыграть в любой позиции, да еще имеют столько сил, что по двое нападают на одного, словно их на поле не десять, а двадцать. И все это делалось легко, дружно, даже весело. И надо же было так случиться, что в решающем матче игра у них не склеилась, даже лучший, Круифф, не знал, что ему делать! А опытейшая, искушенная, высококлассная немецкая команда словно на то и надеялась, методично дождала артистов, оказавшихся не в настроении.

Буэнос-Айрес, 1978. Аргентина — Голландия. 3:1. Победили аргентинцы, но с тем же успехом могли это сделать и голландцы, и ни у кого это не вызвало бы удивления. 90 минут — 1:1, а в добавочное время аргентинцы выглядели свежее и моложе. Именно моложе, потому что голландская команда по среднему возрасту игроков оказалась старше всех остальных. Она вела свое последнее сражение на мировой арене, это проглядывало в отчаянности усилий, но снова, как и четыре года назад, счастье от нее отвернулось. В целом же матч удался на славу, мир получил превосходного чемпиона, ярко и полно себя выразившего завидной свежестью чувств и свежестью движений.

Чемпионаты — высочайший конкурс игроков. Те, кто был отмечен и признан в эти недели, остаются навсегда в исторической хронике героями. Героями не своего национального, а мирового футбола, становятся как бы всеобщим достоянием.

На каждом чемпионате обязательно появлялся кто-то один, сказывавшийся в центре внимания. На VI, шведском — юный Пеле, ошеломивший аудиторию невиданными иллюзионными трюками. На VIII, английском — Бобби Чарльтон, ум в движении. На IX, мексиканском — снова Пеле, но совсем другой, 30-летний, всезнающий предводитель. На X, в ФРГ — Беккенбауэр, показавший, что центральный защитник — центральная фигура в игре, что явилось новым словом, «вариантом Беккенбауэра». На XI, аргентинском — Кемпес, совместивший несовместимое, неистовость с расчетом, натиск с точностью и изысканностью приемов.

Чемпионаты — еще и этапы в эволюции игры. Пусть разного рода идеи и новации готовятся и испытываются в клубных первенствах стран, в товарищеских встречах, здесь они демонстрируются миру в исполнении отборных мастеров, в законченном виде, в матчах, где любой маневр тут же фиксируется и ложится на доску макета для изучения. На чемпионатах гремели имена тренеров — бразильца Феолы, англичанина Рамсея, немца Шена, аргентинца Менотти. Правда, эта яркая слава не спасла некоторых из них впоследствии, после неудач, от опалы и отставки. Но такова уж странность этой профессии, горькая и удивительная, но в чем-то и реалистическая.

Систему четырех защитников предъявили миру бразильцы на чемпионате 1958 года, четырех полузащитников — англичане в 1966-м, тотальную игру — голландцы в 1974-м. И все эти новости, в масштабе игры равные смене цивилизаций, подхватывались, применялись, становились генеральными направлениями, благодаря чему старый футбол никогда не знал старения и полностью отвечает духу нашего стремительного времени, остается созвучным нашему образу жизни.

Чемпионаты насыщены драматизмом. «Как и вообще футбол», — заметит читатель. Верно. Но в дни чемпионатов с экрана — назовем его в данном случае зеленым, по цвету поля — не сводит глаз, как утверждают информационные агентства, миллиард зрителей. Резонанс любого мгновения, невозвратимого и непоправимого, следует умножить на число с девятью нулями. Раз в четыре года разыгрываются эти матчи, а для большинства игроков и тренеров — раз в жизни, и им уже никогда не отрваншироваться.

Не забыть, как на последней минуте финала в Буэнос-Айресе, когда счет был 1:1, голландец Ренсенбринк, форвард с именем, проскользнул к воротам аргентинцев, ударил в угол, куда не успел бы метнуться вратарь, и *ни* тебе — мяч тупо ткнулся в штангу. Что разлучило голландцев с Кубком мира? Сантиметр пространства, одно неверное касание бутсы. Каждая команда вместе со своими болельщиками долгие годы вздыхает, вспоминая о таких мгновениях, фатально и грубо ее остановивших.

И тут самое время припомнить, как шли дела у нашей сборной на чемпионатах мира, потому что и ей довелось пережить немало драматического.

Когда 16 января в Мадриде провели жеребьевку XII чемпионата и сборная СССР оказалась в одой группе с Бразилией, Шотландией и Новой Зеландией, наверняка многим показалось, что счастье ей не улыбнулось.

А в свой первый вояж на чемпионат в 1958 году советские футболисты отправились, зная, что их ждут встречи с Бразилией, Англией и Австрией. Компания, согласитесь, еще более внушительная. В том путешествии я был неотлучно с командой и знаю, что ни тренеров, ни игроков, ни журналистов ситуация не смущала. Из-за неведения, из-за слабого представления о мировом футболе? Скорее всего, да. Но хуже от этого не стало.

В матче с англичанами наши бели 2:0. А закончился он — 2:2. Один из ответных мячей был забит с пенальти. Это сейчас по видеозаписи мигом установили бы истину, а тогда такими удобствами футбол еще не пользовался. Да, английский форвард был сбит с ног, но почему пенальти, когда произошло это до линии штрафной площадки? Помню, что судья долго бежал к месту происшествия, он отстал от быстрой контратаки англичан. И вдруг указал пальцем на пятнышко в одиннадцати метрах от Яшина. Позже я не раз видел точно такие же ошибки судей, знаю, что они из-за их нерасторопности, неверной позиции. Но об этом хорошо толковать на семинаре по методике судейства, а тут чемпионат мира...

Очка как не бывало. И какая же у него оказалась цена! Когда после этого наша команда обыграла австрийцев 2:0 и проиграла бразильцам 0:2, выяснилось, что предстоит переигровка с теми же англичанами за выход в четвертьфинал. Регламент был безжалостный: через день после матча с Бразилией — матч с Англией, а в случае успеха еще через день — со Швецией. Англичан наши в изнурительной, мучительной борьбе одолели — 1:0, но на следующую встречу со свежим противником у них просто-напросто не осталось сил, и — 0:2.

Так обидно сложились обстоятельства. По возвращении наши мастера и тренеры были подвергнуты суетливой и злой критике, я же убежден, что они ее не заслужили. Сборная на уронила своего достоинства, она вела себя на поле твердо, смело, организовано. Не забудем и того, что из-за дисциплинарных прегрешений из ее состава перед самым отъездом были выведены основные игроки: Стрельцов, Татушин и Огоньков, что был травмирован Нетто. Спустя два года, выиграв в Париже Кубок Европы, советская сборная во главе с тем же тренером Г. Качалиным подтвердила свою силу.

Опущу чемпионат 1962 года в Чили, на нем я не был, чужие свидетельства в субъективные заметки не ложатся. Напомню только, что там, как в Швеции, наша сборная вошла в восьмерку лучших команд мира. Это стало как бы ее местом. Она выиграла у Югославии — 2:0 и Уругвая — 2:1, сделала ничью с Колумбией — 4:4 и уступила Чили — 1:2.

В 1966 году наша сборная сравнительно просто выиграла все матчи в группе: у КНДР — 3:0, Италии — 1:0, Чили — 2:1. И вот она вызвана к барьеру, который прежде ее останавливал. В четвертьфинале перед ней венгры, которые только что сенсационно, в блестящем стиле переиграли бразильцев, двукратных чемпионов. Из этой встречи, сложной и нервной, судьба которой висела на волоске, советская сборная вышла победительницей — 2:1, установив свой рекорд восхождения на чемпионатах: ступень полуфинала, одна из четырех лучших в мире команд. Впервые она прошла по всему призовому маршруту, провела шесть матчей.

Оба остальных были проигрыши: сборной ФРГ — 1:2 и португальцам за третье место с тем же счетом. И опять сколько драматизма! В матче с немцами закрывал полузащитник Сабо (замены тогда не разрешались), был удален с поля форвард Численко.

Тем не менее наши футболисты сражались до конца, возможность ничьей витала в воздухе. А исход последней встречи решил удивительный эпизод. Обычно хладнокровный Хурцилава, сторожащий высоченного португальского нападающего Торреса, ни с того ни с сего, когда и угрозы-то особой не виделось, остановил мяч, высоко подняв руку. Движение, объяснить которое невозможно. И Эйсебио забивает пенальти.

Спустя четыре года, в Мексике наша сборная отступила на «свою» позицию. Опять удачно пройден групповой турнир: Мексика — 0:0, Бельгия — 4:1, Сальвадор — 2:0, и опять прямо-таки роковой матч в четвертьфинале, на этот раз с Уругваем — 0:1. В его развязку тоже вошел драматический момент: наши защитники увидели, что уругвайский форвард завел мяч за линию, приостановились, а судья не увидел, атака была продолжена и закончилась голом. Я не возьмусь утверждать, побывал ли мяч за линией — издали, с трибуны, заметить это едва ли было возможно, но и нет оснований не доверять сразу нескольким нашим футболистам, находившимся рядом. Случай этот у нас тщательно разбирали и пришли к простенькому, но полезному выводу, что «самосуд» — остановка в ожидании свистка судьи — противозаконен.

Однако тот матч памятен не этой нелепостью. Он весь, с начала и до конца (с добавочным временем — 120 минут), был проведен скверно, и, думаю, его следует считать худшим из всех, сыгранных нашей командой на чемпионатах мира. Непрестая именно он положил начало долгому кризисному десятилетию. В том матче сборная не была похожа на себя: безвольная, расслабленная, опасливая, целиком сосредоточенная на обороне. И это с противником, который, будучи прежде не раз битым советскими футболистами, сам их побаивался и жался к своим воротам.

В моем коротком пересказе упомянуты все девятнадцать матчей, проведенных нашей сборной в финальной стадии чемпионатов. Всего девятнадцать, а почти четверть века минуло, и сколько пережито! Как повелевают приемы статистики, эти матчи полагаются изобразить так: 10 побед, 3 ничьи, 6 поражений, разница мячей 30—21. Как видим, баланс положительный.

Из девятнадцати я наблюдал с трибуны за тринадцатью. И хотя они не были, да и не могли быть похожими, тем более что через сборную успело пройти не одно поколение футболистов, общее впечатление все же сложилось.

Наша команда всякий раз представляла собой немалую практическую силу, была наделена характером, располагала рядом больших мастеров, которых называют ключевыми, несшими на своих плечах основную тяжесть борьбы, такими, как А. Яшин, А. Шестернев, В. Воронин, В. Иванов, М. Хурцилава, И. Нетто. Все это и позволяло ей на четырех чемпионатах подряд занимать свое, вполне сносное, место.

Отчего же она не поднималась выше? Если проследить ее турнирные маршруты, то они почти одинаковы. Наша сборная решительно бралась за дело, на нее начинали поглядывать, прочить ей успех, но на одной и той же высоте она упиралась в потолок. Это объясняли по-разному: дефектами в подготовке, нехваткой классных игроков, способных заменить уставших, неумением ровно расходовать силы и другими столь же вескими причинами. Мы ведь знаем, что в истолковании неудач люди продвинулись далеко, в нем специалисты футбола достигли поразительных достижений, превосходящих даже их умения осуществлять программы действий. Вклинившись

в обсуждение такого рода версий, журналист, как мне кажется, рискует утратить непосредственность своих впечатлений.

Взгляд из ложи прессы и сопоставление игры нашей команды с игрой преуспевавших команд позволяют прийти к выводу: те играли лучше. Прекрасно понимаю, что сие заключение не может показаться глубокомысленным. Но не спешите с иронией, тем более что сказано не «сильнее», а «лучше». А это не одно и то же.

Я уже говорил о практической силе нашей команды. Вернее всего, это проверяется тем, например, что в шести проигранных матчах (в пяти ей противостояли чемпионы или призеры) в ее ворота мяч не вошел больше двух раз. Иначе говоря, никому не удавалось победить ее легко, любой противник обязан был с ней считаться. Однако практическая сила команды в футболе не равнозначна той подъемной силе, которая позволяет ей взмывать на большую высоту. Поднимает, возвышает и выделяет игра.

Игра как замысел, как идея, как открытие, игра, требующая, чтобы команда ее знала, отстояла, защищала, верила в нее и испытывала удовольствие от того, что гнет свою линию. Лучшее и самое красивое, на что способен большой футбол, — это слить воедино действующих на поле людей, сделать их братьями по игре. Чемпионаты мира и преподносят нам образцы такого игрового командного сплочения.

Наша сборная в конкурс образцов игры еще не включалась.

Тренерской корпорации обычно не хватало четырех лет (таков интервал между чемпионатами) для того, чтобы должным образом выикнуть в обозначившиеся перемены, она не проявляла решительности, медлила и тянула. Теоретизировали и дискутировали в наших футбольных кругах охотно, а перестраивались со скрипом, боясь рисковать. Для успеха необходимо опережение, а тут наметилось хроническое отставание. В каждое свое следующее путешествие сборная отправлялась с игрой, скроенной по успешному устаревшему журналу футбольных мод. Одной этой неповоротливостью, возможно, и не объяснишь сатяжные неудачи в семидесятые годы, но то, что она не давала ходу нашему футболу, вне сомнений.

Года три-четыре назад небо над нашими стадионами начало прояситься. Сначала ожило клубное первенство. «Динамо» (Киев), «Динамо» (Тбилиси) и «Спартак» мы принялись с легким сердцем именовать ведущими командами: право на это давали не медали и призы, а облик их игры. Их на поле не спутаешь, они не на одно лицо. Это и вменудрено, ими руководят люди, самостоятельно мыслящие, доверяющие своему вкусу, последовательные, я бы сказал, упрямые. А в самом существенном, в следовании духу времени, в понимании того, как полагается трактовать футбол сегодня и завтра, взаимоисключающих расхождений у них не видно.

Потому и выглядит таким естественным тройственный союз тренеров «Спартак», тбилисского «Динамо» и киевского «Динамо» — К. Бескова, Н. Ахалкаци и В. Лобановского, вместе возглавивших сборную страны. Кроме всего прочего, это объединение исключило возможность оппозиции тренеров клубов, чьи игроки отобраны в сборную. Если она возникает, то добра ждать не приходится.

Случай уникальный. Думаю, что такого союза тренеров не знала история футбола ни в одной стране. Уже, как видите, интересная позиция. И аргументы в ее пользу приведены: в матчах отборочного турнира в прошлом году наша сборная предстала не просто практически сильной, а имеющей свою игру.

Напрасно искать в характере ее игры черточки стиля трех ведущих клубов. Различия и частности отставлены в сторону. В основу положены тактические принципы, главенствующие в современном футболе. Игроки сборной объединены общей мыслью, общими, им понятными требованиями, они все в равной мере нацелены на игру скоростную с крупномасштабными маневрами, способны участвовать, когда этого требует обстановка, в операциях любого рода, заменяя друг друга.

Наиболее отчетливо сборная проявила себя в Тбилиси, в матче с многоопытной, квалифицированной командой Чехословакии. Она не только победила (2:0), она переиграла, превзошла в мастерстве соперника, сопротивлявшегося из всех сил. Я был на этом матче и уверен, что по насыщенности оригинальными игровыми эпизодами, по температуре борьбы он и на чемпионате мира был бы отнесен к высшей категории. Игра для сборной счастливо найдена. В этом смысле, как мне кажется, она выгодно отличается от всех других четырех наших команд, прежде ездивших на чемпионаты.

Я пишу о том, что видел прошлой осенью, и свои наблюдения не рассматриваю как повод для прогнозов на предстоящее лето.

Сборная возникла недавно, она еще в нежном возрасте. Ее игру надо и сохранить, и развить, и усилить. Ей полагается сесть за стол чемпионата, испытывая приятность аппетита к игре. Существуют и такие непеременимые достоинства, как спортивное честолюбие, длительно проявляемая стойкость. Наверное, хорошо, что ее не слишком-то знают в футбольном мире. Лишь бы она сама себя знала. Так называемые нейтральные поля чемпионата вовсе не нейтральны, они в высшей степени привередливы и строги, ничего не прощают: только игра высокого класса и мужество делают их своими, а стоит чуть дрогнуть, как они тут же становятся чужими. Словом, обычные «надо», «должна», «следует», и нет им числа.

Так что забегать вперед в заметках «до футбола» решительно ни к чему.

Два последних чемпионата — в ФРГ и Аргентине — прошли без советской сборной. Я на них работал. Странное дело: все вокруг тебя чрезвычайно интересно, множество впечатлений, встреч, разговоров, блокнот заполняется, а ощущение какой-то пустоты не оставляет. В Буэнос-Айресе сначала никак не устанавливалась связь с редакцией. Листки исписаны, автор наготове, часы идут, а телефон молчит. В другое время я извелся бы, журналист, как и разведчик, ничего собой не представляет без связи. А тут я чувствовал удивительное безразличие: «Ничего страшного, обойдутся и без меня, нашей-то команды нет». Потом все наладилось, работа пошла своим чередом, но все равно вятренний голос твердил: «Нашей-то команды нет». Так — для газетчика.

И уж вовсе отсутствие не безразлично для самой команды. Чемпионаты расставляют сборные (а с ними вместе весь футбол стран и федераций) по ранжиру, и мир четыре года оглядывается на эту расстановку. Те, кого не было, получают билет со штампом «без права занятия места».

Безвременье прервано. Место нашему футболу забронировано, хотя ряд и не указан.

Вот и все, что мне показалось нужным рассказать «до футбола» в ответ на честное письмо «болельщиков-неудачников». Помните, в письме этом следом за горькой строкой сразу идет строка надежды. Наверное, не один ребята из Богуслава написали бы точно так же.



АЛЕКСАНДР ИВАНОВ

Литературные народии



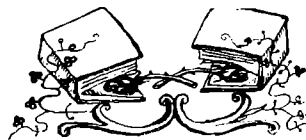
Рисунки Е. Зарембо.

ГЕНИЙ МГНОВЕНИЙ

Неважно мне —
я гений или нет —
Я —
неизвестных гениев поэт.
Евгений ЕВТУШЕНКО.

Я гений или нет — не очень важно,
тем более, что гением быть страшно.
Плащ гения, по мне, — излишний шик,
потом помрешь, а гениальность — пшик...
Я, как всегда, перед собою честен,
беда, что гений может быть безвестен,
а становиться гением к чему,
раз это неизвестно никому?..
Мне кажется полезным да и легким
прожить не гениальным, а известным.
Мне говорил знакомый эрудит:
известность и таланту не вредит.
Теперь и дураку должно быть ясно:
безвестным в наше время быть опасно.
Нет никакого смысла жить в борьбе,
когда никто не знает о тебе.
Я это понял в самой ранней юности,
поэтому
печатался я в «Юности»
и, неизвестных гениев кумир,
носил стихи когда-то в «Новый мир».
Для этого стремился я в новаторы,
чтоб знали конгрессмены и севаторы,
что прибыл к ним со станции Зима
субстанция таланта и ума.
Недаром проходил я испытания,
внимали мне Камчатка и Британия,
Канада, Переделкино, Ирак...
Пусть я не гений, но и не дурак!
Я был худущим мальчиком московским,
позднее стал в Калуге Цюлковским,
пусть скажут мне враги или друзья,

Кем в этой жизни только не был я?..
Хоть гениальность, говорят, от бога,
но гениев безвестных слишком много,
не менее, чем в ящике сардин...
Да, я не гений, но зато — один!



ЕСЛИ ВЫСЛЕДИТЬ...

Если долго за нами следить,
если наш разговор записать,
то обоих нас должно судить.
но меня за любовь оправдать.

Ирэна СЕРГЕЕВА.

Начинаем с тобой понимать,
если долго за нами следить,
если выследить нас и поймать,
то, конечно, нас надо судить.

И хоть ты, мой любимый, не вор
и на мне не разбоя печать,
будет очень суров приговор,
громом с неба он будет звучать.

Обрекут нас, дабы проучить,
ты и я будем вместе страдать:
я — пожизненно в рифму строчить,
ты — пожизненно это читать ..

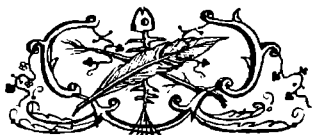


ДРАМА В ХРАМЕ

(Юнна Мориц)

У попа была собака.
У собаки — нервный тик.
Поп — пьянчуга, монастр и бяка,
Настоящий еретик.
Начинается интрига,
Поп с утра глаза налил,
Алкоголик и расстрига.
Он монахию растлил.

Век бы мне его не слушать,
 Душу рвет собачий вой!..
 Пес хотел немножко кушать,
 Потому что был живой.
 Тихо музыка играла,
 Доносился запах рэз.
 Под звучание хора
 Скушал мясо бедный пес.
 Плачет древняя Эллада,
 Стонет флейта и фэгот,
 И Афина, и Паллада,
 И Гефест, и Гесиод.
 На Таганке, на Полянке
 Слухи множатся в толпе,
 На Полянке, на Таганке,
 У Любимова Ю. П.
 Скушав мясо в кулебяке,
 С небогатого стола
 Я бы косточек собаке
 Самых сахарных дала.
 Навсегда бы злоба свилка,
 Чтобы всюду и везде
 Благолепие возникло,
 Как в писательской среде!



ПО ЗАДАМ

Подо мной — велосипед.
 Он скрипит, не мазан.
 Он ворчит, как старый дед.
 У него — маразм.

Трактор скачет по буграм,
 Что-то сеют люди.
 По проулкам и дворам
 Поросята блудят

Глеб ГОРБОВСКИЙ.

По проулкам и садам,
 там, где зреют яства,
 я гуляю по задам
 сельского хозяйства.
 Изучаю жизнь села
 не с киноэкрана.
 Утром старого козла
 принял за барана.
 Подо мной велосипед,
 вымазан навозом.
 Он скрипит, как старый дед,
 мучимый склерозом.
 Не доехал, так шагай,
 если не уверен.
 Побежал за мной бугай...
 Впрочем, это мерян.
 А у каждого бугра
 здесь кипит работа.
 Так и скачут трактора,
 видно, пахнут что-то.
 Притомившись, посижу,
 хлопая ушами.

Отдохнул, опять хожу —
 только всем мешаю.
 И пишу про все подряд,
 ум зашел за разум...
 Значит, правду говорят
 люди про маразм.



СПАСИБО

И снова молодость со мной
 И нежный взгляд из-под платочка,
 и юной женщине одной
 я говорю:
 — Спасибо, дочка!

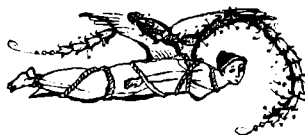
Александр НИКОЛАЕВ

Закон великий в жизни есть,
 никто не смог его нарушить.
 Должны мы ежедневно есть,
 а говоря иначе, кушать.
 Я съел на завтрак два яйца
 (нет ничего вкусней желточка!),
 не ради красного словца
 я говорю:
 — Спасибо, квочка!

Я не люблю без толку пить
 вино в количествах немалых.
 Но довелось мне как-то быть
 в Крыму, в массандровских подвалах.
 Я стал краснее кумача,
 напился в стельку я — и точка.
 И белый свет не различа,
 я говорю:
 — Спасибо, бочка!

Мы пьем кефир, и молоко,
 и чай, и кофе, и боржоми.
 Вместить все это нелегко,
 но есть удобства в каждом доме.
 Не беспокоюсь я во сне,
 опять без инцидентов ночка.
 Нет лишней жидкости во мне...
 Я говорю:
 — Спасибо, почка!

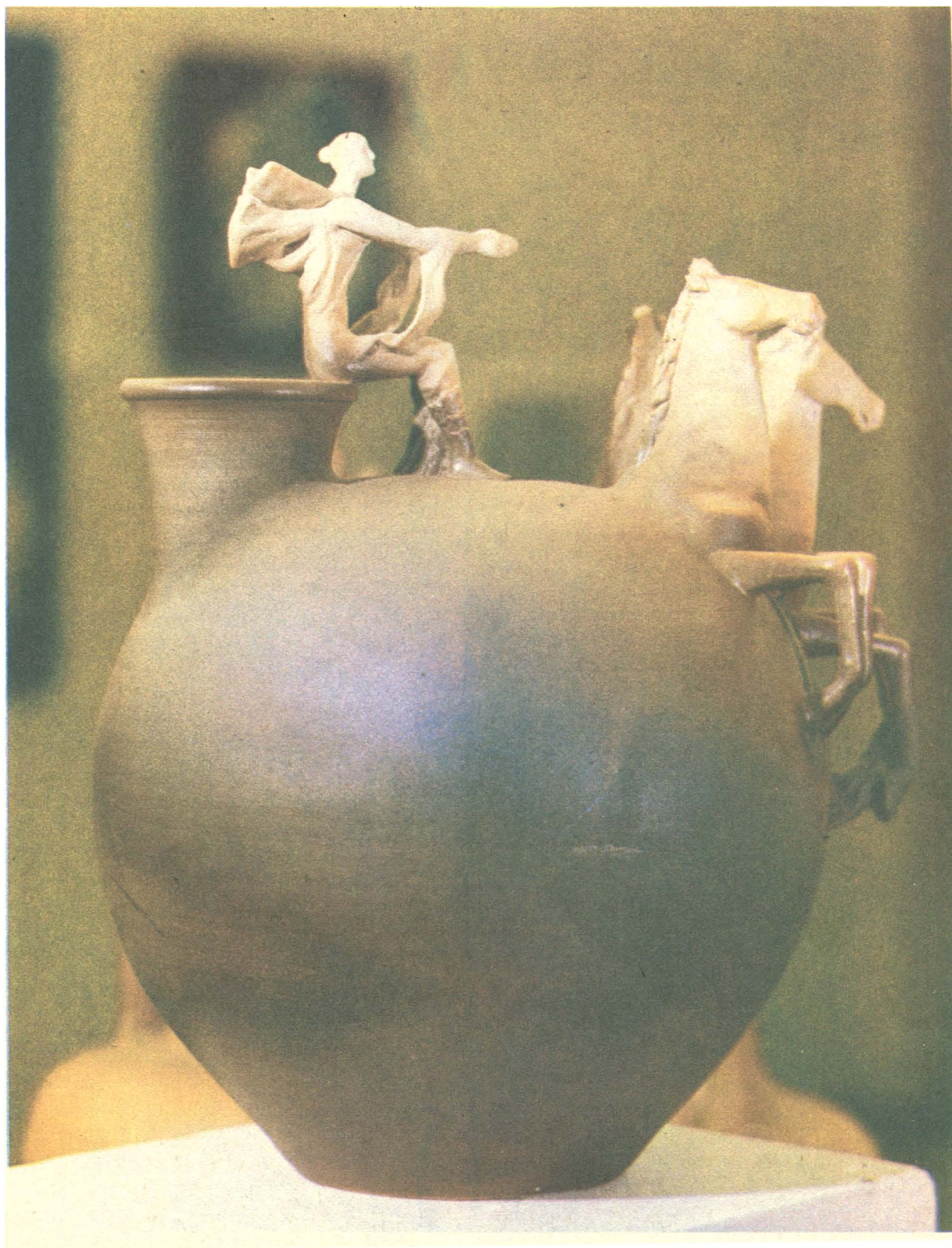
У каждого своя стезя:
 один — поэт, другой — читатель.
 Мне не писать стихов нельзя,
 иначе что я за писатель...
 Пишу стихи я много лет,
 и не кривой выходит строчка.
 Судьбе за то, что я поэт,
 я говорю:
 — Спасибо! Точка.





С. АБДУЛЛАЕВ (Ташкент).

Летний день.



Огонь Олимпа.

Декоративная ваза.

По залам выставки произведений В. А. МАЛОЛЕТКОВА



Золотые скрипки.

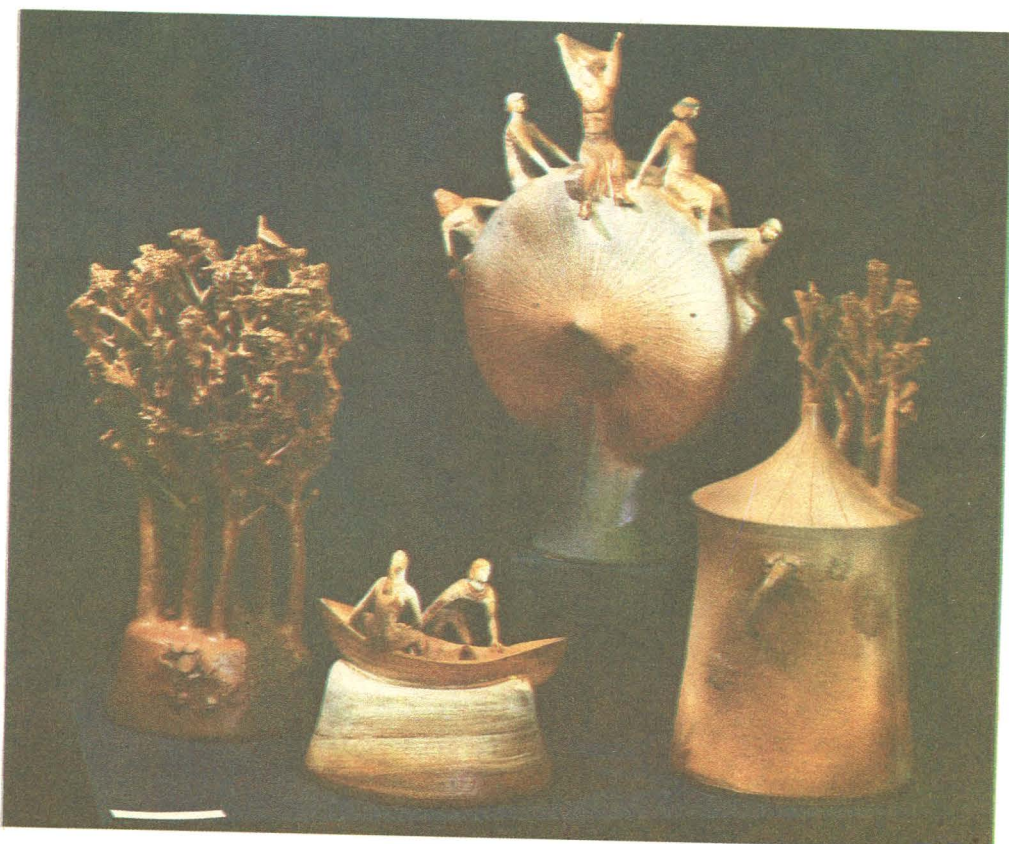
**Вечера
в Гжели.**

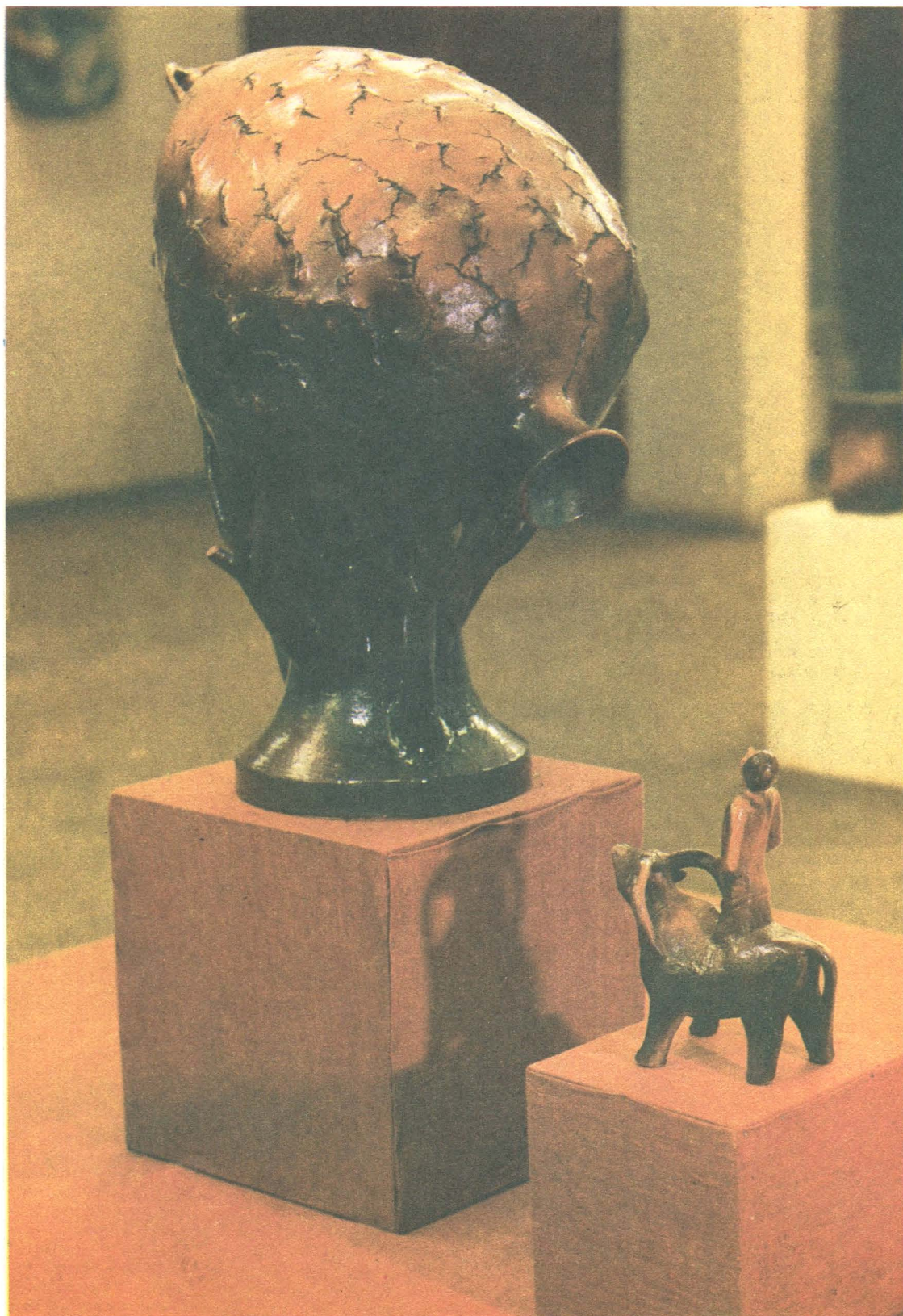
Часть
триптиха.



Парк культуры.

Композиция.





Жажда.

Композиция из серии «Индийские мотивы».

16-14

ЮНОСТЬ 4

Индекс
71120

Цена 70 коп.